В54



Виктор Виткович

С ВАМИ ПО КИРГИЗИИ


БИБЛИОТЕКА ПУТЕШЕСТВИЙ
БП

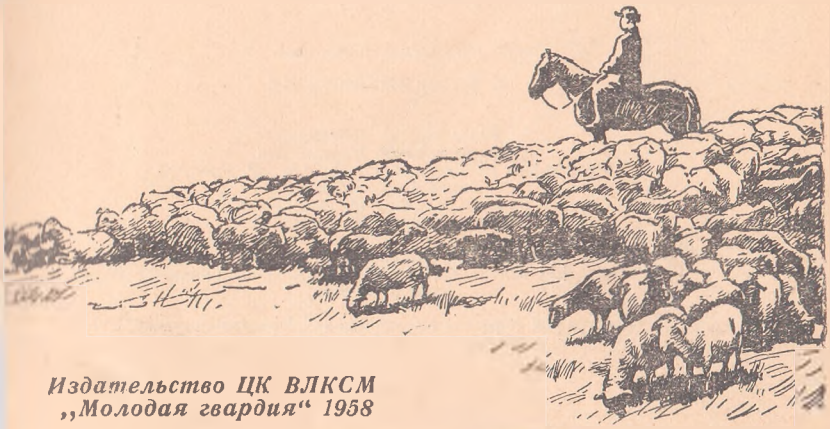


63.3(2)
В54

Виктор Виткович

С ВАМИ ПО КИРГИЗИИ

ОШСКАЯ
областная
БИБЛИОТЕКА
68174



Издательство ЦК ВЛКСМ
„Молодая гвардия“ 1958

ХРАНЕНИЕ

Виктор Станиславович Виткович родился в 1908 году в Женеве, в семье революционеров-политэмигрантов. В начале первой мировой войны приехал с родителями в Россию. Потеряв во время гражданской войны отца и мать, в 1922 году попал в Ташкент и через два года окончил там школу. Литературной работой начал заниматься в 1926 году, будучи студентом общественно-исторического отделения Азербайджанского государственного университета в Баку. Многие годы разъезжал по стране, работая над путевыми очерками для газет и журналов. Несколько лет жил в Средней Азии. Многие произведения Витковича написаны о Средней Азии.

В результате его поездок по Киргизии и Узбекистану вышли в свет книги «Киргизия» (1938 г.) и «Путешествие по Советскому Узбекистану» (1953 г., второе издание).

Много работает автор и в области драматургии. Им написаны сценарии художественных фильмов «Небеса», «Пахта-ой», в соавторстве с другими писателями — «Насреддин в Бухаре», «Похождения Насреддина», «Авиценна», «Легенда о ледяном сердце», пьесы «Веселый грешник», «Забавный скандал» и другие. В 1957 году напечатана «Сказка о малярной кисти».

«С вами по Киргизии» — новая книга автора.

Виткович Виктор Станиславович

С ВАМИ ПО КИРГИЗИИ

Редактор *Г. Малинина*
Оформление *И. Незнайкина*
Фотографии: *И. Тункеля, И. Панова, Л. Раскина*
Карта *А. Прохоровой*
Худож. редактор *Н. Печникова*
Техн. редактор *М. Терюшин*

* * *

А07157 Подп. к печати 29/VIII 1958 г. Бумага 84 × 108$^{1}/_{32}$ = 5,25 бум. л. = = 17,22 печ. л. +13 вклеек. 16,7 уч.-изд. л. Заказ 650 Тираж 30 000 экз. Цена 8 р. 15 к.

* * *

Типография „Красное знамя" изд-ва „Молодая гвардия". Москва, А-55, Сущевская, 21.

«Дорога — как мудрец, сразу видно становится, что маленькое, что большое».

Дунганская поговорка



ПО ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЕ

1. ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР

Город Фрунзе под крыльями! Самолет делает круг и идет на посадку. Напряженно ждешь, когда колеса коснутся земли. Легкий толчок... Облегченно вздыхаешь. И пока самолет, замедляя бег, останавливается и подруливает к зданию аэропорта, вами овладевает то обычное, знакомое каждому — куда бы и на чем ни приезжали вы: на самолете, пароходе или поезде, — несколько приподнятое, деятельное и вместе с тем как бы связанное состояние, когда стоишь с чемоданом в руке, готовый ринуться к вы-

ходу, и одним глазом все еще оглядываешься — не забыл ли чего.

Но вот ступаешь на землю. И хотя в ушах еще звенит гул мотора, о самолете уже не думаешь, весь отдаешься новым впечатлениям, жадно глядишь по сторонам.

Вблизи — покрытый снегами Киргизский хребет. Он господствует надо всем, глядишь — не оторвешь глаз. Но садишься в такси, и горы очень скоро скрываются в пышной листве деревьев киргизской столицы. Едешь по улицам аллеями тополей, вязов, карагачей, дубов, робинии, белой акации. Кое-где вкраплены туи с темно-зеленой хвоей да серебрятся листья лоха. А из-за заборов свешивается пыльная зелень фруктовых деревьев.

Хороши эти сады, эти парки и бульвары — особенно в мае, когда не умолкает в них птичий гомон, щелканье, посвист! Пение индийских синичек, нежное воркование горлинок и щебет драчливых воробьев создают тогда звонкоголосый фон, в который вплетаются и сигналы проносящихся автомобилей, и шуршание шин по асфальту, и, разносимые порывами ветра, гудки паровозов, и другие шумы крупного индустриального города.

Случается, над городскими кварталами слышен и голос одинокой кукушки. Если верить киргизской сказке, она кричит: «Ат джок кокок!» — «Нет лошади, ку-ку!» — «У нее одна нога красная, другая синяя», и ребятишки в детских садах убеждены — это потому, что кукушка второпях перепутала сапоги, отправившись на поиски лошади, на которой к ее сестре приехал жених. Лошадь отвязалась и пропала, а кукушка сообщает да сообщает сестре: «Все еще нет лошади, ку-ку!..» В едва слышный трепетный звон дрожащих от ветра троллейбусных проводов врезается изредка и подобный флейте свист иволги.

...Когда вечером, передохнув с дороги, умывшись и переодевшись, выходишь из гостиницы «Киргизстан», в небе уже сверкают россыпи по-южному низких звезд. Многие приезжие, бывавшие здесь раньше,

в этот первый вечер, когда им еще не до дел, идут ужинать за три квартала от гостиницы — в Красную чайхану. Конечно, можно бы поужинать и в самой гостинице — в ресторане. Но в Красной чайхане, под сенью деревьев, в прохладе, при свете колеблемых ветром электрических ламп, летом отдыхаешь лучше. И еще одно привлекает там приехавшего издалека: в чайхане можно отведать среднеазиатское блюдо, а то и выпить одну-две пиалы кумыса.

Летний вечер. Нагретый камень еще струит тепло, а в улицы свежестью вливается горный ветер. Красная чайхана полна народу. Посетители сидят внутри чайханы, сидят и на открытой террасе, резная кровля которой подперта колонками, а стены расписаны киргизским орнаментом. Сидят и в садике перед чайханой за столиками — мраморная ножка каждого имеет форму узкогорлого кувшина. А воздух напоен запахом роз, смешанным с ароматами шашлыка, горячих хлебных лепешек и боорсаков — крошечных кусочков теста, поджаренных в масле.

Вечером напротив Красной чайханы — самое оживленное место города. Близ металлической решетки Дубового сада, на бледно-розовой, с продольными гранями, изящной, очень высокой колонне белеет особенно видная в этот вечерний час, вознесенная к самым макушкам деревьев статуя Ленина, лицо которого обращено к горам. У подножья этого красивейшего в городе памятника сплошным потоком движутся по асфальту нарядные толпы.

Они задерживаются, скапливаются у края тротуара возле лотков с мороженым, папиросами, фруктами и массой цветов. Полукольцо людей стоит и по ту сторону этого живого потока перед напоминающим остов юрты, круглым, стеклянным павильоном прохладительных вод. Но гуще всего толпа — на углу, у входа в кинотеатр «Алатоо».

Прекрасен этот вечерний час, когда уличные фонари тушат блеск звезд, а из репродуктора, висящего невдалеке, сквозь людской говор доносится голос певца, исполняющего отрывок из оперы «Айчурек»:

Украшенья девичьих кос
Соловьями звенят в тиши.
Посмотрите, друзья, вокруг —
Наши девушки хороши!..

И хор девушек подхватывает, отвечает певцу:

А на юношах пояса,
Словно птицы, звенят в тиши.
Посмотрите, друзья, вокруг —
Наши юноши хороши!..

Прекрасен этот вечерний час! И особенно прекрасен он в день приезда, когда все видишь с яркостью свежего впечатления.

Сидеть бы вот так и сидеть, созерцая лица людей — представителей этого еще недавно кочевого народа, ставших теперь машиностроителями, электриками и ткачами, учителями, актерами и инженерами, прислушиваться к их возгласам, и вдруг среди могущественного их разнообразия уловить какой-либо особенно знакомый, особенно дорогой сердцу, но давным-давно запамятованный возглас, и с удивлением вспоминать: да где это, да когда же это было?!

Проводить глазами маленькую девочку, которую родители нарядили поверх обычного платья в киргизскую бархатную безрукавку и круглую шапочку, отороченную мехом куницы и украшенную пером филина. Улыбнуться шумливой компании студентов, что, сдвинув столики на террасе чайханы, жарко о чем-то спорят. Бессвязно бормотать про себя: «Здравствуй, арык, здравствуй, небо Киргизии», — и не стыдиться этого своего бормота, своей растроганности, — до чего же это хорошо!

Время летит незаметно. Толпа постепенно редеет. Люди расходятся по домам. Замолкает музыка в парке. Становится слышен шелест листвы. В опустевшей чайхане снимают со столиков скатерти. В репродукторе теперь звучит симфоническая музыка — это транслируют Москву, там еще рано, идет вечерний концерт, а здесь уже глубокая ночь: когда в Москве одиннадцать вечера, во Фрунзе два часа ночи. Чьи-то последние торопливые шаги прозвенели по асфальту тротуара. Пора возвращаться в гостиницу.

Идешь улицей, обрамленной двумя рядами темных деревьев, и чувствуешь в груди свое сердце. Не потому чувствуешь его, что несколько часов провел в самолете, нет! И не потому, что находишься на большой высоте: уровень города Фрунзе над морем невысок, всего семьсот пятьдесят метров. Сердце свое, его тяжесть чувствуешь потому, что находишься на границе величайших гор и безбрежной степи: температура воздуха тут резко меняется, скачет. Пройдет день-два, сердце привыкнет, приспособится к этим скачкам, и тяжесть его чувствовать перестанешь.

Так, даже в этот глубокий час ночи, когда идешь опустевшей улицей — такой ровной, как бывает обычно в степных городах, и видишь вокруг только стены домов, да листву деревьев, да звезды, сердце говорит вам о том, что вы приехали в страну гор.

2. ЛЮБУЯСЬ ГОРАМИ

Чтобы во Фрунзе увидеть горы во всем великолепии, надо встать на рассвете и пойти на одну из небольших городских площадей, выбрав место, где деревья не заслоняют гор. Стоя на краю площади, видишь горную гряду — еще темную, пепельную, ломаная линия гребня которой врезается зубцами в фон посветлевшего неба.

Но вот на снежные вершины брызнуло солнце, окрасив сперва зубцы. И между горами и небом протягивается цепь ярко-розовых, а с теневой стороны фиолетовых пиков, словно бы вынырнувших в затуманенном море. Еще мгновение — и солнце соединяет пики огненной полосой и потом сбегает по склонам хребта, обнажая глубокие ущелья с дымными лентами облаков, тоже зарозовевшими, залиловевшими в этот ранний утренний час. Тем временем вершины из розовых делаются желтовато-белыми, а с теневой стороны бледно-зелеными. Краски утреннего солнца в причудливой игре теней и оттенков спускаются ниже и ниже к подножью хребта. И уже

запламенели макушки деревьев вокруг площади, где вы стоите, и начинают сверкать стекла окон.

Солнце плавно поднимается из-за гор, и краски сразу тускнеют, уступая место дневному свету, ровному, немеркнущему. Деревья и дома вокруг площади как бы вписываются сияющим полукольцом в фон гор. Кажется, что хребет приблизился к городу. При этом горы все еще не утеряли богатства красок, только краски эти стали теперь мягкими, будто некий живописец картину, написанную маслом, перерисовал заново нежной пастелью. Проходит еще некоторое время — солнце встает над горами. И хребет Кыргызынын-алатоо вновь отступает, краски его холодеют. Таким — холодным, серым, с белой кромкой вершин, суровым, мощным, изрезанным глубокими складками, будто тысячами морщин, — остается он на весь день до вечера, пока над гребнем его неспешно в небе движется солнце.

Картина снежного хребта говорит бесконечно много сердцу жителей Киргизии. Жизнь любого горожанина во Фрунзе связана с горами. Почти каждый киргиз-интеллигент старшего поколения среди самых знаменательных, запомнившихся ему в подробностях дней своей жизни — дня своей свадьбы, дня, когда его награждали орденом, дня рождения первого ребенка — числит и тот день, когда он спустился со склонов Тянь-Шаня в Чуйскую долину и впервые въехал — верхом ли, в крытом ли дунганском фургоне или на запыленной автомашине Киртранса — в город Фрунзе, молодую столицу своей республики. Здесь, у подножья родных гор, он получил специальное образование, здесь впервые раскрыл томик стихов Пушкина, здесь на всю жизнь связал судьбу свою с судьбой той великой партии, которая вывела маленький, нищий, затерянный в горах киргизский народ из тьмы средневековья на яркий свет культурной социалистической жизни.

Глядя на горы, поговорим о маршруте нашего путешествия: Киргизия — страна гор, и именно они определят наш маршрут.

Горы Киргизии граничат с пустынями и степями

Казахстана, с оазисами Узбекистана, со снежными хребтами и горными долинами Таджикистана. А на юго-востоке по гребню горного хребта Кок-Шаал тянется на восемьсот с лишним километров граница Киргизии с народным Китаем, с его самой далекой от Пекина провинцией Синьцзянь. Как раз китайцы дали тянь-шаньским хребтам их название. В переводе оно значит «Небесные горы»: китайцы некогда думали, что на вершинах Тянь-Шаня «держится небо», так они высоки и могучи.

Только два больших зеленых клина — Чуйская долина на севере и Ферганская долина на юге — врезаются в эту страну гор. Сюда-то и ведут две железнодорожные ветки: одна от Турксиба — в Чуйскую долину к Фрунзе и дальше в глубь Небесных хребтов до озера Иссык-куль; другая от Ташкентской железной дороги — к городам Ошу и Джалал-Абаду в Ферганской долине. А от этих крупнейших в республике центров по всем хребтам расходятся вьючные тропы и расползаются магистрали новых, теперь уже многочисленных автомобильных дорог.

Почти двести тысяч квадратных километров — велика территория Киргизской республики! Однако если сосчитать площадь всей земли, где ступает нога человека, где растут цветы и лежат снега, если вычислить поверхность всех горных склонов, действительная территория Киргизии окажется больше. Киргизию лучше смотреть на рельефной, а не на плоскостной карте.

Рельефная карта хороша и потому, что в Киргизии есть и жаркая пустыня, и степи, и зоны лиственных и хвойных лесов, и «тундра», и «арктика» — все многообразие климатических поясов Советского Союза, все разнообразие растений — от южного хлопчатника до северных мхов и лишайников, все разнообразие животных — от верблюда до горностая, все богатство людских профессий — от работников пустынь до зимовщиков высокогорной гидрометеорологической станции на Тянь-Шане.

Семьсот пятьдесят метров (уровень города Фрунзе) и семь тысяч четыреста тридцать девять метров

над уровнем моря (пик Победы — самая высокая точка Киргизской республики): путь от первой ко второй, медленный подъем в гору — вот, грубо говоря, маршрут нашего путешествия. Конечно, жизнь на склонах Тянь-Шаня на любой высоте неразрывно связана с жизнью остальной Киргизии. Но в то же время каждая высота на горных склонах имеет и свои особые, неповторимые черты. Правда, очень строго придерживаться такого маршрута не удастся. Жизнь заставит нас отступать от правила и совершать попутные экскурсии в стороны; ведь расположение тянь-шаньских хребтов причудливо, и природа Киргизии, как всякой горной страны, пестра и разнообразна. Но мы будем все же стремиться осматривать Киргизию снизу вверх.

Вам же, когда соберетесь поехать в Киргизию, придется, в зависимости от времени года, устанавливать свой маршрут. Надо помнить, что самые жаркие — иными словами, самые тяжелые для северянина — месяцы во Фрунзе, июнь — август, в то же время единственные месяцы, когда сравнительно легко попасть в любую высокогорную долину Тянь-Шаня и путешествовать по горам, наслаждаясь прохладой. В остальные месяцы многие перевалы завалены снегами, непроходимы. В мае и сентябре — что уж говорить о горных хребтах — даже на Иссык-куле воздух и вода так холодны, что купаться нельзя. Среди лета не редкость попасть в горах и в снежный буран.

Каждому, кто собирается на Тянь-Шань, надо запомнить: даже если он поедет на июнь—июль, необходимо взять с собой пальто, теплый свитер, шерстяные носки. А чтобы солнце, слепящее в горах, давало возможность все видеть, хорошо захватить в дорогу темные очки и широкополую шляпу.

3. ГОРОД ИМЕНИ М. В. ФРУНЗЕ

Есть на одной из улиц киргизской столицы маленький домик, дорогу к которому вам покажет любой горожанин — взрослый и школьник. Домик этот

отличается от других таких же еще существующих в городе старых мазанок тем, что побелка на нем всегда свежа да рядом с калиткой на стене висит мемориальная доска. Это домик, в котором родился и провел детские годы Михаил Васильевич Фрунзе. Посетители входят во дворик, где на грядках пестреют цветы, благоговейно вступают в невысокую дверь и переносятся в детство Миши Фрунзе.

При входе в крохотной передней на побеленной стене — металлический рукомойник, под ним — таз, сбоку — полотенце. В кухонке, тоже миниатюрной, рядом с чисто побеленной печью стоит небольшое корыто, в котором мать Миши Фрунзе, оставшись вдовой, стирала белье пишпекским чиновникам, зарабатывая деньги, чтобы прокормить детей. В проходной столовой, такой маленькой, что и повернуться негде, стол накрыт простой скатертью. Солнце бьет прямо в окна, наполняя воздух особенно прозрачным желтым светом. Все здесь так неотразимо свидетельствует о жизни, что не будь тут музейных шнуров, отгораживающих экспонаты, можно бы подумать: обитатели этих комнат сейчас только вышли и вот-вот вернутся.

Оконца домика глядят по-азиатски — во дворик, — надо думать, не потому, что так нравилось хозяевам дома, а потому, что на улицах Пишпека, как назывался в те времена город, лежал толстый слой пыли: бывало, проедет бричка или верховой, и не видно противоположной стороны улицы.

Пишпек, в годы, когда здесь жил маленький Миша Фрунзе, принадлежал к окраинным городам Российской империи, говоря о которых, употребляли слова «захолустье», «дыра», «у черта на рогах» и другие столь же нелестные выражения. А если кому-нибудь случалось описывать Пишпек, легче всего было определять его не тем, что в нем есть, а тем, чего здесь не было. Заводов не было, ни одной средней школы не было, ни водопровода, ни электричества, ни библиотеки, ни театра — ничего такого не водилось и в помине. И до ближайшей железнодо-

рожной станции нужно было трястись на перекладных четыреста километров.

В сущности, это был и не город, а большой базар, обросший со всех сторон белыми, серыми и голубыми мазанками, из окон которых жители выплескивали помои прямо на улицы. Сидел посреди базарной грязи на табурете горожанин, и над ним суетился брадобрей. Протяжно стонали верблюды, блеяли связанные попарно овцы, кричали на разноплеменных языках торгаши, толпилась у крыльца уездного правления длинная очередь просителей — многонациональные одежды их уравняла бедность, наделив одинаковыми дырами и заплатами, — и над мазанками, над дунганскими чайханами, над постоялыми дворами шумела пыльная зелень пирамидальных тополей.

В конце прошлого столетия жило в этом городе четверо человек, о которых пишпекские «аристократы» — царские колониальные чиновники, офицеры и купцы—говорили как о людях «без царя в голове». Были это: доктор Поярков, раскапывавший в окрестностях Пишпека курганы и записывавший киргизские народные сказки; городской садовод Фетисов, выращивавший в своем саду диковинные деревья — адамово дерево, грецкий орех, гранат; учитель Свирчевский, который (и это уже представлялось «господам пишпекцам» не токмо пустым, но и опасным занятием) переводил на киргизский язык сочинения Александра Пушкина; наконец фельдшер Василий Михайлович Фрунзе, по происхождению молдаванин, который мало того что бесплатно оказывал бедным медицинскую помощь, но, как со злобой говорили те же «господа пишпекцы»: подумать только, киргизов лечит!

Именно отношение к киргизам как к людям, интерес к ним, к их быту, поэзии, национальным чертам объединяло этих четверых. Часто собирались они по вечерам в маленьком домике Фрунзе, и дети слышали, с каким возмущением говорили они о царских чиновниках.

Одно событие, случившееся в детские годы Миши Фрунзе, изменило всю жизнь семьи. В Пишпек при-

ехавший на тройке из Верного (так назывался город Алма-Ата) генерал-губернатор Степного края барон фон Гаубе. Узрев в пишпекской больнице киргизов, барон пришел в ярость и повелел фельдшера Василия Фрунзе за то, что киргизов в больницу положил, немедля уволить, а самих киргизов из больницы выбросить вон, что и было неукоснительно чиновниками выполнено.

В семье Фрунзе начались трудные дни. Как раз об этом, о потрясающей бедности, свидетельствует обстановка домика-музея. Фельдшер Фрунзе сперва поступил счетоводом в частную контору и в то же время сеял хлеб, выращивал бахчу: иначе он не мог прокормить семью — жену и пятерых детей. Потом он умер, и мать Миши Мавра Ефимовна Фрунзе взялась за стирку. Героизм этой простой русской женщины особенно трогает посетителей музея. Стоя за корытом, она сумела вырастить всех детей и, что всего удивительнее, дать каждому из них, даже девочкам, образование.

В 1904 году Миша Фрунзе окончил с золотой медалью гимназию в Верном. Кончилось его отрочество, началась юность — зрелая, исполненная революционной энергии. И об этом новом периоде рассказывают фотографии, картины и документы, размещенные в комнатах другого домика, что стоит рядом: бывшей пишпекской аптеке, ставшей теперь частью Музея имени М. В. Фрунзе. С молчаливым уважением всматриваются здесь посетители в листовки, воззвания и другие документы, в которых запечатлены интереснейшие страницы истории большевистской партии.

В мае 1905 года двадцатилетний Фрунзе вместе с ткачом Федором Афанасьевым руководит знаменитой стачкой иваново-вознесенских рабочих. В декабре того же полного революционными событиями года он в Москве, во главе рабочей дружины ивановцев, сражается на баррикадах Пресни. Потом едет в Стокгольм на IV съезд РСДРП. В 1907 году царские охранники бросают Фрунзе в тюрьму; ему угрожает смертная казнь; во время суда адвокат говорит

ОШСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Инв. № 68174

двадцатидвухлетнему юноше: «Отрекитесь от своих пролетариев, вы увидите, вас сейчас же помилуют»; в негодовании Фрунзе заявляет суду, что отказывается от такого защитника; суд приговаривает Фрунзе к десяти годам каторги. В 1915 году он бежит из тюрьмы и создает в Минске в армии подпольную большевистскую организацию. А в октябре 1917 года опять во главе ивановских вооруженных рабочих приезжает на помощь восставшему пролетариату Москвы.

Зрелище великих характеров облагораживает человека, поднимает его на великий труд, на великие подвиги. Для многих и многих день посещения маленького Музея имени Фрунзе становится важным, поворотным днем их жизни. Здесь невольно начинаешь спрашивать себя: «Верно ли я живу, все ли я сделал, чтобы оправдать высокое звание человека?» Начинаешь себя поверять, сравнивать, подводить итоги своей жизни. Это чувство испытывают многие: оно звучит в отзывах книги посетителей — то глубоко скрытое, угадываемое по взволнованному тону, каким написан отзыв, то выраженное прямо.

С каждым годом через порог домика Фрунзе перешагивает все больше людей. И когда, осмотрев, они его покидают, полные чистого чувства, какое бывает, когда прочтешь очень хорошую, правдивую книгу, восхищен ею, и вместе растерян, и кажется, что и сам сделался лучше, чище, — когда выходят они на улицу, залитую солнечным светом, их словно бы провожает высящаяся у входа на каменном постаменте простая, строгая, слегка приподнятая над потоком идущих людей скульптурная фигура Михаила Васильевича Фрунзе.

Он стоит во весь рост в длинной красноармейской шинели, голова его не покрыта, в руках — военная карта. Полководец Красной Армии, руководивший разгромом Колчака, разбивший и развеявший по степи банды генерала Дутова и «черного атамана» Анненкова, — таким, как он изображен в этой скульптуре, вернулся Фрунзе к подножьям своего родного Тянь-Шаня.

Он ехал по солончакам, по траве,
По желтым горбам песков.
За ним колыхалось в густой синеве
Сиянье светлых штыков.
Он по аулам встревожил молву
Силой и смелостью льва.
«Кто это?» — спрашивал ветер траву.
«Фрунзе!» — шептала трава.

Эту известную казахскую народную песню поют и в Киргизии.

Сын пишпекского фельдшера, выгнанного некогда из больницы за то, что осмелился киргизов лечить, Михаил Васильевич Фрунзе возвратился на свою далекую родину освободителем киргизского, казахского и всех других народов Средней Азии. Советское правительство поручило Фрунзе командование Туркестанским фронтом и, кроме того, назначило членом Туркомиссии (комиссии по делам Туркестана). Комиссия эта была создана, чтобы руководить в Средней Азии тем историческим делом, о котором Фрунзе вместе с членами Туркомиссии в обращении к семиреченскому населению писал: «Советская власть ставит своей задачей разбить классовые перегородки, соединить всех трудящихся в единый стан, противопоставляя его стану богатых; уничтожить всякое национальное неравенство, всякую национальную рознь и создать, таким образом, истинное человеческое общество, чуждое звериных чувств и вражды».

Ныне с помощью Коммунистической партии киргизы, как и другие народы Союза, создали у себя общество, о котором мечтал Фрунзе,— социалистическое, истинно человеческое, чуждое звериных чувств и вражды. И благодарный киргизский народ то, чем больше всего гордится он, — столицу свою назвал именем ее уроженца Михаила Васильевича Фрунзе.

4. ДОРОГОЮ ТВОРЧЕСТВА

Название этого города вместе с тем означает «зеленый лист»: так переводится с молдавского слово «фрунзе». Удачная случайность! Фрунзе — один из самых зеленых городов нашей страны.

Сто лет назад вся Чуйская долина, как любили писать путешественники, «являла собой безотрадную картину выжженной солнцем степи», глазу негде было задержаться на деревце, певчей птице негде было свить гнездо. Тогда здесь, перефразируя известную киргизскую поговорку, «каждый воробей считал себя соколом, каждый прут считал себя деревом». Лишь в тени круглой юрты мог человек от палящих лучей солнца укрыть свою голову. Кроме юрт, лишь кое-где серели в Чуйской долине плоские мазанки. А на месте нынешней киргизской столицы высились глиняные стены кокандской крепости: следы ее можно и сейчас увидеть в конце улицы Ленина.

Когда в Чуйской долине появились российские переселенцы, они по обочинам своих улиц посадили пирамидальные тополя, вязы и клены; рядом с хатами украинцев за плетнями зазеленели вишневые садики. Деревьев сперва было мало, и от клубившейся за телегами пыли листву их иногда нельзя было издали и различить среди серо-желтой степи. Но они уже давали тень и прохладу, и на их ветках свили гнезда певчие птицы.

В конце семидесятых годов появился в Пишпеке человек, который все свое умение вложил в то, чтобы в городе зашумели деревья. Был это упомянутый нами друг фельдшера Фрунзе — садовод Фетисов. Кроме своего сада с «диковинными» деревьями, Фетисов в 1881 году заложил на окраине города Карагачевую рощу. И, надо полагать, что, сажая в роще молоденькие саженцы, он не раз задумчиво себя вопрошал: наступит ли день, когда в сени его карагачей и дубов смогут отдыхать бок о бок дружно русские и киргизы?

Лишь полстолетия спустя суждено было осуществиться этой мечте. Ныне по воскресеньям в прохладной сени Карагачевой рощи блестят веселые, — хочется сказать, веселейшие, до того они пестры, нарядны и столько вокруг движения, оживления, ярких платьев, радостных возгласов, смеха, — веселейшие краски лотков, передвижных ларьков и украшенных полотнищами грузовиков с ящиками лимонада. По-

среди парка сверкает озеро, вырытое молодежью. В воде виднеются загорелые тела пловцов, проносится мимо тень прыгнувшего с вышки спортсмена. А в глубине Карагачевой рощи, за вторым озером, Пионерским, бросая на черную воду играющие отблески, горят по вечерам костры пионерского лагеря.

Странным человеком, чудаком слыл в дореволюционном Пишпеке Фетисов. В нынешнем Фрунзе все горожане: и киргизы и русские — от пионеров до людей почтенного возраста — сделались такими «чудаками». На улицах киргизской столицы стала крылатой поговорка: «Не посеяв тени, в прохладе не поспишь». Фрунзенцы обильно посеяли прохладу в своем городе, превратили его в тенистый парк. И количество листвы в киргизской столице быстро растет. Почти четверть миллиона новых кустарников и деревьев высаживают каждый год фрунзенцы на своих улицах.

Научный центр этой работы, ботанический сад Академии наук Киргизии, разбит на окраине города. Издалека выписывают киргизские ботаники семена и саженцы деревьев и кустарников, чтобы переселить их к себе, приспособить к местным условиям, перевоспитать. Самшит, держидерево, сибирская лиственница, черная ольха, скальная смородина и черная бузина, тополь Бетштейна, который за один год тут вырос на три метра — каких редкостных гостей не встретишь в ботаническом саду! Есть, разумеется, здесь и сектор киргизской флоры: ботаники испытывают в нем кустарники и деревья, растущие на Тянь-Шане, — дерево высокогорий арчу, и сусамырскую смородину, и строгую тянь-шаньскую ель.

Существует в ботаническом саду и мичуринский сектор. Пишпекские сады уже и до революции славились яблоками, грушами, персиками, сливами, вишнями, абрикосами. Но прежде в здешних садах было мало сортов этих фруктов: раз-два — и обчелся, теперь сортов десятки. И, кроме того, тут появились гранаты, инжир. Еще недавно считалось, что в Чуйской долине с ее весенними заморозками хорошие

сорта винограда не могут расти. Мичуринцы опровергли это мнение. Осенью на столичном рынке, в тени навесов теперь мерцают кисти вкусного винограда. А на винзаводе во Фрунзе делают и виноградные вина. Особенно славится Киргизия своим шампанским: в Чуйской долине (и в этом отношении немногие места в Советском Союзе могут соперничать с ней) сорта винограда для шампанских вин — пинофран, рислинг, кульджинка, серексия — нашли для себя необычайно благоприятные условия почвы и климата.

От Фетисова, опытника-одиночки, до Киргизской Академии наук с ее многочисленными научными работниками: какой путь!

Я перебираю в памяти лица тех интеллигентов-фрунзенцев, с которыми меня связала, пусть непрочная, пусть разорванная ныне дальним расстоянием, но настоящая дружба. Вспоминаю молодого ученого, который в ответ на обвинение одного критика, что он в своих литературных вкусах пристрастен, пылко воскликнул: «Беспристрастность в искусстве — все равно, что рассудочность в любви, удел совсем холодных сердец!» Вспоминаю другого киргизского ученого, с горячностью он говорил своему лучшему другу: «Ты привык рассматривать современные вопросы науки как вопросы вечные и последнее слово как окончательное. Нет ничего хуже окаменевшего знания! Дальше, дальше смотри!»

Вспоминаю самую атмосферу мыслей в разговорах с этими людьми, которые лишь за полчаса-час перед тем оторвались от микроскопов или письменных столов, пришли из тишины лабораторий или из шумных стен институтов, — атмосферу мыслей восхищающих, радующих, веселых, остроумных, гордых, победоносных, свежих, живых, ярких, блестящих. И не могу не вспомнить при этом, что жизнь почти каждого из киргизов-интеллигентов старшего поколения начиналась не с букваря, а с посоха подпаска и сыромятной ременной плети— камчи.

Ветхая юрта, запах мокрого войлока, мать часами раздувает огонь в очаге, дым ест глаза, отец греет

в свои руки и сушит дырявые сапоги: таким большинство из них запомнило свое детство.

«Мы знали, — вспоминает Айткулу Убукеев, — что пойдем в пастухи, в работники к баям. Других путей в жизни у нас не было. Когда подрастали немного, нас подзывали отцы и говорили:

— Ты уже вырос, сынок, и в состоянии прокормить себя. Иди к баю пастухом.

В нашей семье, кроме джармы (ячменной похлебки), другой пищи почти не было. О токаче (лепешке) мы имели смутное представление. Иногда — что случалось редко — мать угощала нас лепешками, испеченными в золе. Но я не помню, чтобы когда-нибудь наедался досыта. Все мои мечты сводились к одному — хоть бы раз наесться досыта...

Зимой игры на вольном воздухе прекращались: у многих не было обуви. Сидишь, бывало, около очага с пустым желудком, голодно и скучно. Возьмешь альчики (бабки), побросаешь их и так и этак — надоест. Сунешь ноги в теплую золу очага, достанешь затухший уголек или измажешь руки сажей и начинаешь играть в молдо — вытирать грязной ладонью лицо, — и до того измажешься, сам себя не узнаешь».

Еще тридцатилетие назад, когда кто-нибудь покидал надолго свой горный аил и его родным надо было по какому-либо из ряда вон выходящему случаю написать ему письмо, им в поисках грамотного приходилось обходить юрты всей долины. Да и этот единственный владеющий «волшебством письма» грамотный писал не на своем родном языке, а пользуясь письменностью одного из соседних народов, близких киргизам по языку. У киргизов не было своей письменности. По удачному выражению Аалы Токомбаева, «грамотного в ту пору так же трудно было найти в киргизских горах, как трудно сейчас найти в них неграмотного».

Знаменательно, что сказано было это на торжестве по случаю открытия Киргизского государственного университета. В Киргизии произошла культурная революция. Только в 1924 году была создана здесь

письменность на родном языке, а в 1940 году в маленькой Киргизии уже работало больше средних школ, чем в сельских местностях всей дореволюционной России. Теперь в Киргизии осуществлено всеобщее семилетнее обучение на селе и десятилетнее в городе. Каждый четвертый житель республики учится.

Биография любого из киргизов-интеллигентов старшего поколения полна такими событиями, такими необыкновенными изменениями судьбы, каких раньше не знавала человеческая история.

Поэт Аалы Токомбаев в дни киргизского восстания 1916 года мальчиком бежал с семьей в Китай и на чужбине выжил из семьи только один. Вернувшись на Тянь-Шань с потоком беженцев, Аалы беспризорничал, потом стал пастухом. Погнал скот в Ташкент и поступил учиться в Среднеазиатский коммунистический университет. Первым его уроком в этом университете была азбука.

Носил университет имя Ленина. «Я представлял себе Ленина великаном из сказок, подобным герою народного эпоса, который может один расправиться с тысячами недругов, — рассказывал Токомбаев. — Когда Ленин заболел, стали искать целебные травы. В киргизском народе в ходу разные травы от болезней. Мы решили найти такие травы и послать Ленину. Написал и я своему старшему другу — пастуху Садыку, умолял его скорее прислать нужные травы. Садык был неграмотен, но я надеялся, что его родственник-учитель прочитает письмо и мы поможем вылечиться Ленину».

Как почти все киргизы его поколения, Токомбаев не знает точной даты своего рождения. Зато весь киргизский народ знает точную дату рождения киргизской печатной литературы: 7 ноября 1924 года вышел первый номер газеты на киргизском языке «Еркин-тоо» («Свободные горы»), в котором было напечатано стихотворение Токомбаева, посвященное Ленину. С тех пор вышло в свет немало книг Аалы Токомбаева, стихотворных и прозаических. Он кончил в Москве литературный институт, стал образо-

нашим человеком, книги его переведены на многие языки. И киргизское правительство присвоило ему звание народного поэта.

Художник Гапар Айтиев, картины которого висят в Киргизской национальной галерее, еще тринадцатилетним мальчиком смешал уличную пыль с цементом, чтобы была крепче, и вылепил «сказку о семиголовой старухе». Сельский мулла разбил это первое детское произведение и объявил мальчика богоотступником. Потом Айтиев работал в комсомольских организациях, был редактором республиканской пионерской газеты, учился в Московском художественном училище. В 1939 году он стал известен всему Союзу оформлением музыкальной драмы «Алтынкыз», показанной на декаде киргизского искусства в Москве. Теперь Айтиев — ведущий художник республики, учитель молодых живописцев и государственный деятель: депутат Верховного Совета Киргизии.

Хирург Иса Ахунбаев провел свое детство в маленьком селении на берегах синего Иссык-куля. Как и все киргизы в ту пору, мальчик думал, что болезни происходят от джинов — крошечных существ, которые, подобно людям, ездят верхом на лошадях и ведут кочевой образ жизни, а человеку показываются в облике мошек и мух, ящериц, жаб, пауков. Он распрощался с этими суевериями в школе, затем окончил медицинский институт в Ташкенте. Теперь Ахунбаев — известный врач, депутат Верховного Совета СССР, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР и президент Академии наук Киргизской ССР, автор оригинальных трудов по эндемическому зобу, хирург. Несколько тысяч операций сделал он, спасая людей от смерти. «Борец со смертью» Иса Коноевич Ахунбаев избран народом во Всесоюзный комитет защиты мира и участвовал в работе второго Всемирного конгресса сторонников мира в Варшаве.

Историк Бегималы Джамгырчинов родился в 1914 году в предгорьях Чуйской долины, в рваной юрте байского пастуха. Его отец Джамгырчи был

столь беден, что до тридцати двух лет не мог жениться, скопить калым, который необходимо было выплатить за жену. Разве можно сравнивать молодость сына с молодостью отца! Бегималы рос вместе с ростом культуры своего родного народа: едва он кончил начальную сельскую школу, как во Фрунзе открылся сельскохозяйственный техникум; в тот год, когда Бегималы получал диплом этого техникума, во Фрунзе открылся педагогический институт; воспитанник этого института, молодой киргизский ученый своей докторской диссертацией «Присоединение Северной Киргизии к России» убедительно показал, какое прогрессивное значение имела для киргизов русская культура. И словно для того, чтобы на примере жизненного пути самого Джамгырчинова еще ярче подчеркнуть значение русской культуры для роста культуры его родного народа, в тот день, когда во Фрунзе на базе бывшего педагогического института открылся Киргизский государственный университет, первым его ректором стал Бегималы Джамгырчинов. А сейчас он читает курс истории в этом университете.

После революции в Киргизии родилась крылатая фраза: «Сердце матери к сыну, сердце сына в Москву». Сердце целого народа потянулось к русской культуре. Русские ученые — академики Л. С. Берг, В. В. Бартольд, А. Е. Ферсман, В. Л. Комаров, А. Н. Бах, К. И. Скрябин, А. А. Борисяк и те русские профессора и преподаватели, что приехали из России работать во Фрунзе, помогли киргизскому народу совершить свой поход в науку. Академия наук Киргизской ССР руководит теперь работою многих научно-исследовательских институтов и опытных станций, в которых работает уже немало ученых киргизов.

Мы не станем в настоящей главе знакомить читателя с работой ученых Киргизии, потому что, путешествуя по республике, не раз будем встречаться с учеными — не в кабинетах, а в обстановке самой жизни, и это, конечно, куда интересней. Скажем лишь, что у ученых Киргизии есть тема, в которой некоторые из них уже кое в чем стали учителями

других народов. Тема эта — животноводство, главная отрасль хозяйства Киргизской республики.

Недаром киргизскими научными учреждениями долгое время руководил Константин Иванович Скрябин, академик четырех академий, по профессии ветеринарный врач. Начал свою научную деятельность Скрябин задолго до революции у подножья этого же Киргизского хребта, в городе Аулие-Ата (нынешний Джамбул), на городской скотобойне. Борясь с болезнями животных, Скрябин создал новую отрасль науки — гельминтологию, открыв множество дотоле неизвестных паразитов, живущих в организме животных, и научился с ними бороться.

Всесоюзную известность завоевал и КирНИЖ (Киргизский научно-исследовательский институт животноводства). С работниками этого института мы будем встречаться на многих страницах книги. Пока же, осматривая киргизскую столицу, выберем денек и, чтобы войти для начала хотя бы в круг интересов киргизских животноводов, съездим на автомашине недалеко, всего за семь километров от города, на экспериментальную ферму этого института.

5. У ПОДНОЖЬЯ КИРГИЗСКОГО ХРЕБТА

Когда выезжаешь из Фрунзе на экспериментальную ферму КирНИЖа, перед глазами встают горы, снежные вершины которых то сверкают серебром, то окутаны белыми шапками летающих облаков. Едешь по направлению к степному, серому, выжженному солнцем подгорью. Рассеянный взгляд ваш, привлеченный золотом придорожного подсолнуха или трясогузкой, сидевшей у арыка и вспорхнувшей при приближении автомобиля, задерживается на поле, усыпанном камнями, и на черном прямоугольнике пашни, гуляющей под паром, где трактор постреливает синим дымком. На дороге встречаешь грузовики — с зерном, сахарной свеклой, иногда с яблоками, аромат которых чувствуешь долго после того, как проехала груженная ими автомашина.

Но вот справа, за широким каналом, сначала восхищая глаз, потом утомляя его, начинают мелькать бесконечные ряды побеленных стволов фруктовых деревьев. Проплывает мимо высокая арка: что за арка — речь впереди. Пока же оставим и ее в стороне и по зеленой улице колхоза-миллионера «Киргизия» въедем на территорию экспериментальной фермы КирНИЖа.

«Алатоо» — пестрые горы! Многие хребты Тянь-Шаня имеют в названиях своих это слово: Кунгей-алатоо, Терскей-алатоо... Географы говорят: пестрыми названы они оттого, что весною, и летом, и осенью на их склонах белеют пятна снега. Но киргизские пастухи говорят другое: горы пестрые потому, что на них повсюду виднеются движущиеся пятна пасущихся конских табунов и овечьих отар.

В 1932 году известный животновод Н. И. Захарьев объехал на бричке, в поисках породистого скота, всю Чуйскую долину. Только в четырех хозяйствах он нашел животных с намеками на то, что среди предков их были животные хороших кровей. Животноводство Киргизии было одним из самых отсталых. Всего четверть века прошло, и тот же Захарьев, ныне профессор, вице-президент Киргизской Академии наук, скажет вам, что Киргизия обогнала даже такую страну, прославленную передовым животноводством, как Новая Зеландия.

«Жизнь стала другой, полной смысла существования, интересной, радостной. Поэтому и растение, и животное должны быть более продуктивными, более выносливыми, более отвечающими потребностям новой жизни, и это возможно только на основе всемогущей техники, всемогущей селекции». Эти слова И. В. Мичурина не покидают вас на экспериментальной ферме КирНИЖа.

Но для того чтобы эта новая всемогущая техника, всемогущая селекция сделались для вас тут по-настоящему увлекательными, интересными и живыми, лучше всего осматривать ферму не зимой, не весной, не летом, а осенью, в сентябре — октябре.

Каждую осень вереницы автобусов, колхозных грузовиков и легковых машин подкатывают к арке, которую мы видели подъезжая. Это вход на постоянную Республиканскую сельскохозяйственную выставку. (С 1956 года она превращена в выставку Народного хозяйства Киргизской республики.) Тообай Кинзбаев, известный в Киргизии табунщик, говорил: «Если хотите увидеть Киргизию, поезжайте сперва на выставку. Потом, объехав республику, посетите выставку еще раз. Вы увидите: это место, как хорошая книга, во второй раз читается лучше».

Идешь от арки по яблоневому парку. В нем так хорошо, что летом многие фрунзенцы приезжают сюда на автобусе просто отдохнуть, провести выходной день среди цветников. Через деревянные массивные двери с бронзовыми накладками вступаешь в Главный павильон и начинаешь увлекательное «путешествие» по Киргизии.

Мы с вами пришли сюда главным образом ради павильонов животноводства, поэтому по остальным павильонам лишь пробежим. Даже при беглом осмотре вам запомнятся бурые коробочки лекарственного мака, увенчанные маленькими коронами; корень кормовой свеклы такой величины, что и в руки взять страшновато; куст хлопчатника, шутка сказать — с сотней распушенных коробочек; замечательная коллекция пшениц, выведенных Киргизской селекционной станцией.

В Павильоне механизации блестят синим, красным, зеленым лаком сельскохозяйственные машины последних конструкций. Вспомнишь, что в Киргизии четверть века назад некоторые люди при появлении первого трактора убегали в горы, и глядишь с особым чувством на мощные тракторы и картофелесажалки, рассадопосадочные машины и комбайны для уборки кукурузы, свеклокомбайны, картофелекомбайны. В голову западает цифра: одних только зерновых комбайнов в Киргизии теперь работает больше двух с половиной тысяч!

Но вот мы выходим на Площадь животноводства, окруженную праздничным ансамблем расположен-

ных подковой павильонов. Плафоны и стены павильонов радуют глаз яркими красками народных орнаментов. Вот этот орнамент называется «вороний коготь», этот — «крыло мухи», этот — «хвост собаки», этот — «куриный глаз», этот — «копыто и лошадиная подкова». Только орнаменты, они одни напоминают здесь людям о недавнем и в то же время далеком кочевом прошлом Киргизии. Все остальное — победная песня новому, социалистическому.

Возле открытой веранды Главного павильона животноводства вода вращает турбину маленького действующего макета колхозной гидроэлектростанции. В этом павильоне показана механизация и электрификация животноводства. А из-под кровель остальных шести павильонов доносится хоть и заглушенное стеклянными стенами, но все ж явственное мычание, блеяние, ржанье, меканье, хрюканье, фыркапье, рев: там за загородками и в стойлах стоят породистые животные.

Около павильона крупного рогатого скота ваше внимание остановит застекленная рама солнечной водонагревательной установки. Давно люди запрягли ветер и воду, теперь они научились запрягать и солнце. Горячая вода от гелиоустановки идет в доильный зал, в душ для коров. Не успеваешь как следует рассмотреть нагревательную установку, как необычный звук заставляет вас обернуться.

Это облаченный в белый халат Ибраим Бектембаев — скотник племхоза «Аламедин» — вывел для всеобщего обозрения на посыпанную песком смотровую дорожку быка Кречета.

В ноздри быка продето кольцо, к кольцу привязан крепкий ремешок, прикрепленный другим концом к рогам быка. Зацепив ремешок двухметровою палкой с железным наконечником и петлей, Бектембаев с важностью ведет Кречета. Склонивши выю, кося исподлобья кровяным глазом, бык движется замшевой глыбой. У него тугой загорбок, курчавая голова. Мощные мускулы перекатываются на шее волнами, а на груди под кожей шевелятся живыми шарами. Даже гул толпы зрителей не в состоянии заглушить

дыхания быка, подобного вдохам и выдохам кузнечного меха.

При приближении быка одно только слово прокатывается по толпе: «Кречет!» Имя быка знают все, даже те, кто видит его впервые. Потом толпа смолкает, сотни глаз впиваются в быка. Это зоркие глаза, им легче легкого, например, по тонкому, еле видному перехвату на шерстинке овцы сказать, что зимой там, где паслась овца, был буран, к которому пастухи не приготовились, не запасли сена, и овца несколько дней голодала. От таких глаз ничто не укроется.

Правда, тут же на смотровой дорожке редко услышишь какое-нибудь суждение: не в традициях киргизов обмениваться мнениями на ходу. Зато позже, когда наступит час перерыва, сколько тонких замечаний, высказанных неспешно, со всею приличествующей степенностью, но полных внутреннего огня, услышим мы о том же Кречете.

Разбирая стати быка, киргизские колхозники покажут такое знание кровей, которое поражает приезжего человека. Они точно скажут вам, что именно Кречет унаследовал от своего деда — быка Казбека, а что — от прадеда, знаменитого Вулкана, родоначальника одной из главных линий алатауской породы скота. Они вспомянут мимоходом и отца Вулкана, прославленного на весь Союз Миноса — быка, принадлежавшего ферме Всесоюзной Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Они не забудут упомянуть и о способности к быстрому нагулу, крепости костяка, приспособленности к горным условиям, которые Кречет получил в наследство от киргизского скота.

Потолкуют они и о том, что их интересует сильней всего: вот, мол, прабабушка Кречета — дочка Билли и Комедии — корова Кармен имела необыкновенно высокую жирность молока — 4,6%.

— Жирность молока — что за прозаическая тема! — воскликнете вы.

Вам возразят: нет, в этой теме огонь! Многие могут тут рассказать, сколько профессиональных хитростей вкладывали они, чтобы добиться увеличения жирности молока на две-три десятых процента, а то

даже и на восемь десятых. А если жирность молока повысить у всех коров Союза лишь на одну десятую процента, это дало бы стране добавочно в год несколько тысяч центнеров масла. Значит, есть о чем хлопотать.

Разговоры обо всем этом не праздное любопытство, многие колхозы в результате заведут у себя высокоудойных коров алатауской породы. Порода эта создана зоотехниками и лучшими доярками Киргизии и Южного Казахстана. Ведущим стадом новой породы было и остается стадо киргизского племхоза «Аламедин», работой которого руководит целая группа зоотехников во главе с профессором Н. И. Захарьевым.

День за днем на площади выставки проходят лучшие животные: лошади киргизские чистокровные — потомки знаменитого жеребца Альбертона и донокиргизские — линий Забавника 1-го и Челна, коровы алатауские и черно-пестрые таласские, киргизские овцы, которым советские селекционеры «сменили шубы» — сделали из грубошерстных тонкорунными, алайские курдючные овцы неслыханных раньше веса и величины, пуховые козы с длинной, тоже невиданной прежде шелковистой шерстью и пухом, высокогорные яки, метисы яка с коровой, архаромериносы. Не здесь ли, на этом праздничном шествии, были сложены строки Аалы Токомбаева:

Киргизстан, твои кони крылаты,
Их советские ценят солдаты.
Хороши твои овцы — как хлопок живой,
И белы, словно мрамор, ягнята.
А коровы твои — родники молока.
О страна моя, как ты богата!..

В дни выставки коровники, конюшни, свинарники экспериментальной фермы КирНИЖа превращаются как бы в павильоны — ферма становится своего рода частью выставки. Все на ферме — термометры, висящие на стенах скотных дворов, кормовые кухни с их техникой, целая система коровьих и лошадиных меню, лабораторные анализы «блюд», строжайший распорядок дня, при котором еда, прогулки и отдых

совершаются по часам, — все напоминает комфортабельный санаторий.

Зайдите в «родильное отделение». Теленка принимают на белую простыню, проглаженную горячим утюгом. Пока корова облизывает дрожащего теленка, «акушерка» массирует ему ноги. Потом теленка завертывают во вторую сухую простыню и несут в профилакторий. Там его ставят в отдельную «клетку», огороженную прутьями. Ветеринар вводит ему сыворотку против колибацилеза и паратифа. Спустя два часа теленку дают кличку и ставят на ухе инвентарный номер. Он стоит за своей загородкой, еле держится на ногах, испуганно смотрит черными глазами на мир. А остальные телята, те, что родились раньше, — могучая сила природы взяла верх! — уже лежат на соломе и спят.

Зайдите в коровник. И тут все чисто, все механизировано. Рядом с коровником — душевая. В каждом стойле — автопоилка: когда корова хочет пить, она нажимает носом педаль, и вода наполняет лагуну. Прежде коров поили два-три раза в день, из автопоилки они пьют от семидесяти до ста раз в сутки, и оказалось: когда вода в стойле — коровы спокойней, у них лучше аппетит, удои повышаются на десять-пятнадцать процентов.

Лучше аппетит! У коров здесь меню по заказу. И в этом, в индивидуальном подходе, гвоздь той системы воспитания коров, за которую боролись передовые доярки Киргизии. Плохо корова пообедала, и доярка уже сообщает об этом зоотехнику, тот меняет корове рацион, раздумывая, что бы дать повкусней. Доярка изучает свою группу коров, их вкусы, привычки.

«Молоко у коровы на языке». Эта народная поговорка соответствует новейшим взглядам в животноводстве: для получения высоких удоев главное — условия кормления и содержания скота. Как рационально кормить скот и как лучше его содержать — именно этому учатся посетители выставки на экспериментальной ферме КирНИЖа. Еще недавно считалось: чем больше съест животное концентратов — овса, ячме-

ня, бобов, жмыха, барды, жома, тем будет оно продуктивней. Профессор Н. И. Захарьев доказал, что при умелом кормлении можно обходиться небольшим количеством концентратов, разработал так называемый «малоконцентратный» тип кормления, при котором продуктивность животных осталась той же, а кормление животных стало куда как дешевле.

А сколько ожесточенных споров, сколько дискуссий, сколько насмешливых улыбок людей, привыкших к старинке, сколько настороженного выжидания со стороны некоторых председателей чуйских колхозов — мол, пусть другие начинают, а нам не к спеху, — словом, сколько старого висело на плечах у нового, мешая ему, прежде чем это новое смогло, наконец, заявить о себе полным голосом. Только когда экспериментальная ферма стала ежегодно получать от свиноматки по двадцати деловых поросят, настригать с овцы по четыре с половиной килограмма шерсти, надаивать (неслыханную в Киргизии цифру) больше шести тысяч килограммов молока от каждой фуражной коровы, — только тогда новое окончательно победило.

А на ферме, смешавшись с пестрой толпой посетителей выставки, слышишь теперь новые споры вокруг новых вопросов, новые недоумения, изумленные восклицания, недоверчивые расспросы, насмешливые рассуждения, подкрепляемые примерами без числа. Новое родилось и, родившись, в борьбе отстаивает свое право на существование. И мы знаем по опыту: оно победит. На то у нас и советская власть, чтобы новое — самое передовое, простое и изобретательное, облегчающее жизнь трудящимся людям, опять и опять рождалось, отстаивало в борьбе, иногда и нелегкой, свое право на жизнь и вновь и вновь побеждало.

6. „ПОСТРОИЛИ, СТРОЯТ...“

«Построили, кончают строить, строят, задумали строить», — как часто в наше время слышишь эти слова! Разыщите во Фрунзе кого-либо из рабочих,

депутата городского или областного Совета. Попросите его показать вам город. Что и говорить, вы можете и сами его осмотреть. Вы увидите немало интересного — новые здания, дома культуры, парки, но не увидите, не почувствуете во всей полноте одного — пафоса строительства, его пафоса. Иное дело, когда спутником у вас депутат!

Рассказывают, как-то раз (дело было в Москве во время очередной сессии Верховного Совета СССР) иностранный журналист, расспрашивая одного из киргизов приехавших на сессию, о его депутатской деятельности, насмешливо спросил: как он может тратить столько времени на общественную работу, не получая за это денежного вознаграждения? На это депутат ответил поговоркой:

— Птица за полет платы со своего крыла не берет.

Не знаю, понял ли журналист этот ответ, записал ли его даже в блокнот. Но для нас слова эти полны смысла: поэзия социалистического строительства окрылила советских людей.

Показывая свой город, депутат поведет вас совсем не туда и не так, как повел бы гид в какой-нибудь из стран буржуазного Запада. Не с храмов и дворцов начнет он осмотр, а начнет, ну, например, с кирпичного завода «Красный строитель». Место как будто самое обыденное: производство кирпичей даже и при нынешней механической формовке не столь волшебно, чтобы ему можно было удивляться. Зато люди! Стоит поговорить с ними — с садчиками, обжигальщиками, и вас захватит, пленит, окрылит поэзия городского строительства.

Вам расскажут эти люди, как они ездили в Воронеж учиться к прославленному мастеру скоростного обжига кирпича Павлу Дуванову и как вместе с ними путешествовал в Воронеж совершил кирпич — да, да, простой кирпич из сырца. Положив в портфель, рабочие взяли его с собой и подсунули в печь к Дуванову, чтобы своими глазами посмотреть, как при скоростном методе обжига поведет себя киргизский сырец. Потом этот кирпич, обожженный за двое суток вместо обычных семи, совершил в том же портфеле

обратный рейс во Фрунзе и стал кочевать по письменным столам горкома партии, горсовета и строительных организаций, наглядно свидетельствуя о победе нового метода.

Вам расскажут кирпичники и о том, как Дуванов потом сам приезжал во Фрунзе помочь здешним людям овладеть новым методом обжига кирпича и перевел одну из печей «на два огня». И в рассказах рабочих об этом будет столько сердечного вдохновения, что после получасовой беседы с ними у кольцевой печи и вы начнете с жаром говорить о том, как, удлиняя в печи зону дыма за счет зоны паров и открывая дорогу воздуху и огню, можно развить в печи такую скорость огня, какая прежде кирпичникам и не снилась. Словом, и вас захватит, сделается для вас интересной работа, казавшаяся накануне скучной, как все, о чем мы не имеем понятия.

Еще о кирпичах и поэзии строительства. Довелось однажды мне побывать во Фрунзе на показе стахановских методов поточной кладки кирпича. Было это на строительстве нового родильного дома. Дело происходило в начале мая, когда во фрунзенских садах земля вокруг яблонь была белой от опавших лепестков и пение птиц достигало наивысшего напряжения. На строительной площадке собрались представители общественности, ученые, рабочие-каменщики.

Чуть слышно зажужжал транспортер и понес на леса в легких металлических рамках непрерывным потоком кирпич. Засуетились на крыше соседнего дома редакционные фотографы. Кран «Пионер», установленный на передвижной металлической эстакаде, начал поднимать на приемную площадку ящики — контейнеры с бетонным раствором. И, словно подчинившись размеренному движению механизмов, бригада каменщиков, идя звено за звеном, поднимая кладку все выше, стала укладывать кирпичи по методу знатного каменщика страны С. Максименко.

Ритм этой работы был таков, что глаз не оторвешь. Один из зрителей, стоявший рядом, воскликнул: «Хотя и не «Лебединое озеро», а здорово!» Красота работы его захватила. Но самое характерное было, что рабо-

[illegible] по методу Макаренко, другими словами, работали так же, как и в Москве, на Украине, Урале. Большая стройка давно положила у нас конец [illegible] углам, провинциальщине и превратила людей этой стройки в передовых, где бы они ни жили.

Как тут не вспомнить Дмитрия Фурманова, писателя, комиссара легендарной Чапаевской дивизии. В 1920 году в Пишпеке (так назывался тогда город Фрунзе) председ он провел многолюдное собрание [illegible] и красноармейцев и потом писал: «...можно было заметить, что факты, о которых рабочие где-нибудь в Самаре, Уфе и думать забыли давно, эти факты являются здесь новинкой, ими интересуются, как свежими новостями. Далеко-далеко позади живут люди в этих городах, селах, кишлаках, вогнанных под самые тянь-шаньские горы».

Горы, как и встарь, высятся над киргизской столицей. Но внешность города со времен Фурманова его строители изменили так же сильно, как сильно изменились сами люди, живущие в нем.

Над пестрым морем домишек поднялись кровли новых зданий: стены некоторых украшены розетками киргизского орнамента. Тротуары и мостовые оделись асфальтом, и на углах появились чистильщики обуви. Фрунзенский пейзаж стал городским со всеми его характерными чертами — с водопроводом и больницами, со стадионами, автогаражами, бензоколонками, троллейбусами, автобусами, стеклянными будками регулировщиков и потоком грузовиков и легковых автомашин.

Два больших здания — Дом правительства и здание Академии наук, разделенные сквером, образовали новый городской центр. Среди жилых кварталов обширным кольцом расположились республиканские культурные учреждения: Киргизский университет, институты медицинский, сельскохозяйственный и политехнический, картинная галерея, Исторический музей, Государственная филармония, Дворец пионеров, редакции русской и киргизской газет, государственное издательство, выпускающее журналы и книги на киргизском и русском языках... Этот перечень можно бы

продолжить, упомянув еще многие учреждения, но они те же, что и во всяком крупном советском городе. Здесь же интересно сказать о другом.

Есть в Дубовом саду во Фрунзе старое здание оперного театра — небольшое, неказистое на вид. А каким нарядным (многие фрунзенцы со всею искренностью могут засвидетельствовать это) представлялось это здание горожанам в те еще живые в памяти дни, когда его только что воздвигли, первый в истории киргизского народа театр! По сравнению с мазанками тогдашнего города театр этот казался необычайно красивым, просто величественным.

Давно ли, недавно ли это было... А в киргизской столице построили еще несколько театров, и двадцать четыре клуба, и пять парков с летними театрами и эстрадными площадками. С каждым годом все более снисходительно поглядывали фрунзенцы на свой новый (теперь уже они именовали его «старым») оперный театр: здание осталось тем же, но точка зрения на него изменилась. Оперным артистам и зрителям в нем сделалось тесно. Народ «вырос» из этого здания, как юноша вырастает из своего детского костюма. Удивительно ли, что строители воздвигли во Фрунзе новое громадное здание театра оперы и балета с великолепным залом, которому можно поставить в упрек лишь некоторое излишество золотых украшений. А здание старого оперного театра передали русскому театру драмы.

Давно ли, недавно ли... В 1934 году во Фрунзенской публичной библиотеке имени Чернышевского насчитывалось всего тридцать четыре абонента-киргиза. Доисторические времена! Ныне в читальных залах этой библиотеки занимаются и берут книги на дом десятки тысяч читателей-киргизов. Кроме того, во Фрунзе работают еще восемьдесят четыре библиотеки. Весь киргизский народ раскрыл книгу. А в публичной библиотеке людям и книгам стало так тесно, что назрела острая нужда строить новое здание. И так всюду, во всем.

Одна из троллейбусных линий от вокзала идет через город к фрунзенскому мясокомбинату. Многие

помнит, как гордились фрунзенцы своим мясокомбинатом в тридцатых годах, когда его только что построили. Тогда это было самое крупное предприятие столицы. Прошло два десятилетия. Во Фрунзе выросли более крупные заводы и фабрики. Но именно на мясокомбинате в 1951 году мне случилось быть свидетелем сцены, которая как нельзя больше к слову, раз уж коснулся темы «построили, строят...».

Дело было так. Сперва несколько часов осматривал я мясокомбинат. На этом комбинате, по известному выражению, «идет в работу все, кроме последнего вздоха», — от мяса, крови, жил и костей до желез внутренней секреции. Под конец сотрудница комбината ввела меня из химической лаборатории в комнату, где стоял накрытый белоснежной скатертью стол. На нем сияли тарелки, возле каждой лежали ложка, вилка, нож. Тут должна была собраться специальная комиссия принимать новый вид консервов «Беш-бармак», выпускаемый к двадцатипятилетию республики.

Консервированные блины, консервированный плов, консервированный беш-бармак — нелепая затея! Кому покажется вкусным блюдо — гордость национальной кухни, когда оно делается по стандарту и пахнет жестяной банкой?! Понятно, покупатель не принял консервов «Беш-бармак», они так и остались «юбилейными», и их почти сразу перестали выпускать. Однако в тот день, о котором речь, бесславный конец консервов «Беш-бармак» еще не мерещился работникам комбината.

Я остался на дегустации. Любопытное было зрелище. Собрались специалисты-дегустаторы, рабочие — депутаты районного Совета, врачи, журналисты, какие-то гости из Москвы, по-видимому пищевики. За стол рассаживались шумно. Но едва внесли консервные банки (еще без наклеек, образец наклейки с рисунком беш-бармака принесли отдельно, и он пошел по рукам), как в комнате стало тихо, родилась атмосфера обычного делового совещания.

Консервы открыли, беш-бармак разложили по тарелкам, заседание началось. После вступительного

слова участники совещания отведали блюдо, потом один за другим стали выступать. Врачи забросали лаборанток вопросами о калорийности. Работники райсовета с придирчивостью хозяев начали рассуждать: в какой полноте консервы эти отражают национальную кухню? Посыпались практические предложения. Совещание пошло обычным чередом. И только, может быть, я, далекий гость, вернувшийся в эту страну после многих лет разлуки с нею, думал о другом.

Беш-бармак — в переводе «пять пальцев»! Названо оно так потому, это блюдо из баранины, что ели его руками. В старом блокноте, среди записей, сделанных мною в Киргизии двадцать с лишним лет назад, хранится пожелтевшая от времени, санитарная листовка 1928 года. Вот она:

«Беш-бармак взять в ложку!

Беш-бармак — хорошее, вполне вкусное и очень питательное кушанье, но когда оно поедается без вилки и без ложки, когда в этом жирном жарком плавает около десятка рук, не видящих мыла и полотенца, то беш-бармак становится угрозой. Через беш-бармак распространяется туберкулез и другие болезни. Беш-бармак как вкусное баранье жаркое оставить, но к нему приложить ложку, отдельную чашку, тарелку. Надо бешено атаковать обычай принимать пищу из общей чашки и без ложек. За ложку и за мытье ее после еды! За отдельную тарелку! Вот наши лозунги».

Какими давними, допотопными кажутся времена этой листовки теперь, когда — что говорить о тарелке и ложке! — книга, радиоприемник и электрическая кастрюля давно вошли в быт киргизской семьи. А ведь многие еще не старые люди помнят и такие времена, когда о беш-бармаке киргиз-бедняк мог только мечтать. Его ежедневной пищей была джарма — болтушка из поджаренной ячменной муки.

Хозяйство киргизов до революции было полунатуральным. Своей промышленности у киргизского народа не существовало. Даже ту посуду, которой пользовались киргизы в быту, делали перед революцией главным образом жившие по соседству узбеки, дунгане, русские. Киргизы были одним из самых отста-

ных народов Азии. И в то время царский генерал Гасфорд писал о киргизах: «В таком только быту они могут быть нам полезными и невредными. Быт этот искони веков им нравится, они считают его лучшим в мире, полагают в нем свое счастье и не желают лучшего. По моему мнению, лишать их этого счастья привитием новых идей и нужд было бы столько же несправедливо, сколь и невыгодно для нас». Невыгодно! Да, царским чиновникам, промышленникам и купцам, так же как киргизским манапам и баям, было выгодно сохранить на Тянь-Шане полунатуральное хозяйство и держать киргизский народ в темноте и невежестве, чтобы безгранично грабить его.

Спросите здешних рабочих старшего поколения — их в детстве не гладила по голове ладонь, пахнущая машинным маслом: потомственных рабочих во Фрунзе не было. Как-то мне попалась автобиография одного мастера-киргиза. Она начиналась так: «До 1920 года я не имел сведений о классах и классовой борьбе...» Большинство киргизов до революции «не имело сведений» о классах, а ту борьбу, что они вели со своими баями и манапами, не осознавали как классовую борьбу. Ведь у киргизского народа не было того революционного класса, на плечи которого легла великая миссия освобождения человечества от эксплуатации. Теперь в Киргизии свой рабочий класс есть.

Руки мужчин, державшие пастушеские бичи, и руки женщин, привешивавшие к люльке новорожденного хвост лисицы, чтобы отогнать шайтана, сегодня делают тонкие шерстяные ткани, и трикотаж, и обувь, и сельскохозяйственные машины, и гидротурбины для колхозных электростанций, и нефтяные двигатели, и новейшие медицинские препараты, и многое другое. Среди киргизов теперь есть уже свои потомственные ткачи, шахтеры, машиностроители. Русские рабочие-ленинцы помогли киргизам покончить с вековой отсталостью, помогли им как равным войти в семью советских народов. И не только русские, а, по причудливому стечению обстоятельств, еще чехи. Да, чехи и словаки!

В 1924 году жестокий экономический кризис потряс страны Запада. Фабрики и заводы закрывались,

у бирж теснились толпы безработных. И большая группа рабочих Чехословакии — текстильщиков, каменщиков, кожевников, деревообделочников — решила переселиться вместе с семьями в Советский Союз. Они основали известную в Киргизии коммуну «Интергельпо», которая стала первой школой рабочих киргизской промышленности. Им, «товарищам из коммуны «Интергельпо», посвятил свою книгу очерков о Советской стране Юлиус Фучик. Он начал писать о них и роман, но война, а потом трагическая смерть оборвали его работу.

На месте небольших предприятий «Интергельпо» постепенно выросли крупные заводы и фабрики. И почти каждый чехословацкий рабочий, живущий по сей день во Фрунзе (а их немало), как и многие пожилые русские рабочие, имеет своих учеников. Войтек Кушик, сменный мастер прядильного цеха суконной фабрики однажды говорил: «Попробуйте на диаграмме изобразить рост промышленности Киргизии: вам придется рядом со спичечным коробком нарисовать многоэтажный дом!» Что ж, сказано точно.

Это не значит, что Киргизия стала сверхиндустриальной страной. Сравнение спичечного коробка со зданием имеет лишь тот смысл, что они несоизмеримы: их вместе в одном масштабе даже нарисовать невозможно. По подсчетам В. Ф. Павленко, знатока киргизской экономики, уже в 1953 году предприятия республики каждые два дня выпускали гораздо больше продукции, чем за целый год давала ее вся кустарная промышленность Киргизии до революции. И промышленность продолжает бурно расти: только в нынешней пятилетке объем промышленной продукции Киргизии вырастет почти в два раза.

Мы уже говорили, что в Киргизии не было потомственных рабочих. Скажем теперь, что у подавляющего большинства киргизских семей нет и бабушкиных шкафов, столов, комодов. Киргиз-кочевник сидел в своей юрте на куске войлока, брошенного прямо на землю. Когда киргизский народ распрощался с кочевой жизнью, каждой киргизской семье — рабочим, колхозникам, интеллигентам — понадобилась мебель,

много мебели. И старая фрунзенская «бондарка» — мастерская, где делали бочки, — превратилась в деревообделочный комбинат.

До революции в Киргизии говорили: «Богатый оставляет салык, бедный оставляет чарык». Салык — имущество, чарык — пастушья обувь из сыромятной кожи. Теперь все в Киргизии имеют салык, а на чарыки никто и смотреть не станет. Пройдитесь по рабочим кварталам города, вы убедитесь, что рабочие фрунзенских заводов и фабрик оставят своим детям в наследство, кроме благоустроенных квартир, письменные столы, и шкафы, и книжные полки с домашними библиотеками, и многоламповые радиоприемники, и телевизоры, и многое другое.

Но самое главное наследство, которое оставят они своим детям, это вера в творческий гений человека, в его силы. Об этом драгоценном наследстве мы и поведем сейчас речь.

Когда несколько лет назад на швейной фабрике имени ВЛКСМ я глядел, как Айнек Айткулова входила в свой цех и, принимая агрегат, осматривала его, мне невольно пришли в голову строки киргизской легенды: «Вышла красавица темной ночью из юрты. Посмотрела направо — при свете ее взгляда можно было сосчитать всех овец с той стороны. Посмотрела налево, и все женщины и девушки этой стороны, думая, что наступает рассвет, встали и принялись за работу». Народ выразил в этих словах понимание того, какие большие творческие силы заложены в человеке. Социалистическая революция открыла простор их проявлению. И об этом хорошо рассказывает пример жизни швеи Айткуловой.

Детство она провела в горах, где вдалеке были видны лишь стада, а рядом пела немолчную песню река, голубая, в белой шелковой пене, клочьями прыгающая по камням. Темной, неграмотной, полной дедовскими суевериями, не знавшей своих сил, росла Айнек девочкой. Такой она пришла в город на фабрику.

Прошло несколько лет. Люди не очень внимательные вряд ли замечали какие-нибудь разительные пе-

ремены в Айнек: работала девушка, осваивала профессию, бывали у нее неполадки, случался брак — все обыкновенно, как у других. До такой степени обыкновенно все было, что когда в один прекрасный день Айнек в беседе с мастером вдруг пустилась в технический спор, старые рабочие только руками развели: где, когда произошел в этой девушке тот внутренний перелом, который отбросил на столетия назад ее прошлое. Незаметно для себя дочь одного из самых отсталых народов, Айнек, догнала вместе со своим народом цивилизованные народы и встала плечом к плечу, или, как говорят киргизы, стремя в стремя, со всеми народами, строящими коммунизм.

Айнек подхватила у себя на фабрике почин Александра Чутких, Суховерховой, Матросова, начала применять методы этих новаторов производства и обучила новым методам больше ста работниц. Депутат Верховного Совета Киргизской республики двух созывов, Айткулова, когда я познакомился с ней, немало времени отдавала и депутатской деятельности. «Когда же она успевает?» Вопрос этот я задал начальнику ее цеха. Он ответил просто, с естественной убежденностью, за которой угадывался долголетний жизненный опыт:

— У человека, который много работает, свободного времени много. Только у лентяев свободного времени нет.

Ритм в работе — великое, можно сказать, величайшее дело. Стоит побывать на Сельмаше — гиганте киргизской индустрии — или на любом другом заводе киргизской столицы, побродить по цехам, прислушиваясь то к вихревому свисту шкивов, то к наполняющему цех до самых стропил равномерному шороху сотен веретен, то к какому-нибудь напильнику, который несмело поет в углу, стоит поговорить с рабочими, присмотреться, как они легким, словно бы обнимающим, жестом протягивают руки к своему станку, механизму или агрегату, и хочется воскликнуть вместе с писателем Касымалы Баялиновым:

— Нет зрелища более бодрящего душу, чем вид человеческого труда!

В одном из фрунзенских ремесленных училищ до-

пелось мне быть свидетелем такой сцены. Возле токарного станка сгрудились новички-ремесленники, одетые в обычную черную форму. Один из них, мальчик лет тринадцати, коротко остриженный, скуластый, терпеливо учился работать на станке. На его лице было написано добродушие, и лишь в глубине косо посаженных глаз внимательный взгляд мог уловить искру отчаяния. Стружка шла неровно, детали выходили грубыми.

Мастер, наблюдавший за работой мальчика, вдруг обернулся к одному из старших учеников, уверенно работавшему на соседнем станке:

— Почему у него не получается?

— Он не знает «фу», — сказал тот, блеснув глазами.

— «Фу»? Что это за вещь?.. — удивились ребята.

— Первая вещь в работе, — важно сказал мастер и начал рассказывать. — Эта вещь принадлежала одному знаменитому мастеру, гончару. Было это давно. Он обжигал посуду на огне. Она у него выходила чистая и голубая, как небо. Как он делал это, никто не знал, даже его любимый ученик. Но вот этот ученик решил, что он уже все знает, и ушел от учителя. Он сам стал обжигать посуду. Но посуда у него выходила серая и щербатая, как земля. Приходит он опять к учителю и плачет и просит совета. «Все, — говорит, — делал, как ты, а ничего не получается». — «А ты фу делал?» — спрашивает гончар. «Нет. А что это такое?» — «А это вот что. Перед тем как посуду на огонь поставить, надо сделать на нее...» — Тут мастер снял с головы одного из ремесленников фуражку, поднес ее ко рту и подул, как на посуду: — Фу!.. Пыль надо обдуть с посуды. А ученик не знал.

В каждой профессии есть свое «фу», своя техническая тонкость, которая дается в руки не сразу. Во Фрунзе, как и всюду в нашей стране, рабочие все время учатся. В любом цехе висят объявления о занятии кружка техминимума, политкружка, стахановской школы. Именно учеба придает заводам и фабрикам киргизской столицы их самые выразительные, запоминающиеся черты.

Чем дольше живешь во Фрунзе, тем образ города, как огромного университета народа, раскрывается все отчетливее. Каждая встреча с киргизом ли, русским — рабочим, хозяйственником или инженером — углубляет этот образ: все равно, случайная это встреча в цехе или в театральной ложе или это беседа за бутылкой вина — тот переживаемый каждым человеком задушевный разговор, который незаметно затягивается далеко за полночь и после которого, оставшись наедине с собой, долго не можешь уснуть, в радостном возбуждении ворочаешься в постели, вспоминаешь удачные шутки, острые мысли и продолжаешь, даже вслух иногда, спорить и шутить с разошедшимися по домам приятелями.

7. ТЕКМЕ

Когда акыну Алымкулу Усенбаеву, патриарху среди других народных певцов, надо сменить веселую песню на грустную, он перестраивает свой комуз. Комуз — любимый киргизский инструмент, отдаленно напоминающий балалайку. Дадим же и мы другой строй нашему «комузу», подтянем колки, скажем сперва несколько слов о грустном. Поэт Виктор Винников, несколько лет работавший в Киргизии, рассказывает такой эпизод из жизни Алымкула Усенбаева:

«Много лет назад в Талас пришли басмачи. Байманапы решили встретить их, как дорогих гостей, и поднести им три подарка: лучшего коня, лучшего охотничьего сокола и лучшего акына — Алымкула Усенбаева.

— В первый раз в жизни я жалел тогда, — говорил Алымкул, — что научился слагать хорошие песни. Но тогда же в первый раз в жизни я понял, что для народа ничего не жаль. Я давал народу песни, а он за песни дал мне жизнь. Меня спрятали в горах, и басмачи остались без третьего подарка».

Певец нужен был богачу, только чтобы тот восхвалял его или чтобы объявил в песне о продаже скота. Нечеловечески тяжела была до революции жизнь

акынов, которые выражали мысли и чувства народа и обращали острие своих кордоо — песен оскорблений — против феодалов и баев.

Есть у киргизов массовая народная игра — сармерден, в ней каждый играющий должен сымпровизировать песню. Почти всякий киргиз умеет импровизировать, так повелось исстари. Лучшие импровизаторы становились профессиональными певцами. Одна особенность поражает приезжего. Поющего акына можно встретить где угодно — на пастбище, в фабричном цехе, на сцене оперного театра, в колхозном полевом стане — и услышать его песню о работе сидящей тут же знатной доярки, сатирическую импровизацию о табунщике, не сумевшем сберечь всех жеребят от горной болезни — тютек, песню-сказание о героической жизни и смерти Эрнста Тельмана, о юбилее Рембрандта, о первых советских искусственных спутниках Земли, о ком и о чем угодно.

Акыны играют исключительную роль в жизни киргизского народа. Самые известные из них после революции объединились в филармонии. Пойдите в Киргизскую государственную филармонию имени Токтогула, когда расклеят афиши об айтыше — состязании между старейшими акынами Киргизии Осмонкулом Бюлебалаевым и Алымкулом Усенбаевым. Этот вечер надолго запомнится вам, даже если вы не знаете киргизского языка.

В больших шапках с бархатным верхом, отороченных красновато-бурым мехом тянь-шаньских куниц, в широких окованных серебром поясах, акыны садятся на стулья, закинув ногу на ногу, слегка опираясь на колено рукой, в которой держат комуз. Большей частью тему песни дают акынам сами слушатели. Один из акынов поднимает комуз, ударяет пальцами по струнам, начинает вступление, несколько монотонное, но создающее характерный ритм, полный внутреннего огня, благодаря которому и высокое «Э-эй!», которым акын вступает в песню, и сама песня сразу получают тот градус напряжения, который необходим, чтобы слушатель мог испытывать от песни удовольствие.

В сущности, это и не песня, это скорее речитатив,

энергичный, ритмически организованный, позволяющий доносить до слушателя каждое слово. Если судить с европейской точки зрения, искусство акына ближе к искусству чтеца, чем к искусству певца. Но такого напряжения ритма не знает исполнительское мастерство наших чтецов.

Первого акына сменяет второй, он подшучивает над первым, высмеивает его образы, иронизирует по поводу его умения и в то же время продолжает тему. Потом опять вступает первый. Так акыны меняются и меняются. А зрители, внимающие акынам (на айтышах зал филармонии набит до отказа), восторженными выкриками, смехом отзываются на остроумное слово, на вдохновенную строку, на изобретательный образ, на едкий сарказм: все слушатели принимают участие в состязании, и это тоже характерная особенность киргизских айтышей.

Текме — так в киргизском народе называют Алымкула Усенбаева. Почти непереводимое слово. Текме — это значит, что песня акына льется свободно, как вода родника. В сущности, все в искусстве, что по-настоящему вдохновенно, идет от чистого сердца и льется свободно, прозрачно, можно бы назвать этим коротеньким словом «текме».

Рассказывая о киргизском искусстве, прежде всего хочется это слово применить, говоря о двух ырчи, часто выступающих в филармонии, — Мыскал Умуркановой и Асеке Джумабаеве. Ырчи — исполнители народных песен, лирических и шутливых. Поют они тоже под аккомпанемент комуза. Впрочем, Джумабаев, совсем молодой, воспитанник Советской Армии, иногда поет и под аккордеон. Киргизские песни захватывают не только мелодиями (есть среди них прекрасные), но и своеобразной манерой исполнения, сильно действующей на воображение.

На Всемирном фестивале молодежи в Варшаве по предложению французской делегации Джумабаеву единогласно присудили первую премию. Его выступления вызывали общее восхищение, в особенности — исполнение сложенной им самим шутливой песенки «Комузум», в которой певец «разговаривает» с соб-

ственным комузом. Но если бы нужно было выбирать между Джумабаевым и Умуркановой — кого слушать, я не знал бы, на ком остановиться. Низкий голос Умурхановой, нежный и вместе с тем сильный, покоряет, он успокаивает и освежает кровь. А песня «Ой булбул»!.. Красота этой песни в исполнении Умурхановой такова, что не знаешь, как ее хвалить или описывать.

Джумабаев — ученик знаменитого Мусы Баетова, голос которого и по сегодня чаще других звучит на вечеринках молодежи: пластинки с записями Мусы Баетова, сделанными при его жизни, в магазинах нарасхват! Не залеживаются на полках магазинов и пластинки с записями другого замечательного народного музыканта — тоже умершего — Атая Огонбасва, автора чудесных лирических песен. История жизни Атая Огонбаева опять переносит нас в дореволюционное прошлое.

Шести лет Атай остался сиротой и начал пасти ягнят бая. Девяти лет он уже самостоятельно пас овец. Его хозяин запрещал своим чабанам петь: «Пока пастух поет, глядишь — волк утащит овцу». Чтобы бай не услыхал его песен, Атай угонял отару в горы так высоко, как мог. И однажды на него обрушилась лавина, переломив ему обе ноги. Мальчика приютили добрые люди, дав ему место на своей нищенской кошме в драной юрте. Два года пролежал Атай и за это время так научился играть на комузе, что, когда поправился, вышел из этой юрты известным музыкантом.

Послушайте в филармонии учеников Атая Огонбаева — Кулболдиева, Тынынбекова, Асанова, Коджебекову. Их виртуозная игра на комузе даст вам новые наслаждения, новые эффекты. Человеку, впервые слышащему комуз, его звук кажется глуховатым. Но именно эта глуховатая нежность, приближающая игру на комузе к негромкой человеческой речи и позволяющая выделить, подчеркнуть звонкий звук струны, зацепленной иначе, чем обычно, особенно ценится любителями. Для того чтобы добиться этой глуховатой нежности, мастера делают кузов и шейку комуза из древесины карагача, а деки из тянь-шаньской ели. Говорят, старые мастера для придания особой нежно-

сти звуку клали в резонирующую полость комуза сорок камышинок.

В филармонии можно услышать и темир-комуз, крошечный подковообразный музыкальный инструмент необыкновенного вида. Ничего подобного нет ни у одного народа. Темир-комуз прикладывают к губам, и раздаются ни на что не похожие, сказочные звуки. Можно послушать и киргизские бубны, наслаждаясь их характерными тембрами. Можно, наконец, услышать кыяк — киргизскую скрипку.

Кыяк, как и другие скрипки на Востоке, ставят вертикально, уперев в колено, повернув струнами к слушателям и водя горизонтально смычком. Лучшие куу (музыкальные пьесы) для кыяка, ставшие своего рода классикой, принадлежат Мураталы Куренкееву, замечательному народному музыканту. Простое и благородное изящество его мелодий доставляет истинное удовольствие. О Мураталы Куренкееве тоже можно сказать, что он был текме!

Среди киргизских куу есть пьеска под названием «Камбаркан». Посвящена она легендарному охотнику Камбару, о котором в народе рассказывают так. Некогда люди не знали музыки. Но пришел охотник Камбар. Он взял бараньи кишки и натянул их на кусок дуплистого дерева. Повеял горный ветер, и они задрожали, зазвенели, запели. Так родились струнные инструменты. А Камбар из полого стебля курая сделал чоор (пастушескую свирель) и оковал в нем каждую дырочку золотым кольцом. Горный ветер влился в золотые дырочки, и чоор запел, зазвучал. Так родились флейты. Всем понравилась музыка — людям и птицам, оленям и барсам. Не понравилась только ослу. И когда осел сдох, Камбар взял ослиную кожу, натянул ее на пустую ослиную голову и ударил в нее. Раздался такой звук, что олени и барсы, птицы и люди подпрыгнули от удивления. Так родились бубны, и так родились танцы.

В глубине веков затерялись воспоминания о том, как и когда на самом деле появились у народов мира струнные, духовые и ударные инструменты. Но настоящая история того, как у киргизского народа появились

танцы и как родился театр, изобилует такими интересными подробностями, что рядом с ними легенда о Камбаре меркнет.

Осенью 1926 года собрались студенты на первое занятие Киргизской музыкально-драматической студии. Большинство приехало из глубины гор. Преподаватель заиграл на рояле, и это так потрясло студентов, что уже больше ничем в тот день заняться не удалось. Студенты подходили к роялю, ударяли по клавишам и не могли наудивляться мощному звуку, сравнивая его с комузом. Спустя несколько дней такую же сенсацию произвела первая коробка грима.

Простенькие пьески на киргизском языке, которые вначале ставили студийцы, произвели в народе колоссальное впечатление. Отунчу Сарбагишев, ставший потом режиссером и драматургом киргизского национального театра, вспоминал, как в его родную долину Джумгала приехала студия: «Я так увлекся спектаклями студии, что нанялся в нее конюхом, благо у меня была своя лошадь. Я возил артистов по всему району, помогал им расставлять декорации, вешать занавес, а когда начинался спектакль, бежал в публику, садился в первых рядах и много раз подряд с захватывающим волнением смотрел одни и те же пьесы...»

А когда Касымалы Ешимбеков, ставший потом известным артистом, впервые увидел спектакль, он вырезал из козьей шкуры усы и бороду, подмазал на щеках углем морщинки, вывернул шубу мехом наверх и заговорил старческим голосом: многие в полумраке юрты принимали его за старика. Потом он, как и Сарбагишев, поехал учиться во Фрунзе в театральную студию.

Первую зиму Касымалы Ешимбеков жил вместе с Аширалы Боталиевым (тоже будущим артистом) в юрте, которую они поставили на окраине города. Возвращаясь зимой с занятий студии, они разжигали в юрте очаг и, прикрыв одно колено полой тулупа, второе придвинув к огню, учили роли. Когда очаг погасал, засыпали, зябко кутаясь в тулупы. А наутро опять шли в студию.

Театр переживал в ту пору свой детский возраст.

Фрукты и перец для сцены покупали настоящие на рынке. «Костюмов не было, — рассказывал Ешимбеков. — Частенько мы разыскивали на базаре приезжающих из аилов киргизов и брали у них национальные костюмы, предоставив хозяевам костюмов бесплатное место в театре». А какие наивные профессиональные вопросы волновали актеров! Артистка Анвар Куттубаева однажды в ту пору говорила на собрании: «Мне не трудно и не стыдно вызвать в себе на сцене драматические переживания: тоску по утраченному счастью, гнев на навязанного мне нелюбимого мужа... Но я стесняюсь передать кокетство, любовные заигрывания. Мне кажется, что зрители сочтут меня и в жизни легкомысленной, распутной женщиной и осудят».

Киргизские актеры тогда, впрочем, как и сейчас, постоянно ездили на гастроли по аилам республики. Аманкул Куттубаев, ныне режиссер и директор Киргизского театра оперы и балета, вспоминает, как показывали студийцы свои первые постановки, не обращая внимания на свист и крики баев и мулл, а после спектакля, смыв грим и сменив костюмы, шли в поле убирать хлопок или копать арыки. Тот же Ешимбеков рассказывал: «Мне вспоминается, как часто многим артистам за ночлег приходилось уплачивать хозяину уборкой скотного двора, работой по хозяйству».

За тридцатилетие своего существования киргизское театральное искусство сделалось настоящим профессиональным искусством. Пойдите в Киргизский драматический театр. Этот театр имеет теперь свой репертуар, созданный киргизскими драматургами Сарбагишевым, Абдумомуновым, Шукурбековым, Джантошевым и другими. На сцене его можно посмотреть пьесы других советских народов и пьесы европейских классиков, переведенные на киргизский язык. Удовольствие доставит вам и игра актеров, таких, как М. Рыскулов, К. Ешимбеков, А. Боталиев, С. Кумушалиева, С. Джаманов, Р. Айдаралиева, А. Саргалдаев, К. Рысмендеева, Д. Арсынгулов, наконец Бакен Кыдыкеева, исполнявшая главную роль в фильме «Салтанат». Об этих артистах тоже можно сказать, что они текме.

Пойдите и в Киргизский государственный театр оперы и балета. Посмотреть спектакль этого театра — истинное удовольствие! Я не оговорился — «посмотреть», не «послушать». Киргизской опере с композиторами не повезло. Возьмите билет на «Айчурек» — первую и до сих пор лучшую киргизскую оперу. Она поставлена в конце тридцатых годов, после нее создано еще несколько опер, но только она прочно держится в репертуаре.

Вы сидите в зале. Вокруг сцены — красивый резной портал: на нем меж сказочных скал и деревьев изображены летящие, прыгающие, пробирающиеся ползком фантастические звери и птицы. А возле рампы бесшумными тенями проносятся живые летучие мыши. Зазвучала увертюра. В певучий голос флейты, в перекличку фагота и гобоя вплетаются звуки киргизских народных инструментов, это придает своеобразную окраску звучанию оркестра и поначалу приятно.

Очень скоро, однако, музыка начинает утомлять. Сидишь и думаешь: отчего? Оттого, что в музыке больше величия и грандиозности, чем грации и изящества? Или... Но вступают певцы, и все становится ясным: композиторы не сумели подняться до понимания народных киргизских мелодий, не сумели восхититься ими, не поверили в них и начали их поправлять, «поднимать», а фактически изменять, заглушать, уничтожать оркестровкой.

Именно мелодия придает музыке все ее очарование. Это видно хотя бы на лучших операх народов — соседей киргизов. Сколько прекрасных казахских и узбекских мелодий благодаря новым операм запомнили и полюбили все советские люди. В киргизских операх тоже немало чудесных народных мелодий, но их, когда слушаешь оперу, почти невозможно узнать, до того изменены! Есть и другая, не менее горшая беда у киргизских опер: партии их, как правило, лишены страстности. А благоразумие убивает музыку, мешает слушателям испытывать живейшее удовольствие.

Я нарочно не называю имен композиторов, при-

ехавших из центра помочь киргизскому народу создать свою оперу, потому что сделали они все что могли. Они написали несколько опер; они первые в истории Киргизии создали хоры и ансамбли; оркестровая палитра киргизского музыкального искусства стала шире оттого, что они ввели европейские инструменты; работая над их операми, выросли киргизские оперные артисты, овладели нотной грамотой, им поставили голоса — словом, киргизский оперный театр обязан многим этим людям! И не их вина, что они не оказались текме! В последние годы над операми работали и первые композиторы-киргизы, но и они до сих пор не дали ничего столь значительного, что могло бы стать событием в музыкальной жизни страны.

Зато театральные художники! Тут киргизскому оперному театру повезло, как мало кому. Спектакли киргизской оперы — зрелище изумительное. Настоящее пиршество красок! Первые киргизские оперы оформлял Я. З. Штофер, один из лучших советских театральных художников, работы которого ждут своей монографии, разумеется с большим числом хорошо выполненных иллюстраций. Выход такой монографии будет праздником для всех любителей искусства. Когда Штофер умер, спектакли оперного театра во Фрунзе начал оформлять выдвинувшийся из театральных маляров художник-самоучка А. В. Арефьев, тоже художник своеобразного, самородного, яркого дарования. Именно эти художники, их декорации, их костюмы не позволяют вам скучать на киргизских операх, доставляют все новые и новые зрительные впечатления, заставляя с симпатией следить за действием.

Работа этих художников особенно выигрывает в балете: и потому, что балет главным образом зрелище, в котором музыка отходит на второй план, и потому еще, что в Киргизии — отличные профессиональные балерины, среди них несколько первоклассных — Бейшеналиева, Джаманова, Мелентьева. Лучшие киргизские балеты — «Анар» и «Чолпон». Многим во Фрунзе нравится и музыка балета «Чолпон»

благодаря своему, как говорят, бо́льшему «благозвучию», но согласиться с этим я не могу. Бывают слушатели, не любящие преодолевать трудности, им музыка дорога только блестящими и романтическими видениями, убаюкивающими воображение: для этих музыка балета «Чолпон» — в самый раз.

Интересно, что киргизский народ до революции не знал танцев. О танцах говорилось только в легендах да в эпосе. Первые киргизские танцы придумал и поставил балетмейстер Н. С. Холфин. Его по праву можно назвать создателем киргизского национального танца. И из театра танец пошел в народ.

Мне хочется рассказать историю из жизни одной киргизской балерины, которая показывает, как подчас трудно бывало новому искусству пробивать себе путь. Не называю имени этой артистки, чтоб уберечь ее от лишних расспросов.

Балерина эта была совсем маленькой девочкой, когда ее отправили учиться в Ленинград в балетную школу. Росла она в Ленинграде, и потому старые киргизские обычаи никак не отразились на ее психологии, они попросту для нее не существовали. Потом она вернулась во Фрунзе, стала работать в театре. Потом полюбила юношу, тоже молодого киргизского интеллигента, и вышла за него замуж. Потом у нее родился сын. Словом, счастье ее было полным. И чтобы сделать его еще полней, однажды она на спектакль пригласила родичей мужа — показать свое искусство.

Они приехали из глубины гор на нескольких грузовиках. Их было человек сорок. С торжеством расселись они. Было это еще в старом здании оперного театра в Дубовом саду. Важно сидели аксакалы в первом ряду. Чуть колыхался край занавеса от струй свежего ночного воздуха, вливавшегося под потолком сквозь широко открытые люки. Увертюра кончилась. Поднялся занавес, и на сцену выпорхнула балерина. Как на грех, выступала она в тот день не в киргизском, а в классическом балете, выступала в пачке. И тут случилось то, чего ни она, ни ее муж не ожидали.

Аксакалы переглянулись и поднялись с мест. За ними, теснясь в проходе, устремились к выходу и остальные родичи. Что-что, а увидеть жену своего парня, бесстыдно обнажившей ноги и руки перед людьми, — этого аксакалы перенести не могли. Они сели на свои грузовики и уехали. И это событие потрясло до основания всю ее семейную жизнь.

Артистка, несмотря на негодование родичей мужа, осталась верна искусству. И искусство отплачивает ей радостями.

Некоторое время назад вместе с бригадой киргизских артистов она побывала в Западном Китае. Триумфальная была поездка! Вот как рассказывала о ней другая ее участница Сайра Киизбаева, самая известная киргизская оперная певица, народная артистка республики.

В Урумчи, столице Синьцзяня, на площади, где должен был состояться концерт, «все стремились занять места поудобнее, откуда будут лучше видны выступления артистов... В разноцветных халатах расположились уйгуры, узбеки, киргизы, среди них виднелись черные и синие стеганые одежды китайцев и китаянок... Зрители занимали крыши соседних домов, забирались на ветви деревьев, использовали каждое мало-мальски пригодное местечко, откуда видна сцена. Трудно рассказать о том, как шел этот концерт. Каждое выступление встречалось мощным восторженным гулом...

Приезд советских артистов всюду отмечался, как праздник. Города и местечки расцвечивались флагами, гремели оркестры... Были случаи, когда люди переносили выходной день, а рабочий день объявляли праздником, и городок справлял торжество встречи. После любого концерта уйти сразу было невозможно: толпы зрителей стояли и ждали, пока советские артисты переоденутся и выйдут. И добраться до места ночлега было очень трудно: попробуйте пробиться сквозь сплошную массу восторженно настроенных людей...».

Эта поездка подвела своеобразный итог искусству Советской Киргизии, вселила в киргизских артистов

веру в свои силы и в свое уменье, показало, что искусство Киргизии перестало быть своим, маленьким, местным, вышло на мировую арену.

8. В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

Выходной день. Хорошенько выспавшись, встаешь, приподнимаешь штору в окне и зажмуриваешься от нестерпимо яркого солнца. И тотчас же перед тобой встает обыкновеннейший, тысячу и один раз вставаВший вопрос, в котором есть и знакомое каждому дыхание надвигающегося счастья: куда пойти, как веселее провести выходной день?

В воскресное утро во Фрунзе, как и всюду в нашей стране, хозяевами города, его парков, клубов и стадионов становится молодежь. На Комсомольском озере пловцы в ярких шапочках, плотно облегающих головы, состязаются в бассейне на «дорожках», разгороженных цепями качающихся на воде деревянных брусков. В глубине парков волейболисты подпрыгивают возле сеток, вытягиваясь всем телом, стараясь нанести удар по мячу. Свистит в воздухе палка городошника, и «запечатанное письмо» уже распечатано, со звоном вылетела чурка из центра квадрата. В тени деревьев за столиками сосредоточенно сидят, раздумывая, прежде чем переложить шарик из одной лунки в другую, игроки в тогуз-коргоол, любимую настольную игру киргизов. А в городском шахматно-шашечном клубе собрались любители шахмат. На спортивных площадках физкультурники, красуясь друг перед другом, с горделивой легкостью делают на турниках «солнце», состязаются в метании диска, беге, прыжках, борются. Кроме обычной борьбы, здесь можно увидеть и куреш—киргизскую борьбу на поясах. Богат, разнообразен спортивный день киргизской столицы!

И все же — куда пойти, что из этого богатства выбрать? С этим вопросом покидаешь гостиницу и сразу получаешь на него наглядный ответ.

Обладатели собственных «Побед», «Москвичей», мотоциклов, велосипедисты, пешеходы — все, празд-

нично одетые, куда-то спешат, все движутся в одном направлении: картина, понятная с полувзгляда любому москвичу, ташкентцу, киевлянину, вообще любому приезжему. И вместе с любым приезжим на этот раз можете ошибиться и вы. Нет, не на футбол стремятся эти болельщики! На ипподром!

Ни одна из религий не пустила глубоких корней на хребтах Тянь-Шаня. До революции остатки язычества здесь переплетались с исламом. Да и мусульманство было лишь формальным — никто не строил в горах мечетей, женщины не укутывали чадрою лиц, и законы шариата были бессильны перед адатом — обычаями киргизского народа. И единственным всенародным культом, вознесенным почти на религиозную высоту, был у киргизов культ коня.

Незаменимый товарищ в походах, поилец и кормилец (не только в переносном, но и в буквальном смысле: из кобыльего молока делается кумыс, а из конины приготовляются многие киргизские блюда), друг, на спину которого можно, кроме юрты, взвалить и нехитрый скарб кочевника, — конь издавна олицетворял киргизский быт. Недаром в народных сказаниях повествуется о лошадях, о жизни их и смерти так же подробно, как о людях, и многие из сказаний оканчиваются характерною поговоркой: «Чему только не подвергаются голова человека и копыто лошади».

«Дальнюю дорогу может скоротать только конь да приятный разговор», — говорили в Киргизии. И еще: «Если дан тебе лишь один день жизни, полдня катайся на иноходце!» Ни на одном языке нет такого богатства названий для лошадей всех возрастов и мастей, как на киргизском. «Хорошо ли провожаешь лошадей?» — обычное приветствие. Бедняк по-киргизски «джетак», в переводе — «лежащий»: это значит, что он без лошади. Подкулачников и байских слуг называли аткаменерами — ездящими на лошадях. На «плоскокопытных и медноногих манекерях» совершали легендарные батыры свои подвиги, на «кормящихся васильками тулпарах» скачут и поныне герои народных песен.

От коней пошли сотни географических наименова-

ний. Глянешь на небо, и там лошадям отведено почетное место: джетты-каракчи — семь воров — семь звезд Большой Медведицы вечно кружат вокруг Полярной звезды — алтын-казыка — золотого кола, к которому привязан чудесный жеребец. Воры жадно глядят на него, но им никак не удается незаметно подкрасться, чтобы увести жеребца, ибо тысячи людских глаз с земли наблюдают за ними и не бывает такой секунды, когда никто на свете не смотрит в небеса.

Нужно видеть, с каким волнением, с какой страстью говорят в Киргизии о лошадях:

— Это не лошадь — ртуть на ладони!

Ежели вы дадите увлечь себя людскому потоку на фрунзенский ипподром, вы увидите виртуозную «работу» П. Мансурова, завоевавшего в 1951 году в многоборье по выездке молодой лошади звание чемпиона СССР по конному спорту, и «работу» С. Мурсалимова, завоевавшего в 1952 году, тоже в многоборье по выезде молодой лошади, звание чемпиона ДОСААФ Советского Союза. Воспитанники Фрунзенского кавалерийского клуба покажут высший класс верховой езды, рубку лозы, вольтижировку, конкур-иппик. Будут и рысистые бега, и скачки, и, что для вас, приезжего, конечно, интереснее всего, киргизские национальные конные игры и состязания. Однако чтобы увидеть все богатство этих последних, увидеть то, чего не увидишь больше нигде, лучше всего попасть на фрунзенский ипподром в дни юбилея республики.

«Услышав о байге, даже и камень хочет туда покатиться». В зимний февральский день 1951 года — в день двадцатипятилетия республики — к фрунзенскому ипподрому, на котором сверкал и искрился снег, съехались со всех концов Киргизской республики караваны автомашин и кавалькады всадников. Грандиозный лагерь образовался тут. Трибуны были переполнены. И на грузовиках вокруг ипподрома тоже стояли тысячи зрителей, положив друг другу руки на плечи. А вдоль края ипподрома тянулся бесконечный ряд оседланных лошадей: под их мордами, держа в руках концы уздечек, сидели на корточках

люди, покуривали, посматривали. Никогда не забыть этого зрелища!

Удар гонга. Зазвучала музыка сводного оркестра, разносимая мощными репродукторами, начался парад участников праздника. Ехали девушки в желтых, красных, синих бархатных камзольчиках и в лисьих шапочках. Ехали конные охотники, держа на руках беркутов и ловчих ястребов. Ехали наездники на рыжих, гнедых, саврасых, серых, вороных, буланых, пегих, соловых, мышастых, игреневых лошадях. Зрители знали скакунов, называли мне, новичку, имя вон того, у которого на лбу проточина, а между ноздрями седина, и того, у которого ноги в полбабки белые и у которого ноги белые по венчику кругом. Некоторых наездников зрители встречали гулом приветственных возгласов.

В голове парада, в конном строю ехали акыны. Блестели их широкие окованные серебром пояса. Покачиваясь в седлах, акыны под комуз пели песни-импровизации, посвященные празднику. Вот строки из песни о конях, сложенной и пропетой на фрунзенском ипподроме акыном Алымкулом Усенбаевым:

Бархатом стелется конский ворс,
Кажется сталью тяжелый торс,
Гривы как легкие облака,
Будто на шеях шуршат шелка.
Конская грудь как архарья грудь,
Кони, как птицы, готовы в путь,
Землю копытами тяжко бьют,
Рвутся вперед, удила грызут...
Кажутся спины коней стрелой,
Ляжки их вытянуты струной,
Шерсть, словно мех золотых куниц,
Бег, словно взлет поднебесных птиц.
Вижу тулпаров я молодых,
Пегих, белесых и золотых,
Вижу колхозных коней таких —
Только бы песни слагать о них!
Чистым зерном накормили их,
Горной водой напоили их.

Началась байга, скачки. На старте выстроились двенадцать колхозных скакунов. На выпуклых глазах лошадей длинными штрихами лежали тени от ресниц.

Сигнал, и скакуны взяли с места в карьер. Крутобокие, словно из металла отлитые, помчались они, вытянув вперед сухие «щучьи» головы. Зрители постепенно увлекались, следя жадным взором за припавшими к лукам всадниками, наслаждаясь зазвучавшим на ипподроме слитным шумом копыт, конского дыхания и ветра. И когда первый скакун, пройдя два круга — четыре километра, пересек линию финиша, и всадник, круто осадив коня, соскочил, у него приняли узду десятки рук, и со всех сторон раздалась буря приветственных криков.

Джорго-салыш — соревнование иноходцев. Хотя в этом состязании участвуют маленькие горные киргизские лошади, которых никак не назовешь «скакунами», в джорго-салыше тоже есть свой внутренний огонь. Глядя, как два десятка лошадей шли шесть километров по кругу иноходью, или, как ее называют иначе, юргою, мы наслаждались железной выдержкой коней и наездников: стоит всаднику, стремящемуся обогнать соперника, не выдержать, слишком размашисто взмахнуть плетью над ушами коня или слишком громко сказать «ччо!» (возглас, которым в Киргизии понукают лошадей), как иноходец убыстрит ход, собьется в рысь или галоп. И судьи тотчас же исключают его из состязания.

Аламан-байга — один из самых любимых видов народного спорта в Киргизии. В этих скачках участвовало, как всегда, несколько десятков знаменитейших скакунов всех возрастов и пород. С гиканьем мальчики-наездники пустили коней вскачь. Счастье на аламан-байге изменчиво, и это особенно подогревает страсти болельщиков: ведь дистанция аламан-байги велика — самое меньшее километров пятнадцать, случается и до двадцати. Лошади неслись во весь опор. Гремел торопливый перебор конских копыт. Когда один наездник догонял и обходил другого, тысячная толпа зрителей кричала, подбадривала его. В аламан-байге от скакунов требуется и быстрота и выносливость, а от наездников — виртуозное умение точно рассчитать силы лошади.

Оодарыш — борьба всадников. Два верховых бор-

ца (по старинному обычаю, один в тюбетейке, у другого голова повязана платком) долго кружились на конях, как бы присматриваясь друг к другу. Наконец, поощряемые возгласами зрителей, они съехались, схватили один другого за руки, за шею, за шелковые кушаки, которыми были туго стянуты их бедра. Сцепившись, борцы дали коням шпоры, но лошади не сразу вырвались из-под припавших к ним всадников. Постепенно один из борцов начал сдавать, отрываться от лошади, он еще цеплялся, сильным движением корпуса ему удалось вновь утвердиться в седле, припасть к луке. Но вот он опять стал отрываться, сползать. И победитель опустил своего соперника наземь. Случается, что победитель перетаскивает противника к себе на седло, и тогда зрители награждают его особенно шумными аплодисментами, свистом.

Куш-салу и беркут-салу — состязание охотников. На поле ипподрома выехали всадники, держа на руке, защищенной кожаной рукавицей, ловчих ястребов. С другой стороны выпустили на поле фазанов и кекликов — горных куропаток. Ястребы взмыли в воздух, полетели за дичью, вонзили когти в фазанов и кекликов и отдали их подъехавшим хозяевам. А по ипподрому комком рыжего пламени уже мчалась лиса. Конный охотник-беркутчи приоткрыл колпачок с глаз орла, сидящего на опоре-рогульке, конец которой упирался в седельную луку. Высоко взлетел беркут. Минуту парил в воздухе, распахнув крылья. Увидев добычу, он камнем кинулся вниз, сел лисе на голову и, пригвоздив ее к земле, громким криком возвестил о победе. Охотник на лошади подскакал, взял беркута, вновь надвинул ему на глаза колпачок. А по полю ипподрома уже бежал волк, и за ним мчались тайганы — киргизские борзые, позади—всадники. Травлей волка тайганами завершились выступления охотников.

Кыз-куумай. В этой конной спортивной игре участвовали юноша и девушка. По условиям игры девушке предоставили лучшего коня, такого, который умеет на полном скаку останавливаться как вкопан-

ший, о котором говорят: «сто повадок конь знает». Девушка поскакала, увертываясь от настигающего ее верхового парня. Юноша почти настиг девушку, но она круто повернула коня, и юноша на полном скаку пролетел мимо. Зазвучал смех девушки. Смущенный парень повернул лошадь, стал опять догонять. Девушка на скаку отбивалась от него свернутым в жгут полотенцем и неожиданно ударила плетью его коня. Конь юноши, храпя, поднялся на дыбы. А девушка опять унеслась вскачь, опять зазвенел ее смех...

Были еще конные игры. Тыйин-эниш: на землю клали копейку, и всадники подхватывали ее на полном скаку. Джамбы-атыш: джигит — тоже на скаку — сбивал серебряный шарик, подвешенный на нитке.

Завершился праздник улак-тартышем, или, как его иначе называют, кокбером, козлодранием.

В этой любимейшей в Киргизии конной игре участвуют несколько команд. Началось с того, что верховой судья посреди поля положил зарезанного козла без головы и копыт. По знаку судьи игроки помчались верхом к козлиной туше. Одному из всадников удалось подхватить ее с земли. Прижав козла ногой к луке, он поскакал по ипподрому, за ним, рассыпавшись по полю, понеслись участники других команд, отнимая козла. Козел переходил из рук в руки, пока, наконец, всаднику-победителю не удалось положить козла на мороо — условное место, рядом с флажком. Улак-тартыш — своего рода конное поло, в котором роль мяча выполняет туша козла.

Большой праздник на фрунзенском ипподроме надолго остался в памяти каждого, кому посчастливилось его увидеть.

9. ПРИМЕТЫ НОВОГО

Когда-то я здесь бывал, все знакомо, и все забыто! Вот первое чувство, которое овладевает тобой, когда начинаешь путешествие по Чуйской долине после многолетнего перерыва.

Все знакомо. Суслик, что стоит, как столбик, и свистит на краю поля. Селения, обозначенные вертикальными черточками пирамидальных тополей. Белеющие в зелени каменистые русла речек, что выбегают из ущелий Киргизского хребта и во многих местах пересекают долину: утром каждая журчит тихоньким ручейком, и ее легко перейти вброд, а вечером она гремит, волочит камни, и куда там пешеходу — даже всадник не всегда решается ее перейти.

От ветра, дующего из тех же ущелий, бежит по полю пшеницы и расходится вширь червонно-золотая волна: если в хлебах сесть, колосья заслонят цепь снежных гор, и кажется, будто ты в России. Но проехал чуть-чуть, и дорога бежит среди степных холмов, на которых растет лишь седой ковыль, низкорослая полынь да иглистые кустики эфедры. На проехавшей мимо пароконной подводе кротко мигают синими глазами поросята. Отполированный каменистой землею лемех плуга блестит у края пашни темным серебром.

Все знакомо, и в то же время все забыто, все вспоминалось не таким — не те запахи, не те краски, не те... И вдруг, оборвав себя на полуслове, начинаешь понимать, что это первое чувство, первое впечатление — обман души, истосковавшейся по милой сердцу природе и поэтому обращенной в прошедшее, начинаешь понимать, что дело обстоит куда проще: все не то совсем не потому, что оно позабыто! А потому, что оно и на самом деле не то, всюду новые краски, новая жизнь. Это становится особенно явственным, особенно осязаемым, зримым, когда въезжаешь на улицы селений Чуйской долины. Однако чтобы и для человека, путешествующего по Киргизии, это сделалось очевидным, надо сказать, как выглядели селения Чуйской долины два десятка лет назад.

Тому, кто в те времена пересекал долину, бросался в глаза необычайно разный быт.

Здесь были и украинские села: вишневые садики, журавли над колодцами, хаты с широкими завалинками; вокруг окон наличники, намалеванные на сте-

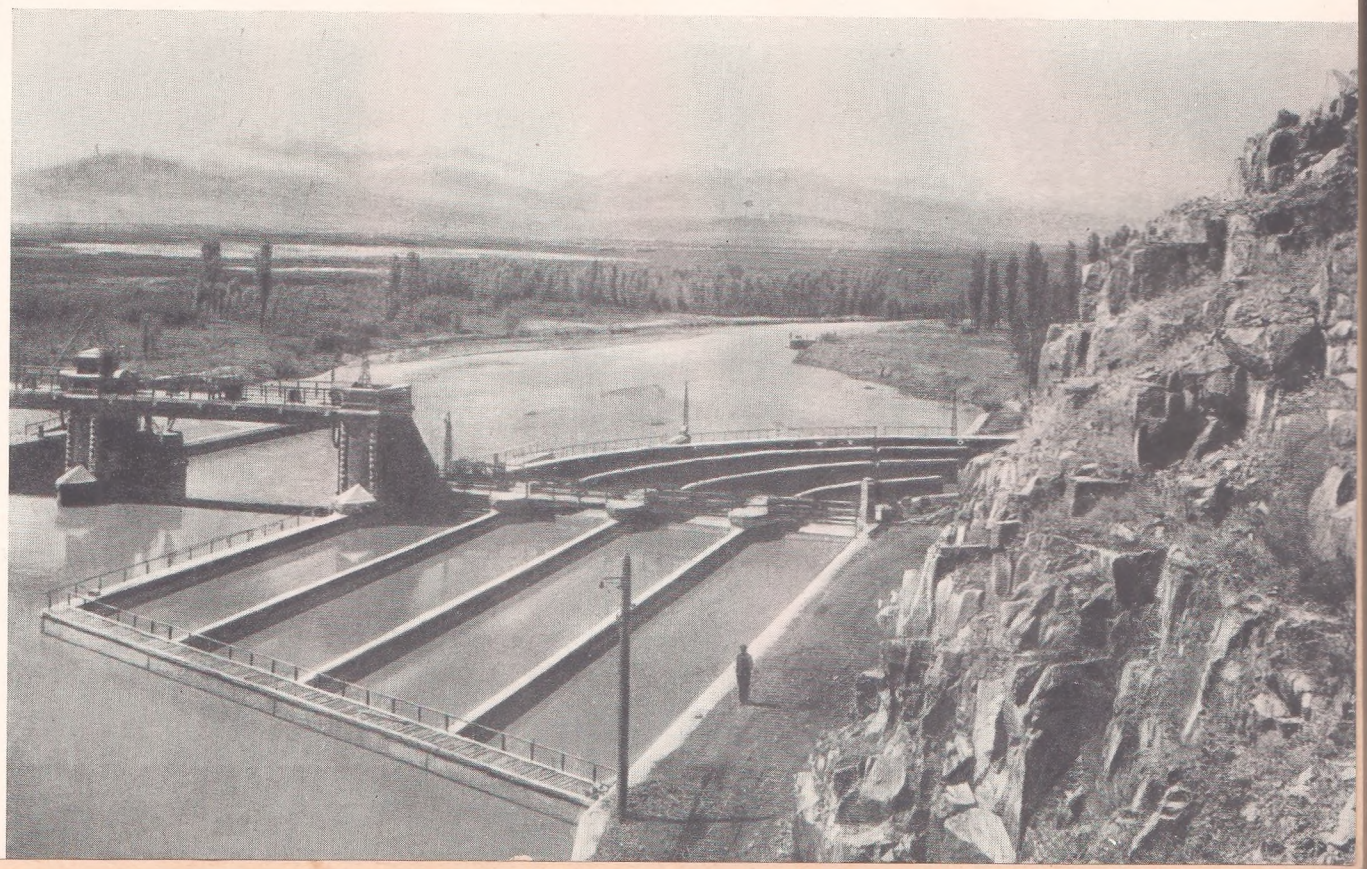


В школу.



В долине Чу.

Чумышская плотина.





Дома у Кайназаровой.

нах яркими красками; по дорогам, извивающимся среди свекловичных полей, мокрогубые и вислоухие волы лениво влекли за собой длинные обтянутые брезентом мажары, и над ними, в напоенном зноем воздухе, слышалось протяжное «цоб! цобé!».

Здесь были и селения дунган — народа, пришедшего из Китая: на плоских кровлях их фанз цвели яркие маки; маленькие оконца в ту пору уже были остеклены, но изредка вместо стекла можно было увидеть и промасленную бумагу; а вокруг селения блестели свежие краски султанов и ботвы огородных растений, да в обнесенных валиками, залитых водой полях нежно зеленели кончики стеблей риса.

Здесь были и казачьи станицы, привольно раскинувшиеся среди пшеничных и кукурузных полей: многие дома были выкрашены в голубой цвет; вдоль камышовых двускатных крыш страстно летали ласточки; посреди бахчей над арбузами и дынями качались чучела; и по вечерам на улицах возникала казачья песня, сопровождаемая свистом.

Здесь были, наконец, киргизские кыштаки, селения коренных жителей Чуйской долины. Две-три мазанки в каждом селении с тусклыми окошечками и земляным полом напоминали людям о дореволюционном прошлом, когда кыштак служил зимней стоянкой для кочевавшего рода. Возле них на каменных фундаментах двадцать лет назад высились уже ряды новых широкооконных домов. Но какими неуютными казались они! Ни деревца у крыльца, ни кустика, лишь степная колючка. А позади домов серели очертания заплатанных юрт, еще милых в ту пору вчерашним кочевникам: многие колхозники на лето переселялись из дома в юрту.

С тех пор в Чуйской долине все изменилось так, что не узнать. На улицах колхозных селений выросли здания школы, клуба и библиотеки, сберкассы и почты, родильного дома и больницы, детского сада и одного, а то и двух и трех магазинов. Многие чуйские колхозники переехали в новые дома под железными или черепичными крышами, с печами, электричеством, радио. Стоя теперь перед таким домом, разве ска-

жешь, какой это — киргизский, дунганский или украинский дом?

Земля в Чуйской долине плодородна. Хорошо сказал писатель Сыдыкбеков: «На такой земле не только яблоня вырастет, брось верблюжьи комочки — сыр взойдет!» Удивительно ли, что и киргизские кыштаки давно оделись в зелень тополей и фруктовых деревьев. Возле птицефермы, важно поднимая ноги в шпорах, разгуливает, поглядывая на кур, белый петух-минорка. Птичница в белоснежном халате положила в кормушки соль, мел, костяную муку для подкормки, раздробленную и дрожжеванную кукурузу для повышения яйценоскости и теперь открывает рамы, вентилирует птичник. Разве скажешь, в каком это колхозе — киргизском, русском, дунганском?

Суетятся голуби на крыше скотного двора. Невдалеке, у облицованной цементом траншеи, силосорезка, работая на тракторном приводе, тянет свою далеко слышную, ровную песню, и мелко измельченная масса суданки течет в траншею зеленым ручьем. А сколько других звуков принесли с собой механизмы в жизнь селений Чуйской долины: поющий звон электрической пилорамы, и глуховатый рокот зерноочистительной машины, и монотонный гул электрической молотилки, и еще, и еще. Разве скажешь теперь, какой это — русский, дунганский или киргизский звук?

Конечно, мать по-прежнему разговаривает тут с детьми на родном языке. В праздничный день в украинском доме хозяйка ставит на стол вареники с вишнями и сметаной, в киргизском готовят беш-бармак — блюдо из вареной баранины в прозрачном соусе, а в дунганском гости едят и похваливают цзюаньчжуаньдимомо — китайские слоеные пампушки. По вечерам на сельских улицах слышишь в русском селении гармонь, в киргизском — характерные, глуховатые звуки комуза, в дунганском — чистые звуки суоназа, китайской флейты, а иногда и мелодичные удары санга, дунганского гонга.

Но украинские мажары, дунганские фургоны и киргизские верблюжьи подводы, за которыми клубилась пыль, ушли из пейзажа Чуйской долины. Замет-

но меньше стало бричек. По дорогам, возле которых порхают хохлатые жаворонки, снуют колхозные машины, мотоциклы, велосипеды. Киргизский колорит этим дорогам придают разве лишь всадники, через седло которых перекинуты переметные сумы. Всадники напоминают нам, что рядом начинается страна гор, где конь долго еще будет служить человеку, позволяя ему взбираться на труднодоступные кручи.

Когда с какого-нибудь пригорка окидываешь взглядом Чуйскую долину, всюду видишь приметы нового. Железнодорожная колея пролегла сквозь долину, и сизая струя паровозного дыма висит над полями. Из ущелий Киргизского хребта, откуда веками вырывались лишь пенистые речонки и дул ветер, приподнимавший в селениях камышовые крыши, проложены теперь в долину линии электропередач. В разных концах, вдоль горизонта, потянулись из заводских труб шлейфы фабричного дыма: долина стала индустриальной. И на новых промышленных ее предприятиях дружно трудятся рабочие — русские и киргизы, дунгане и украинцы.

Выезжаешь на главное, пересекающее всю Чуйскую долину, укатанное до блеска шоссе. Машины идут одна за другой, одна за другой. Грохочут тяжелые самосвалы и автоцистерны с бензином. То и дело встречаются желтые, красные, синие автобусы — большие дизельные, которые совершают рейсы во все концы Чуйской долины, и маленькие, бегающие в глубь гор — на озеро Иссык-куль и в центральный Тянь-Шань. Мчатся колхозные полуторки с бидонами молока и с овощами. Проезжают санитарная машина и почтовый «пикап». С треском проносится мотоцикл, владелец которого для пущего шика ездит без глушителя. Много в потоке этом и легковых автомашин, и среди них необычное для сельского загородного шоссе количество такси — серых «Побед» с шашечными полосами по бокам.

Попробуйте в столице, во Фрунзе, разыскать такси, если вам понадобилось поехать в театр или на стадион. Дело нелегкое! Зато от фрунзенского автовокзала такси отъезжают каждую минуту: они едут

по Чуйскому шоссе за десятки, а иногда и за несколько сот километров. Колхозники Чуйской долины охотно пользуются такси, и шоферам выгодней делать рейсы по шоссе, где машину можно разогнать и где не бывает простоев, чем «путаться» в городе «по мелочам».

Быстрота, быстрота! Серые полосы асфальта бросаются под колеса вашей машины. Жадно вдыхаешь ноздрями ветер, теплый, чуть горьковатый, припахивающий дымком и бензином. Справа и слева зеленым, то и дело раздергивающимся пологом проносятся ряды деревьев, и белые домики, и сады. Кое-где над колодцами — деревянные журавли. С одной стороны шоссе — нетающие снега горных вершин. А на обочине сверкают спицы велосипедов, и мелькают копыта верховых лошадей, и проходит трактор или комбайн, и стоит «голосующий», высоко подняв руку.

Но вот проплывает над головой перекинутая через шоссе колхозная арка с лозунгами. И машина ваша останавливается у чайной. Рядом — клуб, базарчик, магазин. Синий почтовый ящик висит на кривом стволе ивы перед сельской почтой. Из уличного репродуктора, мимо которого стрижи чертят свой стремительный полет, доносится: «Говорит радиоузел колхоза имени Карла Маркса. Слушайте информацию о работе молотилки...» А из тенистого палисадника долетает негромкий девичий голос:

Вместе с утренней зарей
Ты ушел, любезный мой,
Милый.
Ты ушел, любезный мой,
Налился твой след росой,
Дорогой мой...

Почти сплошная цепь селений тянется вдоль шоссе. Поперечные улицы от него расходятся местами так далеко и столько в глубине их угадываешь других улиц, что уже и не скажешь, что это — город, деревня? Стоит, однако, свернуть с шоссе в сторону и отъехать — где три километра, а где всего метров двести, и глазам откроются поля, разделенные ниточками дорог: золотистая стерня убранных хлебов, и

темная зелень свекловичных плантаций, и поля люцерны, такие гладкие, будто по ним прошлись утюги.

Картина полей мало что скажет тут приезжему человеку: поля как поля. Между тем на многих из них тоже лежат «приметы нового».

Поезжайте, например, одной из грунтовых дорог, что проложены от шоссе на север к границам Казахстана. Прежде в этой части Чуйской долины по земле, покрытой коркой, ползали лишь черепахи; рисунок их пыльных панцирей повторял в миниатюре унылый облик растрескавшейся от солнца земли. Да изредка степью проходил верблюд, подчеркивая еще больше пустынность пейзажа. А теперь... Теперь на этих землях — самые крупные в Советском Союзе плантации новолубяных культур: южной конопли, кенафа и джута. Эти степи оживила вода. Говорливая, она журчит под ногами, куда ни шагнешь. Но о воде мы расскажем дальше, когда будем осматривать Чумышскую плотину, от которой расходятся новые ирригационные каналы. Здесь упомянем только, что каналы эти оросили громадные пространства, и в Чуйских степях выросли четыре крупных совхоза новолубяных культур.

От совхозов этих машина наша поворачивает обратно на юг, проезжает сквозь рощи карагача, белой и желтой акаций, шелковицы, которыми совхозы отгородили свои плантации от суховеев, наконец въезжает в сплошные хлеба и идет меж них по пронизанной солнцем и пылью дороге.

Невдалеке от дороги плывет по хлебам комбайн. Сидящий на межевом камне орел при его приближении расправил крылья, тяжело поднялся и полетел в сторону гор. На копнителе комбайна две девушки, лиц не видно — закутаны платками от пыли, на глазах — защитные очки. Подминая колесами стерню, к комбайну пристраивается грузовик. Комбайн пошел чуть тише, открылся выгрузной шнек, и на брезент, разостланный в кузове машины, с шумом посыпалось золотое зерно.

А ведь совсем недавно тут тоже была голая степь. И сюда вода не пришла: ее попросту не хватило. Эту

землю советские люди оживили иначе. Вся Киргизия знает имя кудесника киргизских пшениц — селекционера Ивана Петровича Рыжея. Его озимая пшеница эритроспермум-115 стала царицею хлебных полей северной Киргизии. «Воткни в землю палку, плюнь, если не зазеленеет — я отвечаю», — говорят, вспоминая о Рыжее, с доброй улыбкой его земляки. Под руководством Рыжея научные сотрудники Киргизской государственной селекционной станции вывели и засухоустойчивые скороспелые сорта пшеницы, которые выжили, не погибли в Чуйской степи.

А освоение каменных пустошей! Вдоль левого берега Чу и других речек в Чуйской долине тысячи гектаров завалены галькой и валунами. Княжествами змей и ящериц называли старожилы эти места. Ныне на многих галечниках выросли зеленые острова: на камнях растут дыни чули и кзыл-турламон, и знаменитые арбузы салды-пешты, и овощи.

Кое-где в Чуйской долине можно было наткнуться прежде и на болота, где по вечерам, опуетив клюв в воду, ухала выпь. Киргизы называли земли эти «мыкан», что значит «трясина», «омут». Тут были места совсем гиблые. Мелиораторы осушили болота, колхозники выжгли камыш. И на бывшей трясине заколосился рис, зазеленели поля кукурузы, гречихи, льна-кудряша, зацвели плантации табака, плодовые сады раскинули сучья, и в них благодаря стараниям ученых вызревают теперь даже субтропические растения — хурма и инжир.

Можно рассказать еще о колхозах эфиромасличных культур. Впрочем, нет! В Панфиловский район, где колхозники выращивают (тоже новые в Киргизии) казанлыкскую розу, мускатный шалфей, кориандр, базилик и масличные, вам необходимо поехать, все увидеть самим. Восхитительная будет поездка!

Стояли ли вы когда-нибудь у цветущего поля казанлыкской розы? Наслаждались ли зрелищем тысяч красных цветов, распустившихся среди темной листвы? Вдыхали ли воздух, который словно разогрет запахом роз? Слушали ли торжественный звон пчел, которых тут так много, что от прозрачных крыльев их

все поле трепещет и серебрится? И, разговаривая с людьми, улыбались ли при этом прозаизмам, рожденным на этих полях, вроде «мастера скоростного сбора цветов» или «бригада собрала три с половиной тонны розовых лепестков». Розы и выполнение нормы — сочетание слов для нашего уха, подобное фальшивому звуку. Между тем розы здесь — быт, колхозное производство. Корзины с розовыми лепестками везут на построенный в том же районе завод «Эфиронос».

Цветы перерабатывают там в эфирные масла, которые отправляют на парфюмерные фабрики в Ленинград, Ригу, Москву. На фабриках мастера, пользуясь эфирными маслами, как художники красками, смешивая их, составляют новые «композиции» запахов. И потом комиссии, в которых наряду со специалистами участвуют виднейшие актрисы страны, устраивают «пронюхивания» (так называются эти совещания), открывая дорогу новым маркам духов.

Многие благоуханные запахи, приносящие радость людям, рождаются в Киргизии. Но ароматы эти не киргизские, как, впрочем, и не российские, не украинские, не уральские, не дальневосточные... Казанлыкская роза и базилик пришли к нам из Передней Азии, ажгон — индийский гость, и так далее.

Что ж, мы рады гостям. Но где все то богатство чудесных запахов, которыми сопровождают вас в путешествии склоны Тянь-Шаня? Где запахи российских лугов и полей? Где ароматы наших лесов и рек, ароматы нежных северных цветов и роскошных цветов Причерноморья? Почему их почти нет в нашей парфюмерии? И почему вообще весь волшебный мир запахов должен вращаться в узком кругу сладких цветочных благоуханий?!

Вот вопрос, который поставили передо мной в Киргизии ботаники. Разговор происходил в лаборатории лекарственных растений Киргизской Академии наук. Научные сотрудники принесли подставки, в которых рядами стояли пробирки с эфирными маслами разных видов полыней. Откупоривая пробки, мы вдыхали запахи. И каждая полынь пахла по-своему, не

похоже на другую. Мы словно прошлись по Чуйским степям. А потом принесли эфирные масла горных трав. И запах каждого раскрывал перед нами все новые красоты Тянь-Шаня. Я не оговорился, — красоты, ибо запахи возвращали нас к тем восхитительным пейзажам, где мы впервые вдохнули эти ароматы полной грудью.

Нам припомнилась и история современной парфюмерии. Родилась промышленность благоуханий при дворе Людовика XIV. С королевских цветников слетели запахи на платья французских аристократок. За шелковыми шлейфами платьев потянулись шлейфы цветочных ароматов: простое и вместе с тем гениальное изобретение французских парфюмеров! Очень скоро парфюмерия салона мадам Помпадур стала парфюмерией мира. Прошло два века. Цветочная парфюмерия оказалась слишком дорога для буржуазной Европы. Ее мало-помалу начала вытеснять парфюмерия химическая, дешевая. Но и она стала имитировать цветочную. Облик «лавочницы» ей претил, она желала выглядеть «графиней, княжной или баронессой». Ее благоухания должны были напоминать о цветниках Версаля. Что было ей до запаха морской пены берегов Норвегии, до благоухания жарких суданских ветров, до горьких ароматов чабреца и полыни в наших российских степях?

Правда, в той погоне за новым, ни на что не похожим, которой отмечено начало нашего века, парфюмеры создавали для изысканного потребителя и некоторые запахи, каких нет в природе, но (такова уж сила традиции!) это тоже были сладкие запахи, запахи невиданных цветов, растущих если и не на земле, то, уж во всяком случае, где-нибудь в бездне мирового пространства. В запахах этих есть родство с кубистскими картинами Пикассо. Они тоже нужны, тоже доставляют радость. Но как мало этих ароматов! И какие это робкие попытки! А главное, где, повторяю я, все то богатство благоуханий, которыми полон мир? Где те запахи, которые где-нибудь в Москве на улице Горького остановят вас и заставят затрепетать сердце, потому что принесут с собой вос-

поминание о краях, о природе, где вы были счастливы, где провели детство или где впервые твердили слова любви?!

Если бы наши парфюмеры попробовали копнуть эти нетронутые россыпи, им один только Тянь-Шань дал бы тысячи новых ароматов. Создание народной парфюмерии — новое большое дело. Боязно приниматься за новое? Но киргизы говорят: «Падать, так с верблюда!»

10. СТРАНИЦЫ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

Многие знают картину художника С. А. Чуйкова «Дочь советской Киргизии». На ней изображена киргизская девочка-школьница. Позади огромное синее небо, далекая цепь лиловеющих гор, маленькое, тоже далекое селение, Чуйская степь. На девочке белое платье, поверх надета синяя киргизская девичья жилетка. Голова свободно повязана косынкой, из-под нее на плечи падают черные косы. Выражение лица у девочки спокойное, серьезное, волевое. Лицо покрыто глубоким загаром, в котором чувствуешь силу степного солнца и ветра. Девочка идет в школу, в руке у нее книги. Их тяжесть угадываешь по тому, как лежат они на всей ее руке от локтя до кисти, как девочка прижала их к себе — естественно и в то же время с уже вошедшим в кровь уважением к книге.

Эта девочка — представительница того поколения, для которого дореволюционные распри народов Чуйской долины кажутся далекой сказкой, нелепой и страшной. Распри эти, которые еще видел своими глазами С. А. Чуйков — уроженец Чуйской долины, известны этой девочке лишь по народной молве да по книгам, быть может тем книгам, что лежат у нее на руке. Возьмем же из ее рук одну из книг, «раскроем» ее, поговорим о прошлом Киргизии.

«Беда висит над самыми бровями» — старинная киргизская поговорка. В течение столетий из-за феодально-родовых междоусобиц у киргизского народа всегда над самыми бровями висела беда. Ни одна

семья никогда не чувствовала себя в безопасности, каждую минуту у порога юрты мог появиться грабитель и враг.

Первый русский ученый, увидевший своими глазами Киргизию, Семенов-Тян-Шанский, в книге-дневнике «Путешествие на Тянь-Шань», знакомя читателя с дотоле неведомым миру краем — его горными хребтами, озерами и реками, птицами и животными, вводит нас и в самую гущу политических событий.

Перевалив осенью 1856 года несколько горных хребтов и выйдя к Иссык-кулю, экспедиция наткнулась у берегов озера на остатки разорванных юрт: свидетельство кровопролитных боев между двумя киргизскими племенами — племенем «оленя» (бугу) и племенем «желтого лося» (сары-багыш). Весной следующего, 1857 года в Киргизии произошли новые трагические события. Один из родов бугу, отделившись от своего племени, решил укочевать за Тянь-Шань. На него в узком горном проходе напали сары-багыши и всех уничтожили. Нельзя без волнения читать у Семенова-Тян-Шанского страницы о том, как два месяца спустя он посетил поле этой битвы:

«День уже склонялся к вечеру, когда мы, обогнув знакомую нам вершину, с ее подножья вышли на «мертвое поле», засыпанное замерзшими трупами... Впечатление, произведенное на меня этим полем, было несравненно сильнее, чем впечатление «морга» на Сан-Бернарде. Только тут я глубоко прочувствовал поэтическое обращение великого поэта Пушкина к подобной поляне со словами: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?»

И чудилось мне, что передо мной что-то колышется на этом страшном мертвом поле и что я уже слышу здесь какие-то живые звуки. И действительно, по мере того как я подвигался вперед по этой пустыне, я увидел, что что-то заколыхалось передо мной, и, к моему удивлению, это не была галлюцинация. Навстречу нам с радостным лаем бросилась стая богинских собак, оставшихся с весны на поле битвы и питавшихся там нисколько не разложившимися вследствие холода трупами. Собаки эти пристали к нам и оставались

нашими верными спутниками во время всего нашего дальнейшего путешествия...»

Побывав у Уметалы, манапа племени сары-багыш, и сделавшись его тамыром — побратавшись с ним, Семенов-Тян-Шанский посетил потом и Боромбая, манапа племени бугу, и содействовал установлению мира между обоими враждовавшими племенами. На радостях Боромбай передал через русского ученого просьбу принять его племя в русское подданство. Политическое значение этого царские чиновники, по словам Семенова-Тян-Шанского, оценили сразу. Они поняли, что «сары-багыши, поставленные меж двух огней — между киргизами, охраняемыми от набегов русскими властями, и никем не обузданными и более сильными кочевниками Кокандского ханства, очень скоро последуют примеру богинцев и пожелают войти в русское подданство...» Действительно, племя сары-багыш спустя четыре года, в 1862 году, приняло подданство России. Чтобы истинный смысл этого был ясен, надо сказать несколько слов о Кокандском ханстве.

«Если ханский зекет-паша будет изображать из себя мост — не переходи через него», — говорили киргизы о кокандских сборщиках податей. В Кокандском ханстве насилие было законом, убийство из-за угла — добродетелью, а система податей была доведена до виртуозности: и продавец, и покупатель, и каждый входящий и выходящий из стен любой кокандской крепости (две из них — Пишпек и Токмак — находились в Чуйской долине), и даже бедняки, собиравшие на топливо хворост в горах, должны были платить за это особую подать.

Рассказывают: к кокандскому хану Мадали как-то раз привели на суд одного киргиза-табунщика, который на базаре купил камчу (плеть) и отказался уплатить ханскому сборщику несколько монет «подати на покупателей». Хан повелел посадить табунщика на кол. Но кто-то сказал хану, что хороших табунщиков мало и что, если казнить этого, остальные табунщики разбегутся, и тогда некому будет пасти ханских коней. Тогда Мадали повелел будто схватить

первого попавшегося гуртоправа (а гуртоправов в ханстве было с избытком) и казнить вместо табунщика. Гуртоправ был схвачен и на кокандском базаре всенародно казнен. А Мадали разослал по Тянь-Шаню глашатаев с рассказом об этом, «дабы подданные убедились в ханской мудрости и справедливости, а главное, дабы при упоминании имени хана пребывали в страхе и трепете».

Было ли это на самом деле, выдумано ли сказителем — не все ли равно. И в том и в другом случае рассказ этот выразительно характеризует порядки в Кокандском ханстве. Удивительно ли, что еще задолго до Семенова-Тян-Шанского киргизские племена обращали взоры на север, к Русскому государству. Ища спасения от ханских вооруженных грабителей и от междоусобиц своих родовых вождей, то одно киргизское племя, то другое отправляло в Россию послов с просьбой «принять их под покровительство белого царя». Впрочем, Россия была далека, и посольства долгое время кончались ничем.

Не раз поднимали киргизы и восстания против кокандского гнета. А когда передовые форпосты Русского государства оказались вблизи Тянь-Шаня, киргизские племена (сперва племя бугу, потом одновременно с сары-багышами племя солто, кочевавшее в Чуйской долине, а спустя еще год и живущие в глубине гор, у границы Китая, племена саяк и черик) без всякого давления извне перешли в русское подданство. Присоединение Киргизии к России имело большое значение для киргизского народа: киргизы освободились от кокандского гнета; на смену натуральному хозяйству пришли товарно-денежные отношения; было уничтожено рабство и ослаблена феодально-родовая междоусобица. Как раз эта сторона продвижения Российского государства на Восток и дала основание Энгельсу писать Марксу: «Россия действительно играет прогрессивную роль по отношению к Востоку».

Но «у каждого малахая есть изнанка, и если самый богатый малахай вывернуть наизнанку, он станет подобен шапке бедняка». «Освободив» крестьян

от крепостной зависимости, а заодно и от земли, царское правительство в шестидесятых годах XIX века разослало по российским селам указ, в котором значилось, что «люди неимущие и недовольные чем, но наделенные послушанием и годные к ремеслу, а случаем и придурковатые, но не буйного помешательства, подлежат переселению в Семиречье при всех дарованных льготах». Этим путем государство не только пыталось освободиться от недовольного крестьянского населения, но и создавало себе на окраинах прочную опору в лице кулачества: земля в Семиречье богатая, хлеба родятся, как в сказке, по грудь, киргизов, оставшихся без земли, без хлеба, много, значит и батраки найдутся.

«Киргизам оставлялись в пользование только худшие земли, все же лучшие от них отбирались и передавались русским переселенцам, которые вместо того, чтобы самим обрабатывать землю... находили для себя более выгодным и удобным не работать, а сдавать эти земли тем же киргизам в аренду или же обрабатывать их киргизами же, нанимая их за нищенское вознаграждение. Таким образом, получилась такая картина, что киргизы, лишившись лучшей своей земли, платили в то время за нее же деньги». К этой выдержке из доклада одного войскового начальника туркестанскому генерал-губернатору Куропаткину добавить нечего: пути и смысл переселенческой политики царизма обнажены ею с ясностью.

Быстрее всего киргизы были вытеснены из Чуйской долины, по которой тянулись полоски киргизских посевов. Пашни у киргизов были отняты. И Чуйская долина сделалась ареной ожесточенной межнациональной борьбы. Казаки-семиреченцы травили скотиной поля украинских переселенцев. И те и другие угоняли лошадей у киргизов и дунган. Кулаки захватывали киргизские земли. «Киргиз-де отроду лентяй. Какой из него хлебороб!» — говорили они. И царские чиновники, стремясь затушевать классовые противоречия, всячески разжигали национальную рознь.

— Бывало, подадут казаки в волостной суд, — рассказывал старик колхозник Чумаков, — мол, кир-

гизы у нас табун лошадей угнали! А лошадей никто у них не крал. Из озорства подадут. А судья и рад: вызовет свидетелей, повернет так, повернет эдак. Решение же, оно заранее известно: отдавай киргизы «награбленных» лошадей! Пошумят у себя в юртах киргизы, однако лошадей представят. Поди не представь! Киргизы-то были подневольные.

Классическая фигура станового пристава — зубодробилы и мздоимца, освобожденная здесь от «недреманного ока» начальства, проявила исконные свои качества с удесятеренною силой. Взяточничество и всякого рода поборы сделались на тянь-шаньских хребтах основной, безраздельно господствующей пружиной государственного управления. Началось ограбление киргизского народа, грабеж, в котором на правах дольщиков приняли самое деятельное участие киргизские манапы и баи. Большинство из них покупали у царской администрации должность болуша — волостного управителя. Используя свою родовую власть и феодальные пережитки, запугивая бедняков русским приставом, они с лихвой покрывали свои «предвыборные» расходы. Так родовые вожди превратились в кулаков, владельцев тысячных стад.

Две пословицы, живущие в горах как память о недавнем прошлом, ярко определяют взаимоотношения основных слоев киргизского народа перед революцией: «У лошадей завязаны рты, и они не ржут, а откормленный бык ревет во все горло» — пословица о бае и бедняке, о бесправии трудового кочевника перед лицом богатого. И «Берсе да бересин, бербесе да бересин» — «Дашь — возьмем, и не дашь — возьмем» — слова грабивших народ аткаменеров — дружинников феодального князька, крылатые слова, превратившиеся в пословицу.

В те дни, как и ныне, колесило над горами солнце, в ущельях тоненько блеяли овцы, далеко слышался свист горных индеек, расписные бабочки порхали над пастбищами, ветер срывал брызги с водопадов, прыгающих через тропинки, и среди цветущей природы, в дырявых юртах, в грязи и нищете жили хозяева этих прекрасных гор — пастухи. Их обирали баи и

царские чиновники. Их косили болезни. Киргизский народ вымирал.

Вся острота тех дней сохранена нам песней Токтогула — киргизского народного поэта, закованного царским правительством в кандалы и сосланного в Сибирь за революционные песни:

«Будьте прокляты вы, болезни, прожигающие нас так, что от человека остается лишь кость!

Будь проклята жадность бая и русского судьи — она как камень, которым на весах взвешивают мою жизнь!

Каждый знает, даже дорожная пыль знает, что камень куда тяжелее, чем кость!

Кто же ударит камнем о камень, высечет искру и счастья костер разожжет?!»

Песня эта отозвалась кандальным звоном на руках певца. А завоеватели, развернув линию крепостей, двинулись в горы и нанесли киргизам удар в самое сердце, удар по пастбищам.

Бежавшие в Китай киргизы так описывали свое положение в прошении, поданном на имя русского консула в Кульдже: «Принадлежащие нам земли от нас взяли под предлогом, что мы не отбываем воинскую повинность, нам же предоставили горы. Но горы, занятые лесом, оказались казенными. На скот и юрты наложили подать. Поля отошли к крестьянам, а горы отошли в казну, и нам нечем было жить... Каждая волость ежегодно платила штрафы по нескольку тысяч рублей, причем кто был в состоянии, тот платил, а бедные отсиживались под арестом».

Российский империализм, отнимая у кочевников пастбища, стремясь за бесценок скупить скотину, которую киргизам негде становилось кормить, планомерно загонял целый народ «на самые вершины гор» (как писали киргизы в другом прошении), на дикие утесы и ледники. И тогда доведенный до отчаяния киргизский народ поднял восстание.

Поводом к нему послужил опубликованный в 1916 году «Приказ о реквизиции для тыловых работ инородцев империи». Как разъяснялся этот приказ, рассказывал старик колхозник Касыболотов:

— Приехал к нам пристав. Вынул бумагу. Говорит: «Все молодые поедут со мной!» Мы удивились, что такое. «У нас, — говорит, — война, русские сидят в канавах и убивают из пушек шайтанов. Шайтаны сидят в канавах и убивают из пушек русских. Вы, киргизы, не можете убивать шайтанов, — будете между нами рыть канавы». Мы спросили: «Очень далеко это — война?» — «Туда, — говорит, — на трех лошадях год ехать».

Приказ о «реквизиции» подбавил огня в накаленную и без того атмосферу. Напряжение в горах час от часу нарастало. Царские чиновники пустили провокационный слух о «бунте» киргизов. Крестьяне-поселенцы стали лихорадочно вооружаться. Одного киргиза избили русские кулаки, и при создавшейся обстановке этого было довольно, чтобы батраки-киргизы бежали из сел в горы: страшная весть о готовящейся резне облетела хребты. Киргизские манапы и баи, испуганные надвигающейся грозой, всячески старались ее задержать, потушить. 20 августа триста «почетных киргизов» пришли к пишпекскому уездному начальнику с настойчивыми просьбами послать в горы войска для успокоения молодежи. И лишь когда восстание, вспыхнув в Чонкеминской долине, стало стремительно перебрасываться из долины в долину, некоторые киргизские богачи вынуждены были примкнуть к восставшим.

Повстанцы прежде всего сожгли почтовые станции и мосты на колесных трактах от Пишпека до Пржевальска и от селения Рыбачьего (у озера Иссык-куля) до Нарынского укрепления. С телеграфных столбов они оборвали провода и стали спешно изготовлять оружие: секиры на длинных рукоятках, первобытные луки со стрелами, пики с пучками конских волос под остриями, палки с навинченными на концах гайками и небольшое количество мылтыков — старинных шомпольных ружей, из которых стреляли с колена, положив ружье на рогульку.

22 августа повстанцам Сарыбагишевской волости удалось захватить шедший к Пржевальску транспорт оружия — около двухсот винтовок и три тысячи бое-

вых патронов. И хотя мало кто из киргизов умел обращаться с винтовками, весть об этом вызвала необыкновенный энтузиазм. К восставшим стали присоединяться киргизы самых далеких волостей.

Некоторые местные феодалы и баи, вынужденные примкнуть к повстанцам, пытались толкнуть восставших на путь газавата — войны мусульман против «неверных». Кое-где в Средней Азии, при деятельной поддержке англичан, это им в какой-то мере удалось. Однако в Киргизии, где восстание приняло всенародный размах, оно острием своим все время было обращено не только против русских колонизаторов, но и против своих манапов и баев.

Генерал Куропаткин, писавший в телеграмме губернатору Семиречья: «Надеюсь, первый десяток шрапнелей заставит отхлынуть скопища киргизов», двинул пушки против кочевого народа и потопил восставших в крови. Началась трагедия. В те дни слышнее всего в горах были голоса плакальщиц. Бо́льшая часть народа со своими стадами и нехитрым скарбом бросилась бежать в Синьцзянь. Поздней осенью через перевалы, завалешные снегом, по глубоким ущельям и ледникам двигались лошади, шли кучки голодных, замерзавших в пути стариков, женщин, мужчин и детей.

Писатель К. Баялинов, который мальчиком совершил вместе со своим народом этот путь, поведал нам о нем в рассказе «Аджар». «Все перемешалось. И никто не знал, в какой гурьбе бредут его родственники, в какой отаре его овцы». На всю жизнь запоминается и описанная в этом рассказе дорога в горах, покрытая странными валунами. «Порою такой валун начинал шевелиться, стряхивая с себя снег. То поднималась на ноги продрогшая овца или полузамерзший под куском кошмы человек».

На границе новое бедствие поджидало киргизов. Синьцзянские правители — даотаи — выставили у пограничных перевалов усиленную стражу, пропуская беженцев в Китай только за выкуп. Здесь киргизы лишились последних своих лошадей и овец. Со склонов хребта Кок-Шаала в Китай спускались куч-

ки пеших людей, тащивших на плечах остатки домашнего скарба. Киргизы были согнаны с тянь-шаньских гор и обречены на вымирание.

Лишь после Октябрьской революции киргизы смогли возвратиться из Китая на родные пастбища. Молодое Советское правительство в Туркестане наделяло беженцев землей и скотом. Ни голод, ни мор, ни огонь, брошенные интервентами на советскую землю, ни кулацкие мятежи в селах Беловодском, Таласе и Нарыне не остановили братской помощи русских рабочих киргизскому народу. Киргизский народ был возвращен к жизни и пережил свое второе рождение.

11. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

Бесконечная в проявлениях, имеющая свои законы и все же никогда не повторяющаяся жизнь преподносит нам порой какую-нибудь историю, редкую, исключительную, словно для того, чтобы еще более яркий свет бросить на глубины происходящего. Одна такая история не выходит у меня из головы. Слышал я ее на колхозном комсомольском собрании. Рассказал ее старик, приглашенный секретарем комсомольского комитета. Теперь история эта, похожая на трагический маленький четырехстраничный роман, пошла из уст в уста по Чуйской долине.

В давние времена, когда старик рассказчик был молод, незадолго до событий шестнадцатого года жили-были в этом селении девушка и парень, Лена Королькова и Чалагыз Бейше. Чалагыз батрачил у кулака-мироеда. И Лена батрачила у того же кулака, хотя и доводилась ему родною племянницей. Оба были сиротами.

У Чалагыза мать, как часто бывало у киргизов, погибла во время родов, а отец однажды ушел из дому и не вернулся — то ли стал жертвой какого-нибудь феодального князька, то ли просто лавина погребла в горах. Отец Лены сложил свою голову на русско-японской войне, девочка продолжала жить с матерью, бедствуя в родном сибирском селе. За год

до описываемых событий, когда девочке исполнилось пятнадцать лет, мать ее умерла от болезни, завещав дочке поехать в далекую «страну Пишпек», к отцову брату — единственному живому родичу, за много лет до того переселившемуся в Семиречье и, по слухам, забогатевшему.

Дядя принял племянницу неприветливо и, чтобы не ела даром хлеб, поручил ей скотный двор. Одиннадцать коров, два десятка лошадей, свиньи, овцы, куры, гуси, индейки — легко ли все это уходить, уследить?

Чалагыз пас скот, а в свободное время помогал по хозяйству — где хлев починить, где перестелить солому, где навоз вывезти из конюшни на поле.

То ли общая сиротская доля — грубые окрики, попреки, жизнь впроголодь, то ли (теперь об этом можно только догадываться) те хрупкие, пронзающие сердце мгновения восхищения при виде клина журавлей, летящего в небе, или какой-либо другой, такой же светлой, полной воздуха и простора картины природы, рождающей в самой глубине души отзвук, исторгающей слезы восторга из глаз, а вернее всего — и то и другое послужило причиной тому, что русская девушка-крестьянка и киргизский парень-батрак полюбили друг друга.

Ходили слухи, что прежде всех дознался об этом сам Федор Корольков и дознался едва ли не раньше, чем юноша и девушка себе признались в своих чувствах. Так или иначе, племянницу Корольков собственноручно избил — некоторое время она ходила в синяках, а Чалагыза убрал со скотного двора и отослал с другими батраками работать на поле: совсем расставаться с ним он не хотел, слишком работящ и безответен был парень. И еще говорят, будто Корольков сказал на людях Чалагызу в насмешку: «Отработаешь калым, за полсотни лошадей отдам племянницу!» И очень довольный собой, подмигнув слушателям, добавил: «Это по-вашенскому, киргизскому закону калым!»

И будто, когда разлучили их, тут-то и поняли Лена и Чалагыз, что жить один без другого не могут.

Надо думать, были у них в то время тайные свидания. И надо думать, немало слез было пролито Леной: разве мыслимо было тогда русской девушке не то что заикнуться — просто помыслить, чтобы свадьбу с киргизом сыграть.

Долго ли, коротко ли было лить слезы Лене. Да пришел шестнадцатый год. Сперва сельский староста на сходе прочел царский указ о «реквизиции» киргизов. Потом злые люди начали распускать слухи, будто киргизы всех русских хотят перерезать. Испугавшись слухов и мести в ответ, киргизы-батраки бежали из селений в горы, вместе с ними и Чалагыз. Дело было в июле. Кулаки, хлеба́ которых остались неубранными, осердясь, стали распространять совсем уж кривые толки и слухи. Словом, в Чуйской долине начинались дела, о которых мы говорили.

И будто бы в одну из ночей на скотный двор к Лене прибежал Чалагыз, уговаривая вместе бежать к его братьям в горы: мол, примут ее хорошо, как невесту его! Но подумала Лена о неведомых горах, о жизни в юрте — непонятной и страшной, не решилась. Тут начали всех попадавших в руки киргизов хватать. И Чалагыза схватили, когда второй раз пробирался к Лене. Привели к Королькову. Убил бы его Корольков, да хлеба́ спасли: не убрана еще пшеница была, осыпа́лась на поле, нужны были кулаку батрацкие руки. Погрозился Корольков убить Чалагыза, да до поры запер в сарае, чтобы утром погнать на поле с серпом.

Вот тогда-то (где смелость взялась!), не гляди что худенькая, забитая, а всех обманула девушка. Выпустила милого своего на волю, и сама, еще солнце не пало на горы, с ним ушла и с собой двух коней увела.

Есть такая пословица, родилась она в горах у киргизов, а прижилась и у русских в Чуйской долине — ходкая, как всякое меткое слово: «Родишь сына, покажешь его вороне, скажет — слишком белый; покажешь ежу, скажет — слишком мягкий; змее, скажет — слишком толстый; муравью, скажет — слишком большой». Впрочем, беда была

бы не так велика, если бы только за тем дело стало, что нос русской девушки показался слишком крив женщинам рода Чалагыза, и волосы слишком светлы, и ресницы слишком белы.

Беда была в том, что привез Чалагыз милую свою к родичам в недоброе время. В темных головах кочевников, не умевших разобраться в событиях, начинала закипать ненависть против всего русского, всячески раздуваемая баями и невесть откуда взявшимися мусульманскими проповедниками: теперь-то, спустя много лет, мы знаем, откуда взялись они, — из Кашгара, с порога английского консульства. Об этом в воспоминаниях своих всему миру, хвастаясь, поведал бывший консул, удалившись от дел.

Весь аил сбежался посмотреть на русскую девушку, которую привез Чалагыз. Все были возбуждены. Старухи, размахивая костлявыми руками, осыпали ее проклятиями. Хмурым кольцом стояли мужчины, ожидая, что скажут старейшие. И вот выступил вперед один аксакал. Степенно выслушал он горячие слова Чалагыза в защиту милой, неодобрительно покачал головой, сказал важно, что от женитьбы киргиза на русской добра не жди, приедут, мол, казаки и в отместку всех перережут. Под конец поднял старик руку к горам и, приглашая в свидетели родовых предков, изгнал Чалагыза из племени. Опасаясь расправы над девушкой, Чалагыз не стал терять времени и уехал с нею прочь, низко опустив голову, провожаемый молчаливыми взглядами огромной толпы.

Так для русской девушки-крестьянки и киргизского парня-батрака не нашлось места ни у русских, ни у киргизов. Остались они среди тянь-шаньских гор одни на всем свете.

Спустя три недели были они уже далеко за горами, за долами Тянь-Шаня — в Китае, в городе Уч-Турфане. Им повезло: границу они перешли прежде, чем ринулся туда же, спасаясь бегством, киргизский народ. Поэтому им удалось отделаться малым выкупом: только двух коней своих отдали они китайским пограничникам. А в Уч-Турфане Чалагыз сумел наняться батрачить к китайцу-помещику, и это тоже

было удачей. Прошло немного времени, и с тяньшаньских гор хлынуло сюда столько людей оборванных, потерявших все, готовых батрачить у кого хошь, за что хошь, что, попади Чалагыз сюда в те дни, не мог бы и думать он о работе.

Итак, в черные для киргизского народа дни, когда смерть обильно собирала среди людей жатву, счастье, хоть и бедняцкое, все же улыбнулось Чалагызу и Лене: у них была хибара, темная, да своя, и они не скитались по дорогам Синьцзяня с толпами нищих. Кто знает, быть может, в чужом краю Чалагызу и Лене удалось бы прижиться. Да международная политика помешала. Самая международная, что ни на есть!

Увидев, что большая часть киргизского народа снялась с места и уходит в Китай, генерал Куропаткин разослал по городам Семиречья телеграмму: «Догнать и водворить на место». И царские чиновники смекнули: испугался Куропаткин, вдруг кто-нибудь из иностранцев царю удивление выразит, и царь ему, Куропаткину, чтоб приличие соблюсти, по шапке даст. А там, глядишь, и новый от царя приедет и для острастки спервоначалу еще много шапок поснимает.

И вот, желая заранее себя обелить, царские чиновники и каратели стали обвинять во всем киргизов, против которых они — чиновники — действовали, мол, в порядке самозащиты. Они наполнили черносотенные газетенки свои воплями о «киргизских зверствах», в особенности расписывали страдания русских крестьянок, будто бы захваченных киргизами, зная, что это вызовет впечатление совершенно особого рода. Тотчас же русское правительство обратилось с официальным представлением к китайскому даотаю в Кашгаре, требуя разыскать русских женщин и детей и препроводить их российским властям.

В ноябрьский день, когда Чалагыз вместе с хозяйским приказчиком уехал продавать фрукты на базар в город Аксу, у его хибарки появились китайские стражники, с ними драгоман русского консульства. Говорят, Лена Королькова ехать не хотела, отбивалась, кричала, звала своего Чалагыза, но ее схвати-

ли, связали и увезли. Откуда ей было знать, что она нужна была царским слугам, чтобы оправдать поднятую ими шумиху.

Когда Лену привезли в Ташкент, две сотни благотворительниц — жен царских чиновников — с величайшим рвением и торжеством препроводили «несчастную жертву» в специально обставленный дом, окружили такой роскошью, какая крестьянской девушке и не снилась, и стали проводить с нею душеспасительные беседы. Потом повезли ее в Верный, где все началось сначала, потом по другим городам... Прошло некоторое время, шапка осталась на Куропаткине, и Лену за ненадобностью отправили обратно в село.

Здесь Федор Корольков, дядя ее, привязал Лену к телеге и, заголив племяннице подол, стегнул лошадей. Кругом стояли соседи, хмуро посмеиваясь: «Не бегай с киргизней, блюди закон». В ту же ночь со стыда Лена наложила на себя руки, серпом зарезалась.

Зимой один из крестьян видел и Чалагыза. Похудевший, не похожий на себя, вернулся он из-за гор, надеясь разыскать Лену. Жил он тем, что раскапывал из-под снега колосья неубранного ячменя и ел. Крестьянин рассказал Чалагызу о смерти Лены. А когда пришла весна и с полей Чуйской долины побежали ручьи, крестьяне обнаружили труп Чалагыза. Он лежал, скрючившись, возле могилы любимой.

Такова трагическая история этих Ромео и Джульетты Пишпекского уезда, которую рассказывают ныне сельские пропагандисты.

12. САХАРНАЯ ДОЛИНА

Прошло двадцать пять лет после смерти Лены Корольковой и Чалагыза Бейше. И вот год 1942-й, Чуйская долина, осень, киргизское селение Белек. В дом Суракан Кайназаровой, знатной свекловичницы, стучится русская девочка лет восьми. На ней лишь легкое платьице, ноги босы, голова не покрыта.

Девочка просит хлеба. Хозяйка дома выносит ей белую булку. На следующий день девочка снова стучится и говорит Кайназаровой: «Возьми меня в дочки!»

Слово за слово выясняется: зовут девочку Таня, живет она в городке Канте, что в центре Чуйской долины, отец ушел на фронт, мачеха выгнала из дому. Ища родственников, девочка добралась сюда. И здесь посоветовали добрые люди: «Иди к Кайназаровой, она берет детей, воспитывает, кормит». Вот и пришла!

Мы не будем описывать чувств Кайназаровой. Скажем только, что киргизская женщина взяла «в дочки» русскую девочку, умыла ее, накормила, одела и отправила в школу. Русское имя Татьяна зазвучало в устах Кайназаровой по-киргизски — Татына, то ли выговорить не смогла, а может, на первых порах так легче было почувствовать девочку совсем своей? Кто знает.

Прошло полтора года. Однажды к дому Кайназаровой, опираясь на костыль, подошел человек в шинели: «Я приехал за дочкой, говорят, она у вас живет». Кайназарова ввела гостя в дом, разыскала девочку, где-то игравшую с подругами, привела ее за руку к отцу и сказала с наивной и прелестной гордостью: «Вот твоя дочка, в третий класс перешла, обутая, одетая!»

Радушные хозяева, Кайназарова и ее муж, оставили гостя ночевать. А там уговорили отца Тани погостить день. И еще день. На третий, прощаясь, отец девочки сказал: «Пусть моя Таня пока остается у вас...» Он не договорил, но было понятно: он опять уходил на фронт, и ему спокойней было оставить дочь не дома, а здесь, у доброй киргизской женщины.

С фронта отец Тани не вернулся, погиб. Татына продолжала жить у Кайназаровой, окончила восемь классов школы, потом овладела мастерством приемной матери: тоже сделалась свекловичницей. Если рассказать о жизненном пути самой Кайназаровой, история эта обретет для вас совсем особый, волнующий смысл.

В детстве Суракан помогала отцу пасти скот. Он работал пастухом у русских кулаков в селе Сухулук в Чуйской долине. Четырнадцати лет Суракан продали за двух баранов и старую клячу мужу, пятидесятилетнему пастуху. Такие браки у киргизов были обычны.

Прежде киргизских женщин и девушек продавали, как скот, меняли на овец и охотничьих беркутов, дарили друзьям, проигрывали на скачках. После революции были найдены старые счета о цене киргизских девушек, которые шли в рабство — в хорошие годы «за цену сивого мерина», а в годы массового падежа скота от бескормицы—«за одно лукошко лука». В одной песне о судьбе женщины были такие строки: «Если расстелить ее горе по дороге, не хватит элечка, чтобы измерить его! Если собрать ее слезы, не хватит элечка, чтобы их осушить!» Элечек — невероятной длины широкая лента из тонкого белого полотна, которой киргизки обматывают свою голову.

До 1928 года бедствовала Суракан вместе с мужем, батрачила у баев и кулаков. Как-то раз Суракан принесла воду из пруда, в ней оказалась лягушка. Жена хозяина, озлившись, ударила молодую женщину ногой в живот. Суракан была беременна, от удара у нее случился выкидыш, она долго болела. И больше никогда не имела детей.

Хоть с мужем отношения у Суракан были хорошие, жить приходилось по старым обычаям: мужу не перечь, знай свое место в юрте — у двери, обходи старших сзади, убегай от родичей мужа (до первого ребенка каждая киргизка должна была так делать), не называй по имени мужнину родню... да мало ли было диких обычаев! — всего не перечтешь.

Наступили годы 1927—1930-й — годы революции в жизни киргизских женщин. Это было время, когда киргизки приходили в женотдел и спрашивали: «Можно ли мне назвать мужа по имени? Можно ли посмотреть тестю в лицо?» Услышав утвердительный ответ, они смеялись, как будто им сказали что-то забавное. Но глаза их светились счастьем. Это было время, когда женщины-дунганки уже участвовали

в собраниях, но еще сидели спиной к президиуму и голосовали не поворачиваясь. Это было время, когда в юрту работавшей в женотделе киргизки Курбан-Джан Задунбаевой ворвался подосланный баями убийца и с криком: «Ты здесь, переступившая законы аллаха!.. Комиссаром стала...» — вонзил в спину нож. Суракан работала в те годы в инкубатории птицесовхоза. Однажды она получила премию за большие выходы цыплят, и это сильно подняло ее в собственных глазах.

В 1930 году Суракан вступила в колхоз, который организовался в ее родном урочище. Работа в колхозе, уравнявшая женщин с мужчинами, еще больше поднимала киргизских женщин в собственных глазах. Я помню, как в 1930 году одна киргизка-колхозница, выступая на собрании, говорила: «Еду в конном строю с мужчинами и чувствую, как у меня растут крылья от гордости и веселья!»

Никто поэтому не удивился, когда в 1935 году на районном совещании свекловичниц, где обсуждали обращение Марии Демченко, на трибуну вышла Суракан Кайназарова, простая киргизка, и заявила, что будет соревноваться с прославленной украинской свекловичницей. И осень принесла ей победу: звено Кайназаровой собрало с каждого гектара пятьсот пятьдесят центнеров сахарной свеклы (столько же, сколько звено Демченко). Так к Кайназаровой пришла слава.

По железной дороге (ее она увидела впервые) поехала Суракан в Москву на совещание. В Кремле из рук М. И. Калинина получила Кайназарова орден Ленина. А дома в родной Чуйской долине ее встретили с таким почетом, который никогда не снился ни одной киргизской женщине. На заработанные деньги Кайназарова построила дом — первый дом в своей жизни (раньше в юрте жила). И когда Суракан въехала в него, с особенной остротой почувствовала: пуст дом, не слышно в нем ни детского смеха, ни плача, обделила ее судьба.

Тогда-то вместе с мужем решили они взять сироту и усыновить. С тех пор детский гомон не умолкает

в доме Суракан. Подрос первый сын, Кайназаровы взяли второго... Всего они воспитали восемь детей, среди них русскую девочку Таню.

Не умолкает в течение двадцати лет и слава Кайназаровой: каждый год выращивает она высокие урожаи свеклы, о ней пишут в газетах, премируют, посылают читать лекции другим свекловичницам. Всюду в Чуйской долине знают в лицо эту краснощекую, богатырского сложения, спокойную, веселую женщину.

Сахарная свекла — новая культура в Чуйской долине. Появилась она впервые тут в 1930 году и сразу дала невиданные урожаи при сахаристости значительно больше обычной. Природа словно специально предуготовила Чуйскую долину для посевов сахарной свеклы — нигде нет у нас для ее выращивания таких благоприятных условий почвы и климата. И Чуйская долина быстро превратилась в «сахарную долину». Среди ее свекловичных плантаций выросло пять сахарных заводов. А в центре долины построился даже городок, который так и называется — Кант, в переводе с киргизского — «сахар».

Тебя хвалить
У сердца не хватит слов,
Долина Чу,
Где дыни — горе под стать,
Где свекла есть
Побольше конских голов,
Где одному
Арбуза нельзя поднять,
Где сень ботвы
Тениста, как сень шатров,
Где сахар бел
И столько его у всех,
Что у людей
Он в кучах лежит, как снег... —

писал поэт Кубанычбек Маликов.

Суракан Кайназарова любит говорить: «Солнце — это сахар!» «Поймать» солнце и превратить его в сахар не так-то просто, это требует искусства, знаний, труда. Кайназарова училась у Марии Демченко искусству помогать растениям «ловить» солнце, извлекать из него сахар: была у нее в гостях на Украине. Училась и на Всесоюзной сельскохозяйственной вы-

ставке, где личному опыту Кайназаровой в 1939—1940 годах был посвящен целый раздел. В 1938 году на сессии Верховного Совета СССР Суракан Кайназарова встретилась с академиком Вильямсом, который дал ей немало ценных советов. В 1942 году она отдыхала в одном санатории с выдающимся биохимиком академиком Бахом и извлекла много знаний из бесед с ним. Удивительно ли (нет, все-таки удивительно!), что простая киргизская женщина, проданная четверть века назад за двух баранов и клячу, теперь читает русским и киргизам лекции по свекловодству, а ее звено стало школой звеньевых: больше двадцати учениц Кайназаровой возглавляют звенья в ее родном колхозе.

«Высокие башни измеряются длиной их тени, людская слава — числом завистников», — говорят в Средней Азии. С каждым годом все больше завистников становилось и у Кайназаровой. Они говорили: «На жирной земле и хозяин жиреет». Тогда Суракан решила взять под свое поле каменистый участок, где сняли самый плохой урожай. «Не бойтесь, — сказала она членам своего звена, — мы снимем два урожая: урожай свеклы и урожай гордости за свой труд!»

Писатель Баялинов, свидетель событий, интересно рассказывал, как Кайназарова принялась обрабатывать новое поле:

«Суракан знала, что взяла на свои плечи немалую тяжесть. Выиграть это еще не виданное в колхозе сражение с самой землей значило потрясти до самого основания представления о пределах могущества колхозного труда...

Она поехала к пастухам и уговорила их перегнать на ее участок отары овец. Суракан сама участвовала в откочевке, ведя стадо вместе со старым чабаном, — «чтобы не спутать адрес», как сказала она ему шутливо. Всю зиму Суракан возила на участок навоз, старательно смешивала его со снегом, жадно копила золу...

Как только сошел с полей снег, Суракан стала разбрасывать весь навоз так, чтобы каждый клочок земли получил свою долю пищи. И когда тракторный

плуг отвалил первые пласты земли, они заблестели на солнце, точно смазанные салом. А Суракан шла за плугом и, как говорили работники МТС, «пела свою песню»:

— Бери, голубчик, поглубже... Поглубже... Не оставляй огрехов. Окажи внимание земле.

И тракторист вспахал участок ровными, как линейки, бороздами, пласт к пласту, без единого огреха и на полную глубину. Да и можно ли быть небрежным, если женщина, идущая за плугом, собирает с борозды в бутылку жучков и червяков с такой тщательностью и строгостью, словно это хищные звери, угрожающие ее жизни?

Когда участок был вспахан, Суракан снова заботливо накормила землю: разбросала по ней золу и птичий помет — с щедростью, равной жадности, с которой она копила удобрения.

Еще и еще раз звено прошло по участку, выбирая из земли спрессованные тысячелетиями голыши: оставь их — и летом, под палящим зноем, они нагреются, как раскаленное железо, превратятся в сушилки, вокруг которых сохнет земля, расползается щелями, открывая солнцу доступ к корням».

Так Кайназарова превратила плохую землю в хорошую. И осенью собрала с двух гектаров, которые обрабатывала лично, почти по тысяче центнеров с каждого гектара! И ей присвоили звание Героя Социалистического Труда. И портрет ее был выставлен в Третьяковской галерее в Москве на Всесоюзной художественной выставке. Это ли не слава!

В стихотворении Алыкула Осмонова «Той, которая копает свеклу» есть такие строки поэтического диалога:

— Значит, раньше ошибалась наша бедная земля?
— Да, по тысяче с гектара дали нынче мне поля!
— Тысяча? Вот это славно! Руку дай поцеловать!
— Руки у меня в мозолях, землю долго отмывать...

Этот диалог киргизского поэта и киргизской колхозницы, Осмонова и Кайназаровой, зазвучит для вас со всей торжествующей силой, если вспомните вы, что Кайназарова вырастила и воспитала русскую девоч-

ку Таню, а Алымкула Осмонова, оставшегося в детстве сиротой, воспитанника Токмакского детского дома, выпестовала русская женщина, которой он посвятил стихотворение «Груне Савельевне», начинающееся так: «Из рук меня кормила ты, бывало, сластями, словно сына, баловала. — Пусть поправляется,—твердила ты, — он слаб... И на рассвете для меня вставала...» В чем еще дружба народов, населяющих Чуйскую долину, может проявиться сильней, чем в материнстве!

13. ЗЕМЛЯ ПАНФИЛОВЦЕВ

Селение Шалты. Островерхие тополя обступили улицу. Индейка, красуясь черным с бронзовым отливом оперением, идет вдоль канавы. Где-то невдалеке прогорланил петух. И никто из женщин не знает, какие чувства, какие воспоминания будит хриплый петушиный крик в сердце тракториста, который на «Универсале» катит с грохотом по сельской улице.

Бывало, в годы Отечественной войны пошлют в разведку, подползает боец к селу, сторожко прислушивается: какая из-за хат слышится речь, русская ли, немецкая? И вдруг загорланит петух. Усмехнется разведчик: раз петух жив-здоров, значит фашистов нет! И смело идет в село. Давно отшумела война, а нет-нет да вспомнится колхознику ненавистное лицо любителя чужой курятины, ворвавшегося было на советскую землю.

После войны, когда в Киргизии мать, прежде чем поцеловать пришедшего из армии сына, при встрече подходила к нему с ковшом воды и, по древнему обычаю, выплескивала воду через сыновнюю голову, — в те дни не было среди вернувшихся бойца, чей памятник стоит на высоком пьедестале в селении Шалты (сделав шаг вперед, он размахнулся, швыряя связку гранат): не было Дуйшенкула Шопокова, панфиловца, одного из двадцати восьми.

«Ну что же, друзья, опять танки. Их меньше чем по два на брата. Придется нам всем умереть. Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва!» Кто не

помнит этих вошедших в историю слов. Их воскликнул, обращаясь к бойцам, политрук Клочков-Диев, один из легендарных панфиловцев. И двадцать восемь человек преградили путь пятидесяти четырем вражеским танкам.

Мужественный не жмурится от лучей солнца, трус слепнет от света луны. Бойцы стали швырять связки гранат, вражеские танки один за другим начали загораться. Клубы черного дыма окутали поле битвы, занавешивая голые сучья деревьев. Решив, что перед ними сильно укрепленная линия, гитлеровцы на уцелевших танках обратились в бегство. Когда дым рассеялся, санитары подошедшей части подобрали на поле боя тела двадцати восьми смельчаков, не пропустивших врага в Москву.

316-я стрелковая, впоследствии 8-я гвардейская стрелковая дивизия имени Панфилова была сформирована в Киргизии и Южном Казахстане: в ней бок о бок сражались семиреченцы—русские, киргизы, казахи. Генерал Иван Васильевич Панфилов, прославившийся еще в годы гражданской войны как один из лучших командиров дивизии Чапаева, был перед Отечественной войной военным комиссаром Киргизской республики. Он тоже героически погиб, защищая Москву.

Вся Киргизия воспевала в дни Отечественной войны два подвига: боевой подвиг Кувата Джуматаева и трудовой подвиг Керимбюбю Шопоковой. Джуматаев, бывший секретарь Джалал-Абадского обкома комсомола, повторил легендарный подвиг матросов-севастопольцев, бросился со связкой гранат под гусеницы вражеского танка и взорвал его вместе с собой. А звено Керимбюбю Шопоковой, жены погибшего героя-панфиловца, вырастило возле селения Шалты за время войны столько свеклы, что сахара, выработанного из этой свеклы, могло хватить в течение пяти лет четырем тысячам человек.

«После ухода врагов воткни свой меч в землю», — говорят киргизы. Когда гитлеровские захватчики были разгромлены, колхозники Чуйской долины — русские и киргизские воины — воткнули свои мечи в зем-

лю, сменили мечи не на плуги, сменили их на тракторы и комбайны.

Уже задолго до войны тракторы вошли в быт крестьян Киргизии. Поезжайте в село Красную Речку, зайдите в ремонтно-тракторную станцию, спросите Петра Филипповича Бирюкова. Этот человек — живая история механизации сельского хозяйства Киргизии.

Шестнадцатилетним юношей, в 1928 году, вступил Бирюков в коммуну имени Фурманова, которая организовалась по соседству с его родной Красной Речкой в селе Ивановке.

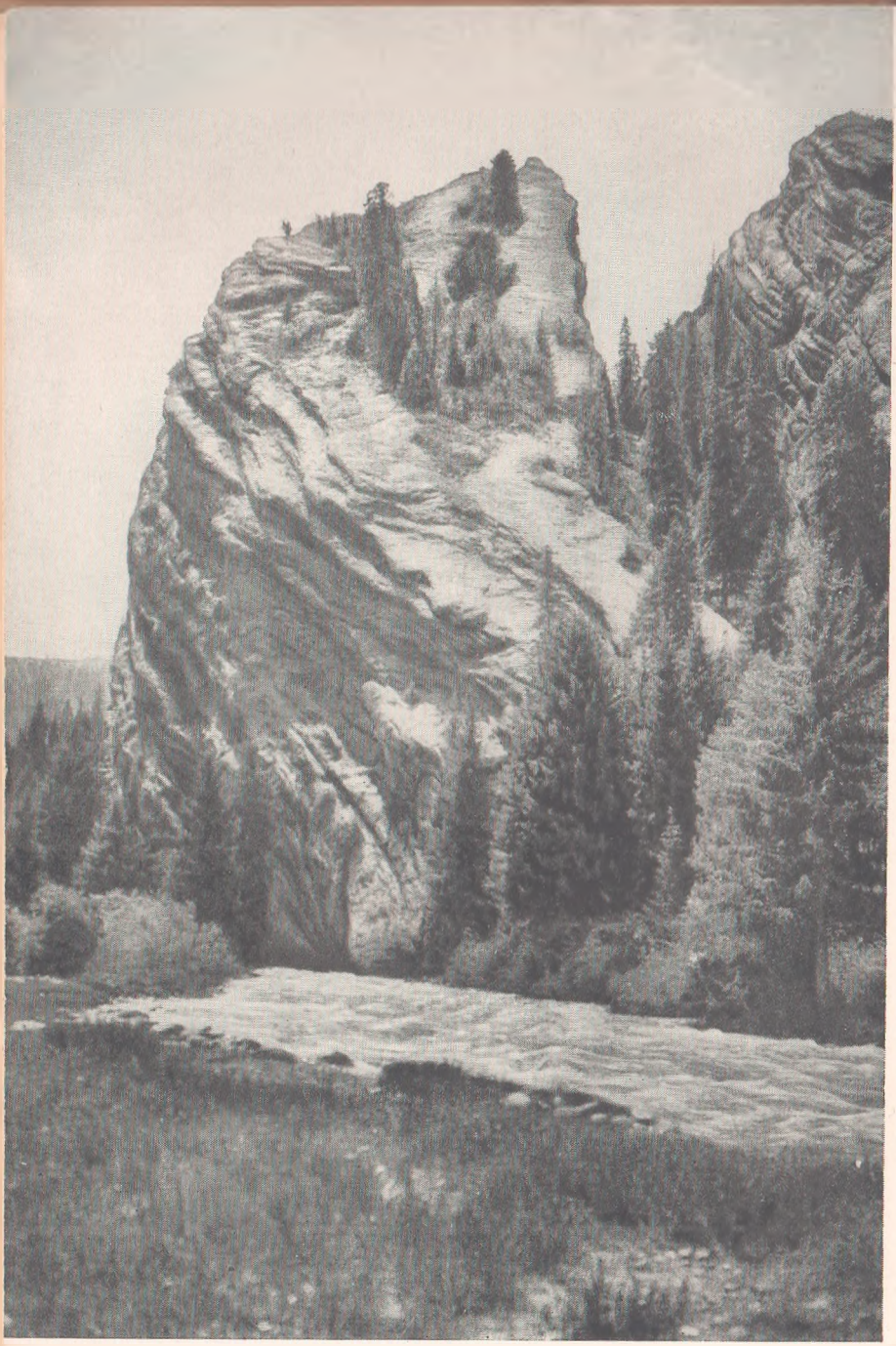
Коммуна послала Бирюкова в 1929 году на курсы трактористов. Тракторов на полях еще не было, но коммунары знали: в Сталинграде строился завод, тракторы будут, значит надо думать о трактористах.

Навсегда запомнил Петр Филиппович тот день, когда его вызвали во Фрунзе и вручили трактор. Самоходом из города погнал юноша трактор в Красную Речку. Какое это было торжество! Услышав теперь привычный, но тогда неслыханный, ни на что не похожий звук идущего трактора, в попутных селах изо всех хат сбегались люди. Бирюков то и дело останавливал трактор и, сидя наверху, неторопливо, с достоинством, как бывалый человек, отвечал на вопросы. Одна подробность, о которой ему рассказали в дороге, рассмешила юношу и увеличила полноту его торжества: группа суеверных киргизов, услышав гром его трактора, напуганная дикими, несообразными слухами, распространяемыми баями, бежала с семьями в горы. Потом была создана специальная комиссия земельного отдела — разыскать бежавших киргизов-кочевников и уговорить их вернуться.

До Красной Речки Бирюков добрался поздно вечером и потому завернул к себе во двор: ему хотелось по родной улице прокатиться утром при солнечном свете. Но на звук трактора тут же ночью сбежались односельчане. Кто-то принес лампу-«молнию», во двор повалили все новые люди. «Была у меня злая собака, — рассказывал Бирюков. — Так сперва она лаяла, охрипла, а потом и вовсе перестала гавкать.



Девочка-дунганка.



Дорога в Джеты-огуз.

привыкла, что народ ко мне ходит трактор смотреть. И уж кто ни войдет—хвостом вертит. Вот до чего все интересовались!»

Когда Бирюков выехал в поле пахать «общественную» землю, ему кулаки стали угрожать расправой. И однажды вечером при звездах они подстерегли его, набросили сзади на голову пиджак, исполосовали плетьми. Бирюков не сдался. «Дерево гнется, когда оно деревце, а мне скоро двадцать лет!» — сказал он друзьям, отлежался и выехал на поле опять.

Возвращаясь мыслью к тем трудным годам в жизни нашей деревни, я не могу не вспомнить (прежде чем рассказывать дальше про Бирюкова) о Карабалте Шамбетове, моем школьном товарище.

«О друг! Посмотри на мое лицо, как оно стало покрыто дырочками от разлуки...» Так начал Карабалта письмо ко мне в 1930 году. Окончив школу в Ташкенте, он уже шесть лет жил в родном селении и был единственным киргизом-комсомольцем в районе. Из его редких писем я кое-что о нем знал. Он описывал, как разогнал кулацко-байский аильный Совет. И как научил своего отца приготовлять превосходный борщ из щавеля и каких-то трав, заправляя его кислым молоком и густо посыпая красным перцем. И как байский «рыжий», под оглушительный хохот зрителей, тыкал бараний хвост себе в зубы и тер лицо кирпичом, насмехаясь над культурными навыками комсомольца. И как Карабалта научился у русского работать на тракторе: кто знает, быть может, учителем его был Бирюков, обучивший немало киргизов. «Приезжай, — писал мне Карабалта. — Для тебя всегда найдется тут дело». И я в том же 1930 году приехал в Киргизию.

До родного селения Карабалты добрался я поздно вечером. Освещенные сухим светом луны, вокруг меня толпились плоские крыши мазанок, поросшие ячменем и маком. У первой же мазанки я окликнул хозяев, но никто — ни человек, ни пес — не отозвался. Я пошел дальше. И у каждого дома протяжно кричал: «Джолдош! Товарищ!» Ни звука в ответ. В один домик я решился войти: приоткрыв дверь, громко по-

стучал в нее с внутренней стороны, потом зажег спичку — никого. Стало ясно: селение покинуто людьми. Тогда я остался в мазанке ночевать.

Всю ночь меня тревожили неясные подозрения. Несколько раз я выходил на воздух, прислушиваясь и вдыхая сырые испарения, поднимавшиеся над землей. Потом заснул. А на заре проснулся от конского храпа и человеческого голоса. Я вышел. По дороге мимо селения ехали два всадника. Раскачивая маленькими головами, под ними бодро трусили иноходцы. «Верблюды лежат в колючке, в сундуке виноград, плачет черноглазая моя...» — негромко напевал тот, что помоложе.

Я остановил всадников. Все объяснилось просто. Селение откочевало на джайлоо. Искать их нужно вон в той горной щели на пастбищах. Знают ли они Карабалту? Всадники помолчали. Тот, что постарше, худощавый, пристально поглядел на меня. Потом сказал просто:

— Убили. Карабалту убили баи. На похороны едем.

Он кивнул на поля, яркие от нежных стеблей, пробившихся из земли: «Это Карабалта вспахал трактором». И рассказал: когда весной трактор зарокотал на полях, баи поняли — их власть кончилась! Они пробовали юношу переманить на свою сторону. Напрасно! Тогда они стали ему угрожать. А вчера ночью Карабалта вышел напиться к ручью — и не вернулся. Его нашли утром с перерезанным горлом.

Мы поехали вместе: молодой киргиз отдал своего иноходца мне, а сам пристроился на коне позади своего пожилого товарища, которого он называл почтительно — Бейшеналы-агай, что значит «дядюшка Бейшеналы». Миновав два горных увала, пересекающих Чуйскую степь, мы увидели похоронную процессию.

На носилках, сделанных из тонких еловых стволов и ветвей, завернутое в мешок, покачивалось тело умершего. Около ста верховых киргизов ехало следом. Рядом с покойником мальчишка лет десяти вез венок из еловых веток, держа его над лошадиной

мордой. В венок была вплетена старенькая красная лента.

— Вон и баи едут! — показал мне Бейшеналы на лисью шапку бая, трусившего на иноходце в толпе киргизов.

Карабалту, по обычаю, похоронили у края дороги. Над открытой могилой мой спутник произнес речь.

— Дорогие товарищи! — сказал он. — Баи вырвали из наших рядов преданного друга и бойца! Но мы не заплачем, товарищи! Велико наше горе, но и сила наша огромна! Товарищи, ударим же по баям трактором! Скажем им: кончилась ваша власть! И выметем навсегда вон манапско-байскую гидру! Вступайте в партию! Мы победим, товарищи!

Так и запомнились мне — эта речь и невысокая пирамида из сырца над могилой, затерянная среди холмов и облаков у края дороги.

Прошло двадцать пять лет. В селениях Чуйской долины русские девушки теперь поют:

Мимо нашего двора
Проезжали трактора.
Сто четыре трактора
Колхозного характера.

Насколько «характер» у трактора в Киргизии колхозный, общественный, ясно видно, ну, хотя бы если рассказать о борьбе краснореченских трактористов с самым страшным врагом тракторов в Чуйской долине — с камнями.

Острые и гладкие, круглые и продолговатые, они разбросаны всюду. Их убирают с дорог рабочие, их выворачивают из пашен лемехи тракторов, и колхозники складывают их в кучи на краю полей. И работы этой хватит им еще надолго, ибо в течение сотен тысяч лет горные потоки стаскивали вниз осколки скал с горного хребта, протянувшегося вдоль Чуйской долины, ибо на протяжении тысячелетий их заносила сюда и случайная рука человека: первобытный ли жернов нужен был ему, наконечник ли для булавы или просто широкий камень, на котором удобно сидеть вечерами в кругу друзей.

Трактористы средней полосы России удивятся, если узнают, что есть у нас в стране районы, где приходится по три раза в день менять лемехи и наваривать. В Чуйской долине лемех плуга, вспахав один гектар, теряет двести граммов железа. Лемеха превращаются тут буквально в огрызки. То и дело плуг трактора натыкается на большой камень и с лязгом выскакивает из борозды, оставляя огрех.

И вот, было это в 1951 году, в Краснореченскую МТС приехал из Москвы инженер Всесоюзного института сельскохозяйственного машиностроения. Он изучил здешние условия и предложил свой новый оригинальный метод реставрации лемехов. Шихтованные по способу этого инженера лемехи испытали в бригаде Бирюкова; оказалось, они выдерживают сорок-пятьдесят часов работы. Теперь другие трактористы Киргизии перенимают опыт краснореченцев.

Именно как неутомимого новатора знают Бирюкова в его родной долине. Однажды осенью 1954 года, когда свекловичная ботва на полях начала краснеть и наступила горячая пора копки сахарной свеклы, на поле краснореченского колхоза имени Ворошилова над свеклокомбайном (новой машиной, впервые тогда присланной) склонились Бирюков и инженер из конструкторского бюро завода. Инженер приехал специально из Харькова — посмотреть, как ведет себя машина в условиях Киргизии. Они перевинчивали какие-то пружины. В стороне стоял забрызганный арычной грязью бирюковский мотоцикл. А рядом на лошади, косящей глазами, норовистой, беспокойной, по крупу которой то и дело пробегала мелкая дрожь, сидел колхозный бригадир, молодой парень, и устало, но все же достаточно истошно кричал: «Не пущу на поле твою машину!.. Не дам свеклу губить!..» — и размахивал зеленовато-грязным огрызком рассеченной пополам сахарной свеклы.

Бирюкову, как видно, крик парня в конце концов надоел, он обернулся и спросил резко: «Чего ж ты хочешь?» — «Хочу! — закричал бригадир с новыми силами. — Я хочу, чтоб свекла целой была! Вот чего я хочу!..»

Бирюков выпрямился, неспешно оторвал от брюк прицепившийся репейник, усмехнулся:

— Неразумному ребенку луну с неба подавай!

И опять склонился над свеклокомбайном. Парень будто только ждал этого и поднял такой крик, что даже хмуро стоявшие в стороне и явно державшие его сторону две женщины-свекловичницы фыркнули. Однако и это не остановило его. Бирюков молча кончил перевинчивать пружины, вытер руки тряпкой и неожиданно прервал парня:

— Я твой крик уже слышал. На этом самом месте в 1933 году.

— Когда, когда? — удивился парень.

Бирюков спокойно повторил:

— В тридцать третьем...

— Да ты... да я... — парень задохнулся от негодования. — Мне было тогда всего... шесть лет!

— Ну не ты, так другой, — добродушно согласился Бирюков. — Так же вот стоял, так же кричал. Когда я первый раз выехал хлеб убирать комбайном. «Не пущу! — кричал. — Не дам хлеб портить! Сначала отрегулируй, а потом в поле выезжай!» — «Да ведь мне, чудак-рыбак, надо на хлебе регулировать!» Знать ничего не хотел! Так пришлось, поверишь ли, тайком, урывками, по ночам, когда никто не видал, регулировать. Надо бы теперь тот комбайн в музей сдать, да тебя туда на экскурсию повести, может умней станешь.

Бирюков повернулся к комбайнеру: «Давай!..» Свеклокомбайн двинулся по полю. А Бирюков подмигнул парню, все еще не пришедшему в себя, сказал:

— Купи себе, брат, соску. Ее выдумали давно. Проверенная! — и пошел вслед за машиной.

«Мы, панфиловцы...» — мог бы сказать о себе Бирюков. Он никогда не служил в Панфиловской дивизии и в дни Отечественной войны был с танковыми частями Советской Армии в Иране, участвовал там в войне совсем другого рода—войне с эпидемией паппатачи (особой азиатской лихорадки). Но панфиловское знамя овеяло славой своей всех воинов Кирги-

зии, и после победы большинство из тех, кто вернулся в деревню, сделались механизаторами, да и какое в конце концов имеет значение, кто где служил!

Раз ты, читатель, уже приехал в Красную Речку, я расскажу тебе о недавнем директоре Краснореченской МТС Анатолии Петровиче Чубарове, человеке замечательной судьбы! До войны, юношей, он мечтал стать агрономом и поступил учиться в сельскохозяйственный институт. «Я хочу, чтоб звенела гитара, песня которой чем-то похожа на песню серпа...» Эта строка уругвайского поэта Энрике Амориа как нельзя больше подходит, чтобы передать душевное состояние Чубарова перед войной.

Он мечтал о земле, но война заставила его взлететь к небу. Его отправили в летную школу, и он стал летчиком-штурмовиком. Гитары на земле умолкли, заговорили пушки. И рокот мотора чубаровского «Ила» не был похож на песню серпа. Трижды Чубаров горел в самолете (один раз — под Сталинградом). И каждый раз, едва выписывался из госпиталя, он вновь садился в самолет. О нем можно было сказать словами эпоса, что он «бьется, как тысячерук!». Лицо его было все сожжено, но глаза сохранились.

И едва прогремел залп победы, Чубаров обратил глаза свои (единственное, что осталось неизуродованным на лице!) с неба на землю, снова сел на студенческую скамью, стал спустя несколько лет агрономом и возглавил старейшую в республике МТС. Многие годы, когда какая-нибудь МТС отставала, не справлялась с планом, республиканские руководители обращались за помощью к Чубарову: «Дай комбайн на недельку тем-то... Дай на десяток дней трактор этим... Сам-то уж как-нибудь обойдешься...» Обращались к Чубарову, ибо за ним прочно установилась слава человека, который никогда не прячется за «нет»! Панфиловец! — можно сказать и о нем.

Интересная деталь: со своими товарищами по оружию Чубаров часто встречался и после войны. По его вызову они прилетали — летчики Киргизского авиаотряда, и рокот моторов их самолетов был похож (да,

ныне чем-то очень похож) на песню серпа. Эти летчики — небесные земледельцы.

Весной, едва с полей чуйских колхозников сойдет снег, уже рокочут в небе самолеты сельхозавиации: они подкармливают озимую пшеницу суперфосфатом. Потом, когда поля сахарной свеклы и хлопка покрываются листьями, летчики с воздуха подкармливают и их. Стоит заболеть свекловичному полю мучнистой росой или в каком-нибудь саду завестись яблоневой моли, как над этим полем и садом тоже появляется самолет. Он проносится туда и обратно, и из-под его крыльев длинным шлейфом — сероватым, желтым или белым — распыляются химикаты. Самолеты сельхозавиации вошли в быт чуйских колхозников, давно сделались обычными, примелькались и никого уже не удивляют: ни русских, ни киргизов.

14. ОТ ЧУМЫШСКИХ СКАЛ ДО ОРТО-ТОКОЯ

Давшая имя Чуйской долине, Чу — река удивительная: у нее нет устья. Начало она берет в горах Тянь-Шаня, на высоте почти в пять тысяч метров. Прыгая с каменного уступа на уступ, сливаясь с другими потоками, она долго и упорно пробирается к горному озеру Иссык-кулю. Наконец, попав в Иссык-кульскую долину, бежит прямо к озеру. Но вместо того чтобы влиться в него, немного не добежав до озера, Чу, будто испугавшись чего, метнулась вбок и прорывается сквозь гигантские хребты на степной простор. Здесь, многоводная и быстрая, она орошает часть громадной Чуйской долины — разбегается по каналам. А основное ее русло исчезает в казахстанских песках.

До революции воду в Средней Азии продавали, ее захватывали, из-за нее дрались и воевали. Правда, уже в древности некоторые властелины Средней Азии сгоняли своих подданных на строительство больших каналов. Но каналы эти были слишком велики, чтобы после смерти властелинов десятки враждовавших между собой феодалов могли сговориться

об уходе за ними, сказано ведь: «Две бараньи головы не поместятся в одном котле!»

Социалистическая революция отобрала киргизские реки у мырапов, «князей воды», и передала воду трудящимся людям. Война с пустыней впервые за тысячелетия стала делом общенародным. Советские ирригаторы и гидротехники повели на нее широкое наступление. И самый крупный шаг этого наступления в Киргизской республике — реконструкция реки Чу.

В 1930 году началось строительство Чумышской плотины. Около ноздреватых и голых Чумышских скал река Чу была перехвачена бетонной перемычкой. Два больших магистральных канала — Атбашинский и Георгиевский — прорезали Чуйскую долину. И в 1934 году по ним хлынула вода. «Рождена у снежных вершин, бурно вниз стремится она. По ущельям, с высоких скал падает, дробится она. Рвется из подземных глубин, словно из темницы,. она... Сердцем щедрая, с высоты в мир широкий мчится она...» Эту «Песню о воде» Алымкула Усенбаева слышишь в звоне всех арыков на полях Чуйской долины, орошенных новыми каналами. Около семидесяти тысяч гектаров земли удалось оросить с помощью Чумышской плотины. Это был первый шаг наступления на пустыню в Чуйской долине. Вслед за тем гидротехники вместе с колхозниками перестроили старые и воздвигли новые оросительные системы на маленьких речках, сбегающих с гор в Чуйскую долину. И, наконец, началось генеральное наступление на пустыню. Советские люди принялись за строительство Большого Чуйского канала и Орто-Токойского водохранилища.

«Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно реальной действительности сокращается с невероятною быстротою», — говорил А. М. Горький. Мечта быстро воплощается в жизнь, поэтому живо интересует всех. Стоя вместе с вами у головных сооружений Большого Чуйского канала, ваш спутник, местный человек, обязательно расскажет вам не только о том, что вы

видите своими глазами — о канале, но и обо всем Чуйском строительстве. Однако так как сердце этой стройки находится далеко отсюда — в глубине гор, в ущелье Орто-Токоя, куда мы с вами сейчас держим путь, об этом там и расскажем (несколькими страницами ниже), а здесь ограничимся несколькими фактическими справками о канале.

По проекту Большой Чуйский канал будет состоять из Западной ветки (длина сто семьдесят пять километров) и Восточной ветки (длина сто двадцать километров): сооружение примерно такой величины, как знаменитый Большой Ферганский канал. В 1941 году, в канун войны, десятки тысяч колхозников вышли на трассу БЧК и прорыли семьдесят километров его Западной ветки. Война прервала стройку. Однако строители все же головные сооружения доделали, заковали их в бетон и камень. И в первую же военную весну вода пошла на новые поля в Чуйской долине. Кроме того, на канале воздвигли одну за другой электростанции, давшие ток фрунзенским заводам и фабрикам: новый канал стал «рекой электричества». А спустя несколько лет после войны колонны экскаваторов, бульдозеров, скреперов и других машин опять двинулись на трассу канала.

Но откуда взять воду, чтобы ее хватило наполнить Большой Чуйский канал, чтобы разбежаться ей по сотням тысяч мельчайших канавок и чтоб в каждой звучала та же песня: «Ты несешь, куда ни придешь, радость и цветенье, вода! Одеваешь сады весной ты зеленой сенью, вода! Скалы завораживаешь ты волшебным пеньем, вода! Слушал я в ущелье ночном шум твой и кипенье, вода! Подошла косуля к тебе осторожной тенью, вода...» Ведь в Чу в дни полива остается воды чуть-чуть, даже и думать нечего, чтобы хватило ее! Ответ на наш вопрос мы получим в глубине гор — в Орто-Токое. Направим же туда нашу машину.

От головных сооружений БЧК мы выезжаем на Чуйский тракт и почти сразу попадаем в Токмак. У этого города давние счеты с рекой Чу. Расположенный на ее берегу, Токмак был первым админи-

стративным центром Чуйской долины. Вероятно, так бы он им и остался и даже, быть может, в наши дни сделался бы столицей Киргизии, если б не река.

Зимой 1878 года на ней выше Токмака образовался ледяной затор, Чу вышла из берегов и хлынула на город, смывая все на пути. Токмак был разрушен водами реки столь основательно, что его надо было воздвигать вновь. И царские чиновники решили убраться подальше от своенравной реки, перенесли административный центр в Пишпек. А Токмак захирел, превратился в большое село. В 1900 году Чу еще раз набросилась на Токмак, и только тогда здесь догадались возвести небольшую оградительную дамбу. Но лишь при советской власти Токмак вновь начал бурно расти. Однако Фрунзе ему было уже не догнать.

Зеленый, весь в садах и виноградниках, Токмак величают «соловьиным городом»: весной в его приречных зарослях и садах по ночам без устали поют, щелкают, рассыпаются трелями соловьи. Но когда проезжаешь Чуйским трактом по окраине города, думаешь не об этом. Поток автомашин заставляет вспомнить, что в Токмаке — большой авторемонтный завод. Идут, громыхая, грузовики и на Токмакский механизированный маслозавод, на сахарный завод, на консервный завод — где делают яблочный джем, повидло, томат-пюре, баклажанную икру, консервированные кабачки, патиссоны и другие консервы из фруктов и овощей.

Покидаешь «соловьиный Токмак», едешь дальше по Чуйскому тракту. Теперь Чу бежит навстречу, бежит почти рядом по камушкам в широкой пойме. Попутные селения становятся все реже. Со всех сторон на тракт надвигаются горы. Мы прощаемся с Чуйской долиной. Несколько поворотов — машина въезжает в Боомское ущелье. И шум мотора сливается с шорохом гравия под колесами машины, а потом и с песней реки, ревущей внизу.

Глаз не успевает привыкнуть к пепельно-зеленым и фиолетово-синим громадам голых скал, обступивших ущелье, как слева проплывают два моста через

Чу: один глубоко внизу — старый Семеновский мост, названный в честь Семенова-Тян-Шанского, переправившегося в этом месте вброд через Чу в его первую экспедицию на Тянь-Шань, второй — новый, построенный одновременно с автомобильной дорогой в долину Чон-Кемина.

Остановим машину недалеко от моста — там, где, перекатываясь через огромные камни, бурлящими потоками впадает в Чу река Чон-Кемин. «Это водопад, разбивший и раскрошивший скалу, с которой он падал, и сам разбитый этим усилием», — писал Северцов об этом месте.

Чон-Кеминский тракт, построенный в 1935 году, был одной из первых автомобильных дорог, пробитых советскими людьми сквозь скалы Тянь-Шаня.

Оседланный киргизский иноходец, осторожно ступающий по каменистым осыпям, умеющий преодолевать крутизну, бодро трусящий над пропастями, пересекающий бешеные потоки по перекинутым с берега на берег шатким жердям, на которых для устойчивости положены большие камни, — таков был прежде основной вид транспорта на тянь-шаньских хребтах. Все вьючные тропы Киргизии были выбиты копытами животных, и это отражено в их названии: по-киргизски тропа — «кой джол» — овечья дорога.

Кроме кой джолов, существовала у киргизов одна грандиозная дорога — куш джол. Но трасса ее проходила не по земле, а по небу: куш джол — дорога перелетных птиц — киргизское название Млечного Пути. Расстояние между овечьей и звездной дорогами — так на киргизский лад звучит тема, волновавшая человечество тысячелетия, тема противопоставления земли и неба — тяжкой, безысходной действительности и далекой, неосуществимой мечты. Стоит взять любой участок социалистического строительства, хотя бы прокладку дорог в Киргизии, чтобы увидеть, как тема эта получила свое историческое разрешение.

Уку Тавалдыев — суеверный пастух, боявшийся, вероятно, и адского огня и волосяного моста для грешников, был одним из строителей Чон-Кеминской

дороги. Жизнь его до того казалась застывшей и неизменной: день за днем, год за годом водил он по пастбищам овечью отару, и постоянным собеседником его был бич, которым он стрелял поразительно гулко, чтобы все люди окрест знали: «Здесь Уку Тавалдыев пасет овец». И вот биография его стала измеряться километрами новой дороги.

На первом километре, дрожа от страха, он запалил фитиль шнура, протянутого к заряженной аммоналом скале, и потом, отбежав насколько хватило сил, присел на корточки, зажал ладонями уши и с ужасом ждал взрыва. Спустя две недели, на третьем километре, он уже приглашал навещавших его односельчан полюбоваться картиною взрыва и снисходительно подтрунивал над их робостью. На пятом километре он первый раз в жизни, правда еще по складам, прочел в газете написанную о нем заметку. А на десятом километре газету читал уже свободно и несказанно насмешил дорожных техников задумчиво сказанной фразой, что «земля вроде как бы земля, а на самом деле шар». Мир оказался сложней, чем ему рисовалось раньше. В Тавалдыеве пробудилась жажда знаний.

На пятнадцатом километре он уже понимал толк в аммонале (который тут называют шутливо — Аманбек-батыр) и сдал испытания на звание мастера взрывных работ. На двадцатом километре он и его бригада дали самые высокие производственные показатели и возглавили социалистическое соревнование. Когда все двадцать пять километров пробитой в скалах дороги были закончены и первый автомобиль при громадном стечении народа привез товары в его родное селение, на празднике, устроенном в честь этого события, народные певцы сложили о Тавалдыеве песню:

Шла к горам волна, волна из золота,
Билась в скалы и назад откатывалась,
Лишь взлетали брызги вверх по тропочкам,
Лишь привез ты как-то ситец бабушке.
Ай, Тавалдыев, приятель наш!
Проколол ты горы длинным вертелом,
Начал жарить их, как диких уточек,

Разлетались скалы, словно перышки.
Очень страшно стало твоей бабушке.
Ай, Тавалдыев, приятель наш!
И идет теперь волна из золота,
Сквозь хребты прошла она и кинулась
Золотой рекою к нам в селение.
Прибежала в лавку твоя бабушка.
Ай, Тавалдыев, приятель наш!
Накупила десять платьев бабушка,
Двадцать туфель накупила бабушка,
Скоро сто наперстков купит бабушка!..
И смеемся мы с тобой над бабушкой.
Ай, Тавалдыев, приятель наш!

Песня эта пошла кочевать по горам: так к Тавалдыеву пришла слава. А Чон-Кеминская дорога стала дорогой в жизнь для десятков строивших ее колхозников и для целого района Тянь-Шаня.

После этой много новых автомобильных дорог пролегли в глубь Тянь-Шаня. Кроме них, воздвигнута и новая железная дорога Фрунзе — Рыбачье, вдоль которой Боомским ущельем едем мы с вами к Орто-Токою.

В 1908 году этим же путем по старому тракту проехала экспедиция изыскателей-путейцев. Они пришли к выводу, что сквозь Боомское ущелье невозможно проложить железную дорогу. Скептические выводы специалистов вызывают улыбку теперь, когда здесь идут поезда, и даже птицы привыкли: их окутывает дым паровоза, они сидят на скалах и не улетают.

Мы едем Боомским ущельем. Под нами меж скал, наполняющих ложе реки, мчится бешено Чу. Над нами громады скалистых гор — каменные стены темно-лилового и темно-зеленого порфира, черного диорита, красновато-серого гранита. Местами на склонах длинными пятнами выделяются курумы — каменистые осыпи: розовые — песчаника, пепельно-серые — каких-то других горных пород. И выше автомагистрали справа по склону гор вьется на искусственно созданной «полке» железнодорожная колея.

А над этой «полкой» в опасных местах проложены еще три такие же «полки». Зачем? Чтобы защитить железную дорогу от камнепадов. Покатится с горно-

го гребня кусок скалы, упадет на «полку», застрянет. Перекатится через первую — на второй остановится. Остроумно придумано! Только в середине шестидесятикилометрового Боомского ущелья обе дороги по мостам переходят на правый берег реки и дальше идут уже, как обычно, по дну ущелья — рядом с Чу, белая пена которой катится меж зеленых, поросших кустарниками берегов.

Когда выезжаешь из Боомского ущелья, видишь синеву Иссык-куля: к ней уходит дорога в Рыбачье. Но мы сворачиваем вправо на шоссе, тоже гудронированное, идущее в центральный Тянь-Шань, переезжаем (в Иссык-кульской долине) русло Кутмалды, по которой Чу в паводок сбрасывает часть своих вод в Иссык-куль. И машина опять углубляется в горы, сворачивая от Тянь-Шаньского магистрального шоссе вдоль Чу, которая кипит, и пенится, и воет, бросаясь на прибрежные скалы и кустарники. Еще несколько километров, и мы въезжаем в теснину Орто-Токоя.

Говорят, среди бухгалтеров есть свои поэты. Говорят, они испытывают истинное вдохновение, ритмически щелкая костяшками на счетах, а сухие колонки цифр звучат для них как лирические стихотворения. Я охотно верю этому, хотя сам, как и прочие смертные, не посвященные в тайны бухгалтерских терминов, никогда ничего подобного не переживал. Но бывают в жизни народа такие события, что каждая повествующая о них цифра становится поэмой для всех. Именно такое событие завершается в Орто-Токойском ущелье, и я позволю себе начать рассказ о нем с поэзии цифр.

Ученые подсчитали, что река Чу, — если собрать и сохранить воду, которая зимой и в паводки уходит бесплодно в низовья, — может оросить (кроме двухсот тысяч гектаров, которые она уже орошает) еще около ста двадцати пяти тысяч гектаров земель. Иначе говоря, в главной земледельческой долине Киргизии — Чуйской и в прилегающей части Южного Казахстана Чу напоит водой в полтора с лишним раза больше посевов, чем поит сейчас. Так родилась мысль о постройке Орто-Токойского водохранили-

ща — колоссальной копилки паводковых и зимних вод — и двух веток Большого Чуйского канала, о которых мы уже говорили.

Примерно полмиллиарда кубов воды будет собирать чаша Орто-Токойского водохранилища. Для этого воздвигнута плотина высотою в пятьдесят восемь метров, перегораживающая ущелье; пробит сквозь скалы тоннель длиной в пятьсот семьдесят шесть метров, по которому вода из чаши Орто-Токоя пропускается в реку; к тоннелю сквозь каменные стены ущелья проложен подводящий канал; сооружен катастрофический сброс, чтобы в такие паводки, когда они грозят стихийным бедствием, сбрасывать в русло Чу лишнюю воду; построен и нагорный канал на каменной стене ущелья, чтобы защитить сооружения от силевых потоков (во время ливней в горах ручьи иногда выходят из берегов и мчатся по склону, увлекая за собой камни и грязь; какую беду может наделать силевой поток, станет ясным, если сказать, что одна из рек Тянь-Шаня, по свидетельству известного киргизского географа Б. А. Лунина, «во время силя за четыре часа принесла столько камней, песка и глины, что для их погрузки потребовалось бы две тысячи двести семьдесят пять товарных поездов»). Чтобы покончить с цифрами, скажем, что все это воздвигнуто на высоте тысячи семисот пятидесяти метров над уровнем моря: никогда еще на такой большой высоте такого сложного гидротехнического сооружения у нас не строили!

Мне посчастливилось попасть в Орто-Токой в знаменательный день, в день сбойки тоннеля. Тоннель проходил с двух сторон навстречу. Взрывами дробили сиениты — одну из самых твердых пород. Шурфы проделывали бурами с наконечниками из победита: никакой другой металл не мог устоять — сдавал. В день сбойки с обоих концов у порталов тоннеля собрались, как на праздник — с баянами, со знаменами, строители Орто-Токоя. Из подземного коридора глухо загремели взрывы — целая серия взрывов. И когда рассеялись газы, в тоннель хлынули люди. В бреши две бригады встретились. С волнением вспо-

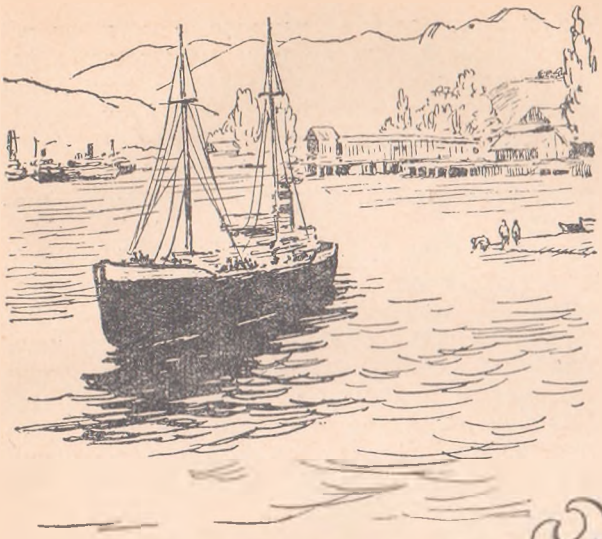
минаешь их рукопожатия, их объятия, их счастливые лица теперь, когда в этом месте по подземному коридору уже течет река Чу.

В тот день побывал я и на строительстве плотины. Незабываемое зрелище! Меж колоссальных груд земли по грунтовым дорогам шли цепочкою автосамосвалы. Кругом на большом пространстве двигались экскаваторы, бульдозеры, тракторные скреперы, двадцати- и тридцатитонные катки. Гул моторов доносился отовсюду, в него врезались скрежет и лязг экскаваторов, нетерпеливые сигналы самосвалов, ждущих своей очереди, и медлительный шум реки, нараставший, когда приближаешься к ней, и, когда отдаляешься, быстро сходивший на нет.

Один молодой киргиз-экскаваторщик, стоя у пульта управления своего механизма, глядя на картину строительства, сказал фразу, врезавшуюся мне в память:

— Раньше необъятный мир представлялся мне не шире ладони!

Как видно, он хотел сказать, что здесь, на строительстве Орто-Токоя, с высоты своего механизма он увидел весь мир. Что ж, так оно, наверно, и есть. Большая стройка невиданно раздвинула горизонты киргизского народа, заставила его пристально посмотреть и на свои родные горы, и на жизнь других советских народов, и на ту борьбу, которую ведут коммунисты всех стран за творческую жизнь для каждого человека, за счастье народов, за мир. Недаром на Орто-Токое многие мальчики, родившиеся здесь, получили новое имя, возникшее в последние годы — Тынчтык, в переводе с киргизского — Мир.



ВОКРУГ ИССЫК-КУЛЯ

1. КИРГИЗСКОЕ МОРЕ

Озеро трепещет в бухте светлым пламенем. У причала водного вокзала матросы швабрами моют палубу товаро-пассажирского теплохода. В стороне, на барже, рядом с новенькими автомобилями, машут хвостами пятнистые коровы. А с кормы буксирного парохода, что стоит на рейде, доносится негромкая песня киргиза-матроса: «Милая, ты белый лоб, и я белый лоб. В мире нет больше такого человека, как ты, дорогая. Как с неба беркут, спустился я к тебе, дорогая. Какой дашь мне подарок?..»

В мелодию этой песни — нежную, с мягкими переходами, и в особый шум прибоя, рассекаемого деревянными сваями эстакад, вплетается скрип лебедок, и дробный перебор моторки, и пение электрической пилы, и бой судовых склянок. А когда наступает мгновение тишины, сюда долетает иногда и крик летящей горной утки-атайки, похожий на громкое мурлыканье кошки.

Позади, вдоль берега, поросшего яркой травой, но сильно замусоренного, сереют постройки пристани, где автокран, поворачиваясь, поднимает связку бревен; где сквозь сетку поднимающихся и опускающихся подъемных механизмов кажется, что все движется: и заборы, и прикрытые брезентом части машин, и кучи угля, и какие-то бочки; где то и дело открываются ворота складов, впуская и выпуская грузовики; где, наконец, как бы объединяя эту картину, за пристанью стоит на путях товарный поезд: в него грузят золотое иссык-кульское зерно из элеватора, что высится над портом подобно огромному береговому утесу.

Глянешь еще дальше вдоль берега — сушатся развешанные на кольях рыбацкие сети. А киргиз-матрос все поет, поет, и песня его далеко слышна на воде: «В Атбаши две лошади ели соль. Одна из них покачивалась, потряхивая челкой. Лошадь прибежала издалека, а совсем сухая. Благополучна ли ты, о дорогая и милая моя?..» И за буксирным пароходом, с кормы которого доносится песня, за парусом баркаса, бороздящего воду, за всею бухтой простираются синие воды Иссык-куля, ограниченные снежными горами, которые выходят прямо из синевы.

Иссык-куль! Киргизское море! С юга и с севера двумя мощными, сходящимися на концах дугами его опоясывают горные хребты Кунгей-алатоо и Терскей-алатоо. По-киргизски кунгей — обращенный к солнцу, терскей — противоположный, то есть отвернувшийся от солнца. Словно гигантское зеркало солнечной силовой установки, вбирает в себя солнечные лучи водная гладь озера. За лето вода так прогревается, что зимой, перемешиваясь, не успевает

отдать все тепло и не замерзает, несмотря на большую высоту над уровнем моря — тысяча шестьсот девять метров. Хотя зеркало Иссык-куля в десять раз меньше зеркала Аральского моря, воды в нем в два раза больше, чем в Арале. Глубина его доходит до семисот двух метров: из озер Европы и Азии только Байкал и Каспий глубже.

В переводе с киргизского Иссык-куль — Горячее озеро. Же-хай—теплым морем—окрестили его в древности и китайцы, вероятно именно потому, что зимой оно не замерзает и на нем зимуют лебеди. Да и теперь в зимние вечера, когда в Рыбачьем умолкает гром грузовиков, горожане слышат с озера трубные крики лебедей. Как раз зимою охотники ловят на Иссык-куле лебедей для зоопарков. Птицы в эту пору жирны, поднимаются с воды нехотя. За ними гонятся на моторках. Хлопая широкими крыльями, лебеди мчатся над водой, не в силах от нее оторваться, и лапы их оставляют на воде цепи пенистых «лепешек». Охотники их гонят и гонят, пока лебеди не утомятся. Тогда их берут живьем.

Размывая на своем пути горные породы, ручьи растворяют минеральные соли и несут в озеро. Поэтому вода в Иссык-куле солоновата и с каждым тысячелетием становится солоней. Соленость Иссык-куля дала повод для смешных преувеличений.

Историк Мухаммед-Хайдер Дуглат писал в XVI веке в своем сочинении «Тарихи-Рашиди»: «Вся вода, текущая в Иссык-куль, пресна и приятна на вкус, но как только она входит в озеро, она становится такой горькой и соленой, что ею нельзя пользоваться даже для умывания; если она попадает в глаза или полость рта, она вызывает серьезное воспаление; на вкус она также неприятна. Она замечательно чиста и прозрачна, так что если налить этой воды в китайскую чашку, то на дне не останется никакого осадка».

Прозрачность воды в Иссык-куле (правда, не в Рыбачьем, а к востоку от него) и впрямь удивительна. Рыболову там следить за поплавком незачем: суетливые стаи рыб и извивающийся червяк на крюч-

ке ясно видны. Даже на пятнадцатиметровой глубине отчетливо видна лежащая на дне банка из-под консервов. Благодаря прозрачности солнце так глубоко проникает сквозь толщу воды, что зеленые водоросли растут на глубине в семьдесят метров. Но строки «Тарихи-Рашиди» насчет солености... Любой иссык-кулец, прочитав их, засмеется. Путешественник Северцов однажды сказал, что в казахских степях (где вода в колодцах тоже солоновата) воду Иссык-куля считали бы пресной. К этому можно добавить, что если для питья она все же нехороша, то купаться в ней — удовольствие.

Рыбачье — самый крупный порт на Иссык-куле. Правда, город пока невелик. Широкие улицы его протянулись километра на три. Как и в других городах, здесь явственно ощутим на улицах запах бензина от автомашин. К нему порою примешивается запах рыбы, который был бы неприятен, если бы его не смягчал, не подавлял аромат горячего камня и сухих трав, такой горький и благоуханный, что от него кружится голова.

Аромат этот со всех сторон наплывает на город. Дело в том, что западная часть Иссык-кульской котловины засушлива. Всю влагу, все испарения, что поднимаются над Иссык-кулем, господствующие западные ветры уносят в восточную часть котловины, на западе же крайне мало выпадает дождей. Вот почему в окрестностях Рыбачьего так неприютно, скучно и голо — зелени почти не видать, кругом песок да камни; и склоны гор, что круто поднимаются позади Рыбачьего, тоже сухи, каменисты и лишь кое-где едва прикрыты травами, сквозь которые проступают мощные ребра разноцветных сланцев и известняков.

Как же и почему на этом пустынном берегу озера вырос город? Я помню Рыбачье, когда в нем было два десятка домиков, десяток прокопченных юрт да караван-сарай, куда заворачивал тележный обоз русских крестьян, обосновавшихся на восточных берегах Иссык-куля. Случалось, из Рыбачьего после ночлега уходил в центральный Тянь-Шань и верблю-

жий караван с товарами: верблюды шли размеренно, изредка оглядываясь на бегущих позади верблюжат.

В 1926 году (и это стало для Рыбачьего событием) у противоположного конца озера, на Пржевальской судоверфи, был спущен на воду первый на Иссык-куле пароход «Пионер». Он не мог похвастаться величиной, корпус был деревянный, и киль был сделан всего навсего из большой тянь-шаньской ели, которую с превеликим трудом приволокли с гор. Однако киргизские пастухи смотрели на невиданный пароход как на чудо. Смешно вспоминать об этом теперь, когда с «Пионера» из-за устарелости конструкции судна давно снят мотор, а его корпус превращен в баржу.

Мне посчастливилось быть пассажиром «Пионера» в первом рейсе, в 1926 году. Тысячи всадников приехали нас провожать. Во время митинга у Пржевальской пристани в седлах, «как в колыбелях», покачивались киргизские девушки, в их косах блестели серебряные монеты; на переступающих с копыта на копыто конях сидели юноши и пожилые женщины, на головы которых были намотаны элечеки, спорящие белизной с вершинами гор; и впереди всех важно восседали на своих иноходцах седобородые старики, те, о которых в Киргизии говорят с уважением: «Мудрый человек! Хоть шуба на нем старая, зато ворот у нее, как жемчугом, вышит золотыми словами».

Когда «Пионер», выбрасывая из-под кормы пенистые потоки воды, стал отходить от пристани, по берегу прокатились восторженные клики, над ушами коней взлетели плети, и вся масса всадников двинулась вдоль озера. Берег уплывал от нас все дальше, но долго еще видели мы на нем пеструю, нарядную движущуюся толпу провожающих.

На другом конце озера, в Рыбачьем, нас тоже встретила верховая толпа. Всадники плотно запахивались от ветра, и с запястий их рук свешивались короткие плети. Правда, встречавших было меньше, чем провожавших, но ведь и народу на этом пустынном берегу жило в те годы так мало, что просто по-

разительно было видеть в Рыбачьем сразу несколько сот съехавшихся людей. Здесь тоже был митинг. На нем запомнил я киргизского мальчонку в крылатой войлочной шапке и — что было в ту пору неслыханным — в москвошвеевском матросском костюмчике. Мать, пожилая киргизка, оправляя его полосатый воротник, подняла на руках сынишку к отцу, сидевшему на лошади. И, увидев его матросский костюмчик, киргизские всадники радостно засмеялись и стали передавать мальчика с седла в седло, пока он не очутился на борту «Пионера». Тогда все зааплодировали.

Где он теперь, этот мальчик? Не он ли случайно тот матрос, который сейчас вот, спустя тридцать лет, отдыхает на корме буксирного парохода и все поет и поет свою негромкую песню: «В Москве есть девушки-красавицы. За каждую не жаль отдать калым в пять тысяч рублей! Я привез тебе калоши, каких и они не носили никогда...» Песню эту, как видно, слышал он от матери еще в те времена, когда киргизы имели о Москве смутное представление и, как песню детства, донес ее через годы до береговых огней своего нового города.

Памятная старожилам «эра вывесок и контор» наступила в Рыбачьем после прибытия первого парохода. Рыбачье сделалось перевалочным пунктом богатой Иссык-кульской долины и, кроме того, узлом автомобильных дорог. Тогда почти в каждом домике Рыбачьего разместились конторы, в некоторых домах — по нескольку контор, и на улице поселка вывесок стало больше, чем окон: были окна, над которыми висели сразу две вывески.

Вздымая рыжие клубы пыли, помчались сквозь каменистую степь грузовики рыбачинских автобаз. Бурно обстраивался порт, и у причалов его появились танкеры, и теплоходы с металлическими корпусами, и буксирные пароходы, тянущие по озеру плоты леса. В поселке воздвигались дома, столовые, магазины, клуб, школа, кино. И чем длиннее были улицы, тем менее заметны делались вывески. Потом строители сквозь Боомское ущелье проложили сюда

железную дорогу, и Рыбачье стало расти еще быстрей. Гурты овец, покорно блея и раскачивая курдюками, потянулись со всех сторон на новый рыбачинский мясокомбинат. Рыбачье перестало быть «поселком», его переименовали в город.

Но увы! До города ему еще далеко, ох, как далеко! Есть у нас прекрасные новые города, вызывающие восхищение. Рыбачье к ним не принадлежит. Построено оно кое-как. Мимо невзрачных домиков и длиннейших заборов автобаз по широким улицам ветер несет мусор и пыль. Зимою ветры пронизывающие, леденящие, и город ничем от них не прикрыт: деревьев на улицах нет. Летом в полдневный зной не найдешь тени, негде укрыться от солнца. Всякий вам скажет: плохой город Рыбачье для житья — в нем «пропадаешь» от жары и от холода.

«Безобразному верблюду к лицу, если вьюк на нем криво висит». Рыбачьему не к лицу отсутствие городского благоустройства, и унылая архитектура построек, и грязь на улицах. Подумать только, город на берегу красивейшего озера, но нет тут ни пляжа, ни хотя бы маленького «приморского» бульвара. Чего проще, казалось бы, посадить сотню деревьев да поставить два десятка скамеек, чтобы горожанам было где подышать свежим воздухом, отдохнуть. А деревья расти могут: несколько горожан доказали это, вырастив деревья под своими окнами, — была бы охота!

Основное население Рыбачьего — шоферы, семьи шоферов. Говорят, что по главной улице города каждые сутки проезжает две тысячи автомашин. Кроме шоферов, тут живут еще портовые рабочие и железнодорожники. Разумеется, живут в Рыбачьем и люди, давшие имя ему, — рыбаки. Это их сети, невода и мордушки сушатся на берегу, их баркасы с рыбой подходят к просмоленным пристаням.

Когда на Иссык-куле потрошат османа и маринку, внутренности их выбрасывают целиком: черная брюшина этих рыб и икра ядовиты, по неведению съешь — отравишься. Но мясо их нежно и вкусно, особенно у османа. Большую часть улова на озере

дают чебак и так называемый чебачок, или иссык-кульская селедочка. Эти два вида рыб интересны еще и тем, что, кроме Иссык-куля, они нигде в мире больше не встречаются. В рыбацкую сеть попадает тут и сазан.

П. П. Семенов-Тян-Шанский рассказывал, как во время его второго путешествия на Тянь-Шань, в 1857 году, когда экспедиция остановилась в одной из бухт Иссык-куля, «огромные сазаны блистали на солнце своими красивыми чешуями и плескались в большом количестве на самой поверхности воды, путаясь в густых зарослях водных растений... Никаких приспособлений для лова рыбы у нас с собой не было, но казаки, входя в воду, захватили с собой свои шашки (сабли) и, обнажив их наголо, стали ими рубить запутавшуюся в водорослях и плескавшуюся на поверхности воды рыбу. Этот импровизированный способ ловли дал нам часа в два до 11 пудов рыбы, из которой мы сварили превосходную уху». Северцов тоже писал, что в Иссык-куле «сазаны превосходны и так многочисленны... что их можно колоть пиками».

Эти описания кажутся теперь невероятными. Первые русские путешественники были здесь и первыми рыболовами. Киргизы в ту пору рыбы не ловили, не ели, и многие даже не знали, что ее можно есть. За полстолетия рыбного промысла на Иссык-куле сазан сделался редкостью, много меньше стало в озере рыб других видов. Это заставило академика Л. С. Берга уже во время экспедиции 1928 года задуматься: как увеличить рыбные богатства Иссык-куля. И в 1930 году, по предложению Берга, с озера Севан из Армении на самолетах, в особых холодильниках, было переброшено на Иссык-куль около полумиллиона икринок форели-гегаркуни.

Прошло шесть лет, тщетно искали иссык-кульские рыбоводы в улове хоть одну-единственную выклюнувшуюся из икринки и выжившую форель. В 1936 году ученые повторили опыт. На этот раз они перебросили из Севана уже несколько миллионов икринок форели. Вывели мальков в специальных

садках и пустили в речку Тон, впадающую в Иссык-куль. Но эти мальки тоже «как в воду канули»! Ученые ждали-пождали, решили: не вышло.

И вдруг — было это уже в годы Отечественной войны — иссык-кульские рыбаки прислали во Фрунзе невиданную рыбу, удивившую всех величиной. Весила она одиннадцать килограммов. Ихтиолог профессор Ф. А. Турдаков свидетельствует, что, если бы не знал истории этой рыбы, непременно описал бы ее как отдельный подвид, даже, быть может, назвал бы не форелью-гегаркуни, а как-нибудь иначе, по-своему, по-тянь-шаньски. И не потому, что это была форель-великанша (у себя на родине севанская форель-гегаркуни весит в среднем семьсот-восемьсот граммов и в исключительных случаях достигает веса четырех килограммов), а потому, что и облик ее изменился: окраска стала пестрей, появились новые кольцеобразные пятна, лоб сделался шире, глаза меньше.

Вслед за этой ловцам стали на Иссык-куле попадаться еще и еще экземпляры форели такие крупные, что любители рыболовного спорта начали было бить форель острогой. Кстати сказать, розовое мясо этой рыбы сохранило и на Иссык-куле свой вкус, которым севанская форель прославлена на весь мир. Начали ее бить, да запрет помешал: заботясь, чтобы форель-гегаркуни скорей расплодилась, ее временно на Иссык-куле запретили ловить. К сожалению, запрет соблюдается далеко не всеми, и с браконьерами плохо ведется борьба.

По вечерам, в часы гулянья, в Рыбачьем можно, кроме киргизской песни, услышать и русскую частушку:

Море, море, морюшко,
Золотое донышко,
Серебряны бережка,
Давно не видела дружка.

Морем зовут Иссык-куль местные жители. «Наши деды заселились не землю пахать, а с моря добывать», — говорят тут потомственные рыбаки. Почти все они — русские, внуки и правнуки крестьян,

что во второй половине прошлого века, ища вольной жизни, переселились на далекий Тянь-Шань. Тогда-то, видно, и сложилась поговорка: «Море — наше поле».

Синее поле иссык-кульских рыбаков, как и обычные колхозные поля, год от году делается «урожайней». Вслед за форелью-гегаркуни ученые выпустили в Иссык-куль аральских лещей. А рыбоводы колхоза имени Шевченко выпустили в Липенский затон Иссык-куля зеркальных карпов. Чтобы сохранить и умножить рыбные богатства озера, в устьях речек, впадающих в Иссык-куль, запрещено ловить рыбу. На реке Тон будет построен рыбоводный завод: пятьдесят тысяч молодых форелей и миллион молодых османов каждый год этот завод должен давать озеру. Ученые намечают перебросить в ближайшее время на Иссык-куль и новые виды рыб — судака, сига, шипа (аральского осетра). И без того золотое, «донышко» Иссык-куля станет тогда еще бесценней. А к его «серебряным» бережкам (от трепещущей рыбы, от ее чешуи — серебряным) будет подходить все больше баркасов с уловом.

Мы сидим в Рыбачьем на пристани. Опускаются сумерки. Озеро делается белесоватым, будто потускневшее от времени зеркало. И вдруг — именно вдруг! внезапно! неожиданно! сразу! с размаху! — налетает порыв ветра. На берегу закружилась песчаная поземка. Залив покрывается белыми венками волн. Это вечерний бриз. Пройдет с полчаса, ветер уляжется, утихомирятся волны, зажгутся городские фонари, и тогда-то и наступит час, когда зазвенит вдали девичий голос: «Море, море, морюшко...»

Киргизское море — своенравное, бурное море. Бриз входит в его ежевечернее расписание. Но сколько ветров нежданных-негаданных, вырываясь из горных ущелий — из одного, из другого, а то и сразу из нескольких, совершают разбойный набег на Иссык-куль! Выехав на лов, местные рыбаки поглядывают на горизонт. Как бы ни было спокойно озеро, как бы вяло ни висел парус, стоит рыбакам увидеть в одном из горных ущелий подозрительное сизое об-

лачко с реденькими бородками, а то и тонкую иссиня-черную грозовую черту, и они поспешно поворачивают баркасы к бухтам. Зная на опыте всю сокрушительную мощь иссык-кульских бурь, ловцы торопятся.

Но шторм нередко их настигает. Меж баркасов начинают с ревом вздыматься и опадать водяные холмы, носы баркасов круто взлетают на гребни и шлепаются в воду, вдоль бортов с протяжным грохотом прокатываются пенистые валы. Не зевай! Зазеваешься — неистовым ветром сдует, волной смоет! Чтобы спастись, ловцам случается в бурю выбрасывать за борт весь свой улов. Опасна и трудна рыбацкая профессия на Иссык-куле. И хоть ловцы приспособились к своему своенравному морю, победа над свирепостью бурь дается им нелегко. Здесь говорят: «Без рыбки приедешь, без дырки не приедешь». После шторма во всех рыбацких домиках женщины берут в руки иголку и нитку.

Грозней всех на Иссык-куле два шквальных ветра: восточный — санташ, и западный — боом, или, как его тут чаще называют, улан. Даже большие теплоходы укрываются от них в попутные бухты. Случается, что санташ и улан принимаются дуть с двух сторон и яростно сшибаются друг с другом посреди озера. Тогда клочья тумана, несущиеся над водой, вихрятся, завиваются. И от волн поднимаются вверх к облакам водяные столбы — смерчи. Вращаясь, они мчатся над озером, пока один из ветров — тот, что осилит в единоборстве — не догонит их, не разобьет.

В этом единоборстве победителем чаще выходит западный ветер, улан. Вообще западные ветры, как уже говорилось, на Иссык-куле многочисленней и сильней восточных: вот почему именно начальника радиостанции пристани Рыбачье (самой западной на озере) прозвали иссык-кульские моряки «хозяйкою бурь». Еще в Рыбачьем порыв ветра не успевает рябью прикоснуться к воде, а всем знакомый, спокойный, милый, заботливый голос «хозяйки бурь» уже звучит в рыболовецких селениях, и в радиоруб-

ках пароходов, и в доме Пржевальской пристани, и на северном берегу в Григорьевке, где находится Иссык-кульский рыбпромкомбинат: «Идет улан!» Это значит: если вы на берегу — оставайтесь дома, если в море — поспешайте к берегам.

Взаимная выручка, помощь товарищу на Иссык-куле, как и всюду, где плавают советские моряки, тесно сближают людей. Хорошо сказал об этом один иссык-кульский рыбак: «Нас на тоне двенадцать парней и девчат. И до того дружно мы живем, так у нас вместе все: и заботы, и песни, и бури, и труд, что у каждого сердце за двенадцатеро вырастает». Чудесно сказано!

2. У ПАМЯТНИКА Н. М. ПРЖЕВАЛЬСКОМУ

Как воздушен, как прекрасен серебристый свет звезд на воде! Как глубоко, как дремотно погружаешься в созерцание этого света, сидя на палубе товаро-пассажирского теплохода, идущего по Иссык-кулю ночью! Всматриваешься в темноту, силясь различить очертания гор, но не видишь их: они до того слились с небом, что гигантские белые кружева ледников будто прямо в небе висят, прикрепленные к звездам.

А днем! Как сверкают, как переливаются на белом потолке палубы змеи солнца, отраженного водой! Как ослепителен блеск под бортом! Надвигаешь кепку на самые глаза, чтобы свободно проводить взглядом парусный баркас, наклонно скользящий по озерной глади. Наслаждаешься и панорамой снеговых вершин, опрокинутых в синие воды, и дымком далекого парохода: прозрачный, он повис меж двух цепей гор — тех, что вершинами вверх, и тех, что вершинами вниз; а позади курятся еще и дымки невидимых селений на берегу, похожие на снопики ковыля.

Длинный светящийся след за кормою превращается в полукруг, когда теплоход вступает в Пржевальскую бухту. Сигнальный гудок вытряхивает из

кают на яркое солнышко и тех полуночников, которые не успели еще отоспаться после бессонных прогулок по палубе. Лишь из салона по-прежнему доносится размеренный стук костяшек: известно, что ни близкая встреча с родными, ни красивый пейзаж — ничто в мире не может отвлечь ревностных игроков в домино.

Сбавив ход, судно идет по бухте. Покачиваясь на якорях, кланяются вам баркасы. На взбаламученной воде кое-где вспыхивают радугой пятна мазута; возле берега желтыми бликами неправильной формы качаются отражения строений пристани, лиловато-пепельными пятнами — отражения окон судоверфи, красно-коричневыми изломанными полосами, распадающимися на куски, — отражения работающих подъемных механизмов. Низко над водой проносится чайка, и в летящей тени ее видно все многоцветье воды. Теплоход разворачивается, солнце и ветер переходят с одного борта на другой. И вот уже плавно приближается дебаркадер. Приехали!

За пристанью поблескивает пыльной краской автобус, прикативший из города: сам город Пржевальск расположен в стороне, в двенадцати километрах отсюда. Но памятник Н. М. Пржевальскому, который не устают описывать путешественники, посетившие этот романтический уголок седого Тянь-Шаня, находится именно здесь, недалеко от пристани, на высоком крутояре.

Будто громадная волна, взметенная к небу неистовым порывом ветра и окаменевшая, высится гранитная глыба посреди сквера. Над глыбой распахнул крылья бронзовый орел. Чудится, вот-вот взлетит он и направит свой ширококрылый полет к вершинам Тянь-Шаня. Под когтями орла, на бронзовом же, почерневшем от времени листе, карта Азии с маршрутами путешествий, а в клюве оливковая ветвь — символ мирных завоеваний науки. Ступени, вырубленные в скале, позволяют подойти и прочесть высеченную на камне простую надпись: «Николай Михайлович Пржевальский. Первый исследователь природы Центральной Азии». Выше — бронзовая ме-

даль с барельефом Пржевальского и бронзовый крест.

Возле памятника — каменная плита: могила великого путешественника. А вокруг — цветочный газон, садовые скамьи, парк — еще молодой, недавно заложенный, но уже дающий тень и прохладу, наконец дом-музей Н. М. Пржевальского, тоже открытый недавно. Русский путешественник, сын Смоленской земли, умер здесь, в сердце тянь-шаньских гор, в 1888 году на пороге своего пятого путешествия в Тибет.

Его спутник и ученик П. К. Козлов, сделавшийся потом известным путешественником, рассказывает, как экспедиция приехала в городок Каракол (нынешний Пржевальск); как в приказе по экспедиционному отряду Пржевальский писал: «Итак, начинается наше путешествие! Дело это будет трудное, зато славное. Теперь мы на виду не только всей России, но даже целого света. Покажем же себя достойными такой завидной участи и сослужим для науки службу молодецкую»; как на следующий день Николай Михайлович занемог и выяснилось, что у него брюшной тиф; как всего за несколько часов до смерти, «приходя в сознание и видя себя окруженным нами, он говорил совершенно спокойно и твердо о своей близкой смерти.

— Я нисколько не боюсь смерти, — говорил он,— я ведь несколько раз стоял лицом к лицу с ней.

Замечая на наших глазах слезы, он называл нас «бабами».

— Похороните меня непременно на Иссык-куле, на красивом берегу. Надпись сделайте простую: «Путешественник Пржевальский».

В дни похорон Пржевальского взоры всей русской интеллигенции были обращены к далекому Иссык-кулю. «Местность эта, — говорил П. П. Семенов-Тян-Шанский в Петербурге на траурном заседании Русского географического общества, — хорошо мне знакома; она так врезалась неизгладимыми чертами в моей памяти, что я как бы вижу ее перед собою, обращаясь от только что закрывшейся могилы к за-

ветному югу. Широко раскинулась вправо синяя поверхность необъятного к западу озера. Впереди высится горная стена Небесного хребта, образуя вправо окраину озера, увенчанную непрерывным рядом снежных вершин. Чем далее к западу, тем ближе прикасается этот белоснежный венец к синей поверхности озера, а на его оконечности снежные вершины кажутся как бы утопающими в волнах Иссык-куля...

Этот величественный ряд закутанных в белоснежные саваны великанов стоит на страже дорогой нам могилы, обозначая собою ту грань русской земли, за пределы которой наш славный путешественник делал свои отважные набеги в почти неведомые до него в научном отношении страны...

Зайдите на его могилу, поклонитесь этой дорогой тени, и она охотно передаст вам весь нехитрый запас своего оружия, который слагается из чистоты душевной, отваги богатырской, из живой любви к природе и высшему проявлению человеческого гения — науке — и из пламенной и беспредельной преданности своему отечеству».

Слова эти словно сегодня сказаны и, такое чувство, будто обращены к нам. Их можно обратить и ко всем великим русским путешественникам — исследователям Тянь-Шаня, первым из которых был сам П. П. Семенов-Тян-Шанский. Именно об этих путешественниках и хочется говорить, сидя на скамье возле памятника Пржевальскому.

В течение многих веков горы Тянь-Шаня были одним из самых глухих, окутанных легендами, малоизученных мест на земле. В VII веке здесь побывал китайский путешественник Сюэнь Цзянь. Он писал: «Эти горы простираются на тысячи ли; в них есть несколько сот крутых вершин; долины темные наполнены пропастями. Накопившиеся здесь с начала мира снега обратились в ледяные глыбы, которые не тают ни весной, ни летом. Холодный ветер дует с силой, и путники часто делаются жертвами драконов». Об озере Иссык-куль Сюэнь Цзянь писал: «Драконы и рыбы обитают в нем вместе».

Подобные описания этого и еще более древних китайских авторов — вот почти все, что до середины прошлого века знала о Тянь-Шане мировая наука. До пятидесятых годов прошлого века в журналах никогда не писали просто «Тянь-Шань», а всегда «загадочный Тянь-Шань»: так мало знали о нем! Известный путешественник Федченко говорил: «Картографы приходили в отчаяние, когда им нужно было изображать эту часть Азии и, рисуя бог знает что, оговаривались, что «нам поверхность луны лучше известна, чем эта местность».

Великий европейский ученый XIX века Гумбольдт, опираясь на те же китайские древние рукописи, был убежден, что хребты Тянь-Шаня — цепи действующих вулканов. В этом все были до того уверены, что П. П. Семенов, собираясь в первое путешествие на Тянь-Шань, поехал перед этим специально в Италию, где в то время происходило извержение Везувия, и несколько месяцев изучал там вулканические породы.

В 1856—1857 годах Семенов совершил два смелых путешествия в глубь Тянь-Шаня. В первой экспедиции он вышел через хребты к Иссык-кулю. Ученому хотелось как следует осмотреть озеро, изучить, описать, но отряд его был малочислен, враждовавшие между собой киргизские роды могли в любую минуту напасть. Поэтому в этот же день к ночи Семенов увел свой отряд от озера.

На следующий год он с большой экспедицией побывал и на другом берегу Иссык-куля и проник в узел горных хребтов так далеко, что увидел своими глазами ледяную пирамиду Хан-Тенгри. Это было плодотворное для науки путешествие. В пух и прах разлетелось представление Гумбольдта о вулканическом происхождении Тянь-Шаня. Семенов положил прочное начало изучению тянь-шаньских хребтов, их географии, геологии, животного и растительного мира. Его книга «Путешествие в Тянь-Шань» стала настольной книгой географов.

Семенов был ученым, который обладал поэтической силой описания, как, впрочем, обладали этим и

многие другие ученые той блестящей плеяды русских путешественников, которые вслед за Семеновым проложили пути в горы Средней Азии и в Центральную Азию. Вернувшись из своего путешествия, Семенов с жаром писал, что исполинские цепи Тянь-Шаня, поднимающиеся «из зоны абрикосовых, гранатных деревьев, риса и хлопчатой бумаги далеко за пределы вечных снегов, заслуживают едва ли не больше научного интереса, чем внутренность Африки». Само значение открытия Тянь-Шаня современники оценили столь высоко, что пятидесятилетие со дня путешествия Семенова широко праздновалось. Именно в тот торжественный день Семенову была официально присвоена двойная фамилия — Семенов-Тян-Шанский.

Знаменательное пятидесятилетие! За эти полвека большая группа русских путешественников вслед за Семеновым изучила горы Тянь-Шаня. Одним из первых был Н. А. Северцов. Он тоже побывал на берегах Иссык-куля, тоже рассказал о нем с художественной силой. Вот несколько строк, дающих представление о стиле его описания: «Вода Иссык-куля весьма прозрачна; цвет озера ярко-синий с бирюзовым оттенком; за ним виден весь Кунгей-алатоо, которого нижние части подернуты туманом, как нежно-лиловой дымкой, а снеговые зубцы, ярко освещенные солнцем, необыкновенно отчетливо рисуются на густо-синем, ультрамариновом небе. Синее небо, синий же Иссык-куль, между ними белая зубчатая стена, на первом плане голый красно-желтый глинистый берег — вот и весь вид, весьма несложный, но от которого глаз с трудом отрывается: так великолепен колорит, так изящны и легки очертания снегового хребта».

В книге «Путешествия по Туркестанскому краю» Северцов, описывая новые, неизвестные дотоле науке растения, птиц, зверей Тянь-Шаня и размышляя о них, ведет спор со всею русской наукой того времени, подтверждая бесчисленными доказательствами основные положения учения Дарвина — учения, которое тогда только появилось в России и было встре-

чено большинством ученых в штыки. Монография Северцова об архарах — горных тянь-шаньских баранах — была первой в России дарвинистской работой. Здесь, в глубине тянь-шаньских гор, в ту пору еще диких и неосвоенных, выкристаллизовывались основы нового естествознания.

Не раз еще, путешествуя по Киргизии, будем мы возвращаться к именам других путешественников, изучавших Тянь-Шань: А. П. Федченко, открывшего миру хребты и долины Алая, И. В. Мушкетова, заложившего основы геологического изучения гор Средней Азии, геодезиста А. Ф. Голубева, географов М. И. Венюкова и Г. Е. Грумм-Гржимайло, ботаников С. И. Коржинского и В. В. Сапожникова, почвоведа С. С. Неуструева и многих других русских ученых. При деятельном участии русских ученых-путешественников невдалеке от восточного берега Иссык-куля родился и городок Каракол, нынешний Пржевальск.

Во время основания этого городка произошел такой случай. Было это в 1869 году. Русские топографы во главе с известным исследователем центрального Тянь-Шаня А. В. Каульбарсом в течение нескольких месяцев работали над подробной съемкой местности, составляя план кварталов будущего города. И вот наступил счастливый день: съемка окончена, готовые планшеты разложены в юрте экспедиции.

Счастливый день! Вслед за ним наступила ужасная ночь! Сорвавшись с гор, на юрту топографов налетел шквальный ветер. Юрту опрокинуло. Столы, стулья, одеяла, подушки, костюмы спавших — все было подхвачено ветром, все улетело куда-то в ночь. И что хуже всего — улетели планшеты, чертежи, бумаги, вся работа. Когда Каульбарс и его спутники после первых порывов шквала, перекликаясь в ночи, полуодетые, собрались вместе, стало ясно: произошла непоправимая беда, работа пропала.

Наутро к русским топографам подъехала большая группа верховых киргизов. Они принялись помогать экспедиции. Больше ста всадников длинной

цепью двинулись к реке Джергалан — в сторону, куда пронеслась буря, зорко осматривая каждый клочок земли. Через четыре часа не только вещи, но и все планы, съемки были найдены, пропало несколько листков бумаги, вероятно, подхваченных и унесенных рекой. Вспоминая это, жители нынешнего Пржевальска с гордостью говорят, что дружба киргизов и русских лежит в самом основании их прекрасного города.

Именовался городок первое время Караколом. Потом побывал здесь Николай Михайлович Пржевальский.

Шел он вдоль рек, пробирался в тумане.
Здесь изучал он повадки фазаньи.
Слушая древние песни киргизов,
Ветер цветочный вдыхал на Тянь-Шане, —

так писал о нем поэт Кубанычбек Маликов в стихотворении «К памятнику Пржевальского». И дальше:

Как открывают перед ранней зарею
Полог у юрты, так с нашей землею
Он познакомил всю землю и первым
Наше увидел лицо молодое.

Придирчивый критик мог бы сказать: поэт ошибся — мол, не Пржевальский, а другие русские путешественники познакомили мир с землею киргизов. Пржевальский познакомил мир совсем с другими землями, а Иссык-куль был лишь отправной точкой его путешествий в Центральную Азию. И хотя дело обстояло именно так, поэт все-таки прав, ибо памятник Пржевальскому — это памятник всем русским ученым — открывателям Средней и Центральной Азии, а не одному только Пржевальскому.

Последним в этой великой плеяде был академик Л. С. Берг, который задолго до революции положил начало глубокому и всестороннему изучению озера Иссык-куля, объяснил его происхождение, описал его гидробиологические свойства, его растительный мир, его рыб. Мы говорим «последний» в плеяде, ибо имя Берга заключает собой тот период истории русской географической науки, когда ее на свой страх и

риск двигали вперед главным образом путешественники-одиночки. И мы скажем о нем «первый», потому что Берг открывает собой блестящий список имен тех ученых, которые после революции и благодаря революции день за днем планомерно стали изучать землю, на которой живут.

Обращаясь именно к этим людям, словно бы от имени всего первого поколения русских исследователей Тянь-Шаня, Берг незадолго до смерти, в мае 1946 года, в письме, адресованном факультетам географии и естествознания Киргизского государственного педагогического института, писал: «Завидую вам, что вы имеете возможность работать в такой привлекательной для натуралиста стране, как Киргизия». Письмо это следовало бы вывесить у входа в здание Киргизского государственного университета, созданного на базе педагогического института, чтобы каждый день оно напоминало студентам, что живут они в интереснейшей для научного исследования стране.

3. ОТ ПРЖЕВАЛЬСКА...

Пржевальск! Кто побывал в нем, на всю жизнь уносит нежное воспоминание об этом городке, небольшом, не бог весть как построенном, но поставленном так, что все в нем мило, все кажется красивым. Даже простые побеленные домики вдоль его улиц, которые в другом месте и впечатления бы не произвели, и теми тут любуешься. Вот как удачно выбрано место для города!

Зеленые недлинные улицы (а распланирован город хорошо) замкнуты горами: с одной стороны — снеговыми, очень близкими и очень живописными, с другой — темными и еще более близкими, начинающимися прямо в конце улиц. А поперечные улицы повернуты вниз к долине, и в их конце видна такая необычная для города даль, такой простор, столько света, что это производит впечатление чуда. Смотришь в конец улицы, будто в стереоскоп.

Непривычными эффектами одаряет Пржевальск

и погода. Бывает: над городом — ясное небо, солнце, а на горах, зацепившись за вершины, висят дымные тучи, от них отрываются космы, летят на город и, светлея с каждой секундой, проносятся над садами и улицами Пржевальска. Или ночью чистое звездное небо, а вокруг города полыхают зарницы от гроз в горах: тоже красиво и необычно. Или утренние туманы, которые иногда подступают к окнам города и с первыми лучами солнца рассеиваются.

Над Пржевальском парят в небе грифы. В садиках возле домов зреют абрикосы и сливы. Из-за заборов торчат розовые и голубые мальвы, излюбленные цветы пржевальцев. И над арыками белеют стены тополевых стволов, именно стены, так широки стволы (в два-три обхвата), и так близко стоят они друг от друга, и так высоко над этими стенами начинается полоса светло-зеленой листвы. Это так называемые туркестанские тополя, величиной своей поражающие в Пржевальске всякого приезжего.

В полдень, когда тень человека, не находя себе места, прячется под ногами, да и в другие часы солнце тут так обжигает, что прохожие стараются идти в тени. Вот почему, несмотря на тротуары, всюду — в траве вдоль заборов и под деревьями у арыков — в Пржевальске протоптаны тропки. Среди подзаборных цветов особенно привлекают тут глаз цветы синяка — медоноса, который впервые с Северного Кавказа привез сюда в начале нашего века генерал Корольков. От цветов этих теперь все горы вокруг Пржевальска синие.

Генерал Корольков — колоритнейшая фигура в истории Пржевальска. Поселился он здесь в 1881 году и до смерти полвека заведовал Пржевальской агрометеорологической станцией, основанной Российским географическим обществом. Пржевальск в то время был город «на краю света», о котором писатели Г. Алексеев и В. Попов рассказывали: «...привоз водки был для Каракола (Пржевальска. — *В. В.*) событием. В прежнее время, как только специально командированный на разведки джигит влетал с вестью, что водка идет, из Каракола для

встречи транспорта выходил духовой оркестр и делегация, составленная из официальных лиц и из почетных граждан. Делегации принадлежало право первой рюмки». Прочтешь это, и скукой повеет: уныла, сера, тускла была жизнь в дореволюционном Пржевальске!

Зависть — обычный спутник старой провинциальной жизни: «Сосед считает курицу соседа за гуся». Легко представить, как пржевальцы относились к «соседу», который начинал свое утро с записи показаний метеорологических приборов, который к тому же привозил в Пржевальск редкостные растения и к которому время от времени заезжали путешественники, известные всему миру. Зависть рождает злословие. На злословие Корольков мог отвечать только презрением. Это объясняет задиристый тон свысока, какой усвоил себе он в разговорах со всеми, и его манеру высказывать по любому поводу отличное от всех мнение: своего рода вызов провинциальному обществу.

Взять хотя бы киргизское восстание 1916 года! Корольков был единственным среднеазиатским офицером, который протестовал против карательных действий царских властей и даже написал резкое письмо в защиту киргизов. Для такого характера генеральские погоны были своего рода охранной грамотой.

При участии Королькова еще в 1902 году ближайшие сподвижники Н. М. Пржевальского П. К. Козлов и В. И. Роборовский основали в Пржевальске публичную библиотеку — второе культурное учреждение города. С помощью Королькова был выращен и городской парк Пржевальска. Обязательно сходите туда! Высоченные тянь-шаньские ели, российские березы, сибирские лиственницы, и само сочетание их, величина, пышность такие, что приятно в них погрузить глаза и смотреть-смотреть отдыхая. Спросите о городском парке любого, кто бывал в Пржевальске, — мечтательная улыбка, которая при воспоминании этом осветит его лицо, ярче всяких слов ответит вам, каков парк!

Корольков был в Пржевальске интеллигентом-одиночкой. Теперь здесь целая сеть научных и культурных учреждений: педагогический институт, педагогический, медицинский и сельскохозяйственный техникумы, три дома культуры, шесть клубов, три библиотеки, кинотеатр «Иссык-куль», драматический театр, больницы, поликлиники, диспансеры, краеведческий музей имени Н. М. Пржевальского (в том самом доме, где умер великий путешественник) и несколько научных станций: кроме метеорологической, сейсмическая (изучающая процессы горообразования в этой части Тянь-Шаня), плодоовощная станция (давшая иссыккульцам много новых сортов плодов и овощей), станция лекарственных растений (выращивающая и изучающая опийный мак, женьшень, левзею — маралий корень и другие целебные растения), наконец Пржевальский опорный пункт Киргизской государственной селекционной станции, прославившейся своими пшеницами баткан красный и баткан белый.

Не ищите слова «баткан» в киргизско-русском словаре, это не киргизское слово. Оно составлено из двух русских фамилий — Баталев и Кантемиров. Агроном Баталев, вернее — агрономы Баталевы, их двое, Сергей Иванович и Надежда Николаевна, — люди известные в Киргизии. Тридцать лет назад приехали они на Иссык-куль. Это были первые агрономы на берегах Киргизского моря. Многие годы работали они над улучшением иссык-кульских пшениц. Кантемиров Николай Петрович — тоже агроном — в дни Отечественной войны сорвал на полях Восточной Германии несколько колосков пшеницы, поразившей его величиной и полновесным колосом. В кармане гимнастерки привез он колоски домой на Иссык-куль. Здесь высеял их, собрал «урожай» — сотню зерен. Но тут его оторвали от земли, перевели на работу в Пржевальск. Тогда Кантемиров принес выращенную им горсть зерен Баталевым, чтоб не пропала, послужила людям. Баталевы высеяли, вырастили ее. И, скрещивая с другими сортами, вывели два совершенно новых сорта пшеницы с мощными

стеблями, не полегающей, не боящейся желтой ржавчины, дающей великолепные урожаи. Так родились баткан красный и баткан белый.

По улицам Пржевальска бегают автомашины. Всадники прижимаются к деревьям, когда мимо проезжает нарядный автобус. Стоят ряды автобусов и машин в центре города у автовокзала, где сходится «иссык-кульское кольцо» автодорог, и рядом, среди ларьков и лотков, стоят и движутся машины и телеги колхозников, приехавших из многочисленных окрестных селений.

Восточная часть Иссык-кульской долины густо населена. Это особенно ясно видишь, если из Рыбачьего в Пржевальск едешь не на пароходе, а в автобусе по одной из двух автодорог, окаймляющих озеро с севера и с юга. Лучше всего ехать по северной дороге. Вначале селения редки и невелики. Но вот скалы хребта Кунгей-алатоо прижимают дорогу к озеру. Небольшой отрезок пути автобус мчится вдоль самого берега Иссык-куля; рядом с ним по воде с такой же скоростью бежит отражение солнца — вытягивающееся в струну на волнах, круглое и ослепительное между ними.

Потом горный хребет отходит влево. Чем дальше к востоку, тем обширнее становятся села и, наконец, превращаются в сплошную цепь поселений. Между домами и деревьями — золото хлебов и синева озера. Иногда проплывают мимо голубоватые поля мака да золотые острова подсолнухов. Перед машиной мечутся курицы, в последнюю секунду они обязательно перебегают дорогу (бестолковость кур общеизвестна — их давить «можно», за них нет ответа). Гуси стоят на месте и издалека раскрывают клювы—ущипнуть автобус. Их объезжают. Неторопливо переваливаясь, уходят с дороги утки. Бычок, задравши хвост, бежит перед колесами машины. Отбегают с дороги, взбрыкивая, ослята и жеребята. Шоферы не устают чертыхаться — так много живности на улицах этих сел!

Перед белыми и серыми домиками — высокие (выше домов) пирамиды кизяка. Встречная машина

обдает кузов вашего автобуса мелкой галькой. Время от времени лохматые собаки бросаются с яростным лаем за вами, потом отстают: видно сквозь пыль, как они возвращаются к домам, лениво помахивая хвостами. В коротких промежутках между селениями у дороги сереют одинокие старинные мазары (надмогильные мавзолеи), окруженные пыльной травой и татарником. Ласточки слетаются на дорогу клевать рассыпанное зерно. Кроме них, на дороге, конечно же, стайки воробьев. И опять — села, над крышами которых, отступя от автомагистрали, вздымаются снежные зубцы горного хребта Кунгей-алатоо.

Но вот ваш рейсовый автобус, доехав до восточного конца озера и повернув на юг к Пржевальску, проезжает большое село Тюп. Долина, волнистая, изрезанная холмами и ручьями, становится широкой, золото хлебов растекается по холмам и ложбинам. Хлеба так высоки, что местами скрывают в себе даже всадника на малорослой киргизской лошади.

Между речками Тюп и Джергалан дорога пересекает полуостров Сухой Хребет, вдающийся далеко в синие воды Иссык-куля. Еще недавно Сухой Хребет был и на самом деле сухим, безводным, бесплодным. Теперь он тоже в садах и дубравах, и над золотом его хлебов кружит в небе похожая на копчика пустельга с охристо-бурой грудью и пепельно-серым хвостом; сложит она свои короткие крылья, упадет в хлеба и взмоет, держа в клюве мышь-полевку. Рабочие совхоза «Сухой Хребет» обводнили свой полуостров, и Сухой Хребет перестал быть сухим.

На самом конце этого полуострова, где волны набегают на торчащие из воды камни, издалека виден маяк. В нем живет много лет, работает маячником Гавриил Евдокимович Кулагин, человек, который решил доказать иссыккульцам, что даже на прибрежном сыпучем песке можно вырастить сад и огород: были бы смекалка да руки! Обрабатываемый участок песка Кулагин отгородил кустами джерганака и выращивает на нем тыквы, дыни, несколько сортов арбузов, капусту, лук. Два урожая картофеля

в год собирает он на песке; каждый куст дает почти ведро картофеля. В пересчете на гектар урожай помидоров у него достигает тысячи ста центнеров! Виноград, смородина, яблоки растут и зреют у Кулагина на песке.

И так всюду — во всех селах восточного Прииссыккулья — куда ни заглянешь, находишь людей, которые обогащают этот уголок Тянь-Шаня новыми растениями, осваивают пустоши, приносят новую технику. Это они, эти люди, освоили тут культуру сахарной свеклы и культуру тутового шелкопряда и еще многое другое. Конечно, далеко не все тут — горячие поборники нового.

Есть и такие, о которых говорят: «Хочет и в тени посидеть и добиться славы». Есть и такие: «Лишь бы говорили обо мне, а там пусть сравнивают меня хоть с гнилым яблоком». Всякие есть люди. Есть всегда всем недовольные. Замечательно сказал одному такому человеку Океш Тюлебердиев: «Бедный ты человек! Нужно любить все краски, а не говорить — выношу один только черный цвет!»

Океш Тюлебердиев—председатель колхоза «Джаны-Джылдыз», что недалеко от Пржевальска. Обкомовские товарищи обычно возят в этот колхоз гостей. Это так называемый «показательный» колхоз, колхоз-любимчик, которому областные работники особенно помогают и которым гордятся. Колхозы-любимчики, как известно, встречаются иногда и в других республиках и краях: бывает, что они окружены плохими колхозами, и тогда сразу становится ясным, что они «показательные» не столько для народа, сколько для «начальства», и служат главным образом интересам районных очковтирателей. «Джаны-Джылдыз» не такой. Наоборот, когда из богатых культурных сел, толпящихся вокруг Пржевальска, попадаешь в селение этого колхоза, оно сперва производит странное впечатление, скорей бедного села, чем богатого, и, уж во всяком случае, менее культурного.

Только постепенно начинаешь понимать, в чем дело. Большинство сел восточного Прииссыккулья —

русские и дунганские села — основано давно, когда киргизы земледелием почти не занимались и кочевали по горам вокруг. В дни коллективизации бывшие кочевники стали оседать, и тогда образовались смешанные колхозы—русско-киргизские, дунганско-киргизские. Тогда же родилось и несколько кыштаков чисто киргизских, один из них — кыштак колхоза «Джаны-Джылдыз».

Надо ли удивляться, что дома этого кыштака (все новые) построены не так умело, как избы в соседних русских селах, у некоторых плоские крыши, садики крошечные — они только-только начинают входить в быт киргизов. Вступаешь в дом, там рядом с радиоприемником в углу постелена кошма, и на ней высится груда одеял, как еще недавно высилась в юрте, украшая ее. Следы кочевой жизни угадываешь в этих новых домах.

Зато общественные постройки! Водопровод в колхозе «Джаны-Джылдыз» сооружен раньше, чем в Пржевальске. Есть своя электростанция. Коровники оборудованы по последнему слову техники. И воздвигнуты даже свои теплицы, где зимой выращивают помидоры и огурцы. Лучшие специалисты области помогали все это создавать. Ведь речь шла не просто о колхозе «Джаны-Джылдыз», речь шла о новом пути киргизского народа, о том, чтобы скорее распрощался он с последними остатками отсталости. Ради этого стоило создать показательный киргизский колхоз и всячески ему помогать.

У озера, с колхозом нашим рядом,
В селе красивом русские живут.
Нам слышно: вечером, встречая стадо,
Коров доярки ласково зовут.
Пришлось по сердцу это Киизбаю.
Дождется вечера старик, и вот,
Всех раньше стадо у холма встречая,
Он:
— Зоя, Зоя, Зоенька! —
зовет.
Смеются наши женщины и дети,
Смеются девушки от всей души.
— Ой, аксакал! — хохочут и соседи.
— Ой, Киизбай, довольно, не смеши!

Ошибся ты: ведь это не корова,
Тут надобно мужское имя дать. —
А Киизбай свое. Как вечер — снова
Он:
— Зоя, Зоя! —
начинает звать.
Ни смех, ни вразумительные речи
Не действуют никак на старика.
По-прежнему, едва наступит вечер,
Зовет он:
— Зоя, Зоенька! —
бычка.

В этой картине, выхваченной из жизни поэтом Алыкулом Осмоновым, сказано о дружбе народов, населяющих долину Иссык-куля, по-моему, больше и ярче, чем в печатающихся на эту тему обычных газетных статьях.

Поезжайте из Пржевальска на перевал Санташ, отделяющий Иссык-кульскую котловину от самой восточной из долин Киргизии — Каркаринской. Ее любят величать еще «молочной долиной», так как в ней нагуливают жир громадные стада коров. Недалеко от перевала воздвигнут самый крупный в Прииссыккулье масло-сыроваренный завод, полностью механизированный. А на перевале высится холм из камней. Этот холм и дал перевалу название «Санташ» — «Считанный камень».

Рассказывают легенду. Когда Аксак-Темир, знаменитый Тимур, шел в поход на горцев-язычников, он повелел каждому воину взять в руку камень и положить в кучу. Выросла большая гора. На обратном пути, после победы над горцами, воины Аксак-Темира сняли по камню и унесли с собой в Самарканд. Прошел последний воин, а гора осталась. Остались камни убитых в походе. Так погибшие сами сложили себе памятник.

Сидя у этого памятника войне, размышляешь о войне и о мире. Есть на земле и теперь «наследники» Тимура, ищущие себе славы на путях войны. Презрительная киргизская поговорка говорит: «Если не сумел прославиться, подожги землю». Киргизам, как и всем советским народам, незачем поджигать

землю. Они заняты мирным трудом, одевая горы садами, полями, селениями, заливая их электрическим светом, творя для себя и для своих детей новую жизнь.

4. ЫРДЫК

«Всякая вещь, исторгнутая из состояния покоя, звучит. Травы, деревья беззвучны, но ветер на них налетит — и они зазвучат; беззвучна вода, но ветер взволнует ее — и она зазвучит. Металлы и камни беззвучны, но ударить по ним — и они зазвучат! Так же и речь человека. Когда нет ему выхода — он говорит. В его песнях заложены мысли, в его плаче заложены думы. Все, что исходит из уст, как звук, говорит о том, что человек исторгнут из состояния покоя». Трудно сказать, какие чувства теснились в груди Ванахуна Мансузы, когда выписывал он в записную книжечку эти слова Хань Юя, китайского писателя-классика.

Нам остается лишь догадываться об этом. Ибо Ванахуна Мансузы, жителя Чуйского селения Милянфан, нет в живых: он погиб в боях с гитлеровцами и посмертно получил звание Героя Советского Союза. Но если вспомнить, что Ванахун — дунганин, и вслед за этим восстановить в памяти историю советских дунган, тогда приведенные слова заставят вас задуматься.

Свое знакомство с дунганами — что за народ и откуда — начнем с того, что осмотрим небольшую деревянную мечеть в Пржевальске. Это шедевр дунганского строительного искусства. Фриз мечети резной, ажурный, и, что самое любопытное, благожелательная народная символика — изображение граната, знака долголетия, — перемешана в нем с чисто буддийскими изображениями: раковина, колесо огня. А с концов угловых балок глядят головы чудовищ. Словом, мечеть эта сильно напоминает буддийский храм.

Вспомним, к чему призывала буддийская философия человека, что рисовала она перед ним как ве-

личайшее счастье? Покой, покой и покой, полная остановка движения, жизни, растворение человека в безграничном «ничто». Философия эта, умно используемая богатеями, в течение тысячелетий замедляла ход исторического развития народов, исповедующих буддизм. Ведь если высшее счастье — покой, значит незачем человеку куда-либо стремиться, незачем бороться за то, чтобы что-нибудь на земле изменить, незачем «исторгать себя из состояния покоя», незачем плакать, незачем петь.

Конечно же, дунгане — «чжун-юань-жень», «жители срединной равнины», как и весь китайский народ, всегда и пели, и плакали, и выращивали плоды, и боролись за свое счастье на земле, за свободу. Но буддийская религия, несмотря на то, что дунгане несколько веков назад приняли мусульманство, накладывала отпечаток на их представления. Головы чудищ, которые в Китае призваны были запугивать бедняка, пытающегося поднять свою голову, пугали и их.

Дунган (китайцев-мусульман) живет в Китае десятки миллионов человек. Но откуда взялись их селения на нашей земле? Интересней всего об этом расскажут сами дунгане. Поедемте на автомашине из Пржевальска в колхоз «Дыйшин», что значит по-китайски «победа». Свое шоссе, обрамленное пирамидальными тополями, дыйшинцы величают в китайском вкусе «дорогою тополей». Мимо голубых плантаций мака, усыпанных белоснежными цветами, дорога тополей приведет вас к селению Ырдык, где сквозь зелень кустарников и деревьев виднеются тоже белые, чистенькие дома. Фанзами, по-своему, зовут их здесь. Но слово «фанза» к ним никак не идет, до того изменился их облик, столько нового — железные двускатные крыши, антенны, электрические провода от столбов к изоляторам, большие остекленные окна и под окнами легковые автомашины — столько нового видишь, когда подходишь к этим «фанзам». Свое, старинное, национальное, дунганское всюду в Ырдыке перемешалось, сплавилось с новым.

В ушах девушки, играющей в волейбол, блестят

металлические серьги — эрчжуйза — в форме летучей мыши. В какой-то из фанз мальчик склонился над столом, вычисляет тригонометрическую формулу; напротив мать его электрическим утюгом гладит белье, а из репродуктора звучит передаваемая колхозным радиоузлом старинная дунганская песня «Лунный серп озаряет долину цветов»: ее поет одна из самых голосистых сельских девчат под аккомпанемент сяньшаньза — щипкового инструмента с квадратным резонатором из змеиной кожи:

В серебряном зеркале умирает любовь.
Я не вижу его, и увидеть его не придется.
Черный чай в моей чашке дымится.
Я глотаю миндалины горьких безудержных слез...

В садике перед фанзой идет производственное совещание трактористов и колхозных бригадиров, и взгляд очередного оратора рассеянно скользит по хуаханю — цветочному газону, обнесенному китайской решетчатой оградкой, в котором цветут роза, мальва, герань. А в стороне, на куче песка, где по утрам играют ребятишки, валяются полузасыпанные облупленные красные, зеленые, желтые деревянные формочки — явно из игрушечного магазина, и среди них денза, масляный китайский светильник, отданный детям за ненадобностью: во всех фанзах Ырдыка электричество!

Зайдите в любую фанзу. Вам бросятся в глаза вышивки. Хозяйка дома с охотою объяснит: вот эти пион и лягушку — пожелание богатства — вышила для них мать ее мужа, она же вышила им еще утку и селезня — пожелание счастливого супружества, а бамбук, сосну и персик — пожелание долголетия — вышила она сама для старшего сына, он сейчас в Москве, защитил кандидатскую диссертацию, вот его фото, а рыбку эту вышила ее дочь для отца, желая ему успехов в колхозной работе. Улыбаетесь? Что ж, и хозяйка дома в ответ вам умно улыбнется. Разве дело в приметах! Разумеется, нет, в народной традиции, в ее поэтической силе, которая делает жизнь семьи уютней, радостней труд.

Когда гостеприимный хозяин, угощая вас рисом, приготовленным по-дунгански, положит возле вашей чашки ложку (сам он, следуя той же традиции, ест с помощью куэйза — палочек для еды) и когда вы, любуясь ловкостью, с какой он пользуется палочками, насытитесь, тогда, наконец, начнется рассказ, ради которого вы приехали.

«Лучше падать стреляя, чем вставать со связанными руками». Не прошло еще ста лет, как эти крылатые слова облетели три западные провинции Китая (Шэньси, Ганьсу и Нинся), где народ восстал против власти маньчжурской династии, обрекшей народ на голод и нищету. В те дни весь Китай был «исторгнут из состояния покоя». На юге и на востоке страны в течение пятнадцати лет (1850—1864 годы) бушевала крестьянская революция, известная всему миру под названием восстания тайпинов. Это восстание было раздавлено пушками американцев и англичан. В 1862 году на западе страны вспыхнуло восстание дунган, которое советские ученые называют вторым валом тайпинской революции. Оно тоже потрясало империю больше десяти лет.

В ходе дунганского восстания были годы, когда, как говорят в Китае, у маньчжурского богдыхана из новогодних пельменей вылезала начинка: казалось, империя близка к краху. Мы не будем рассказывать о ходе восстания: все равно «огонь в бумагу не завернешь» — на одной страничке не передашь всю силу страстей, всю остроту, трагичность и сложность этой многолетней борьбы. Нас интересует последняя страница дунганского восстания, когда оно было уже обречено и когда Китай услышал легендарное имя народного героя Бый Янь-ху.

Бый — его родовая фамилия, Янь-ху — прозвище, означающее «Отчаянный тигр». Маньчжуры называли его еще «Даху»—«Большим тигром». Дунганские феодалы, сперва вовлеченные в восстание размахом, с каким оно началось, и некоторое время пытавшиеся облечь его в одежды мусульманской религиозной войны, потом подкупленные богдыханом и напуганные демократическими идеями крестьянской ре-

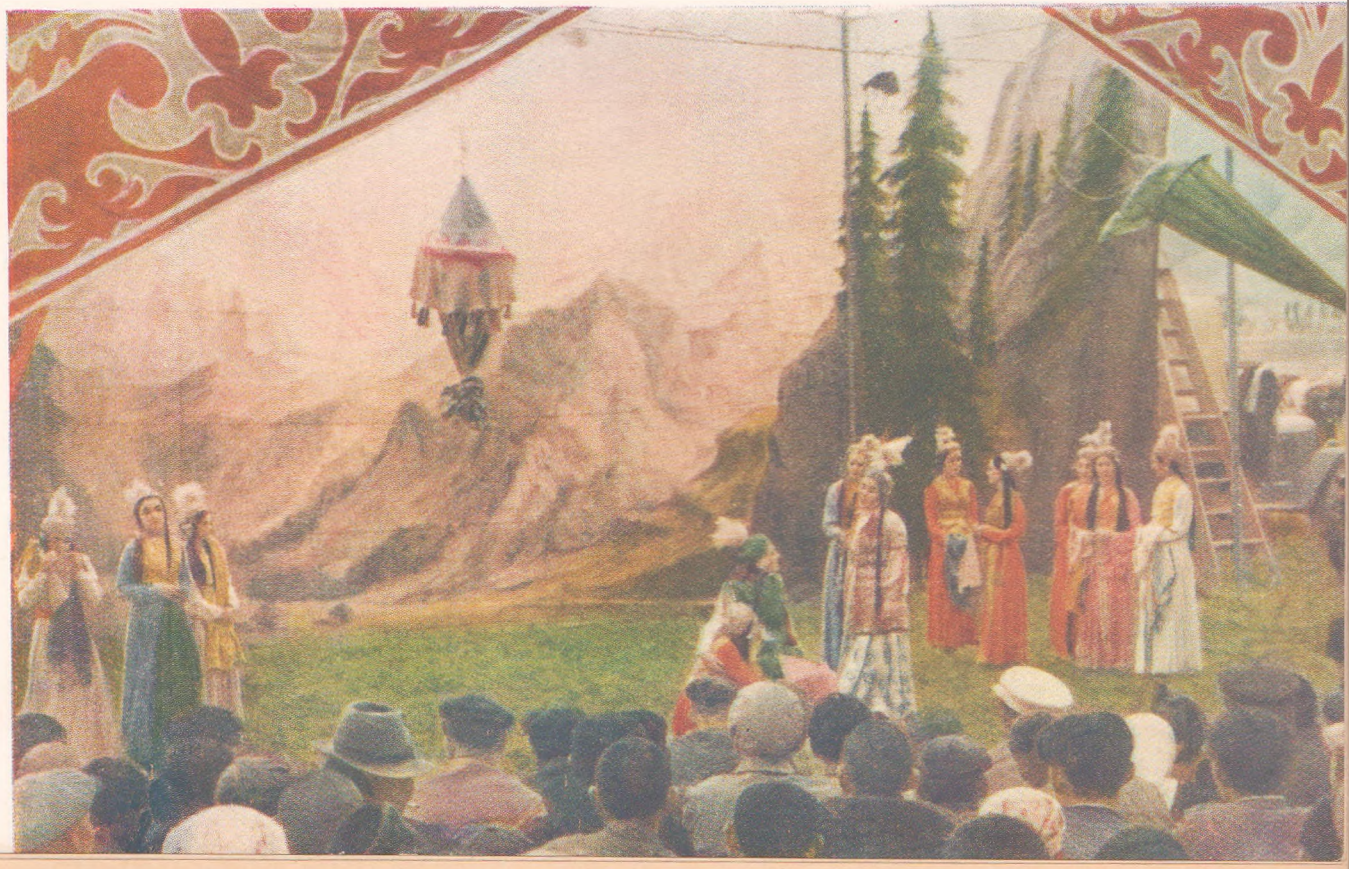
волюции, предали восставших крестьян, — в эти-то трагические дни Бый Янь-ху остался верен народу. Со всех сторон бежали крестьяне под знамена «Отчаянного тигра». И восстание вспыхнуло с новой силой.

«Человек рождается от матери, а погибает за народ!» Горделивые слова эти, говорят, сказал Бый Янь-ху, бросаясь в одну из битв. Верил ли он в победу, сказать трудно. Восстание — нам-то теперь это ясно — было в то время уже обречено: армии богдыхана почти в сто раз превосходили силы восставших. Бый Янь-ху после ряда удач потерпел сокрушительное поражение, крестьяне из его шэньсийских отрядов стали разбегаться по домам. А сам «Отчаянный тигр», отступая и сражаясь вместе с несколькими тысячами человек, каждому из которых, останься он, грозили пытки и казнь, вместе с женами их и детьми очутился в конце концов в Синьцзяни, самой западной провинции Китая, у подножий Тянь-Шаня.

Беглецы направились было в Кашгар, к его правителю Якуббеку, обещавшему им приют. Но в пути Бый Янь-ху случайно узнал, что Якуббек собирается выдать его голову маньчжурскому богдыхану за двести тысяч лан серебра. Такова была неслыханная даже для Китая цена, назначенная за голову «Большого тигра»; богдыхану все еще чудился пожар крестьянского мятежа, и он все еще страшился побежденного вождя восставших дунган. Положение беглецов казалось безвыходным. Стояла зима. Бый Янь-ху и его сподвижники очутились в замкнутом треугольнике: с одной стороны — месть, с другой — предательство, с третьей — белая смерть, ледяная цепь тянь-шаньских хребтов, непроходимых зимой. И «Отчаянный тигр» решился на то, на что до него никто не решался: перевалить вместе с товарищами, с их женами и детьми через зимний Тянь-Шань.

И это удалось ему. Правда, какою ценой! Когда дунгане появились в Иссык-кульской, а затем и в Чуйской долинах, одежда их, как шерсть на овцах, висела клочьями, почти все люди были истощены и

Спектакль на пастбище.





Школьники.

тяжело больны, а многие не дошли, умерли в ледниках Тянь-Шаня, погибли от морозов, от голода, были погребены лавинами. Те же, что дошли, тоже, вероятно, поумирали бы, если бы не традиционное гостеприимство киргизов и если бы не сердечная помощь русских. В лагеря дунган сразу приехал фельдшер Василий Фрунзе, он организовал спасательные экспедиции в горы, вывез оттуда и вылечил сотни людей. Удивительно ли, что посегодня советские дунгане, внуки шэньсийских повстанцев, чтут память Фрунзе-отца не меньше, чем память Фрунзе-сына.

Едва дунгане очутились в пределах России, богдыхан потребовал у царского правительства выдачи Бый Янь-ху. Один русский чиновник в то время писал из Китая: «Погибнет Даху — маньчжурское правительство значительно успокоится и вскинет голову, а представитель Великобритании в Пекине еще больше покроет себя лаврами. Я уверен, что в Лондоне будут хлопотать о выдаче китайцам Даху, за обладание которым решено цзянцзюнем Цзинем издержать 200 тысяч лан». Но ни маньчжурскому богдыхану, ни европейским посольствам в Петербурге не удалось добиться выдачи дунганского вождя.

В чем тут дело? Почему царское правительство отказалось выдать Бый Янь-ху? Дело было главным образом в русском общественном мнении. Во время восстания дунган в провинции Ганьсу находилась экспедиция Н. М. Пржевальского. Знаменитый русский путешественник и его друзья поведали миру о героизме восставших, о зверствах императорских войск и вызвали глубокое сочувствие к дунганам в России. И царскому правительству не хотелось и без того восстановленное против него общественное мнение России еще больше ухудшать из-за каких-то там «китайских дел».

Однако богдыхан на этом не успокоился. В Чуйскую долину, где Бый Янь-ху поселился, то и дело начали пробираться охотники за головой дунганского вождя. Боевые друзья Бый Янь-ху зорко оберегали «Отчаянного тигра», который мирно кресть-

янствовал, мотыгой пускал воду в оросительные каналы, выращивал рис. Глядя на этого труженика, многие со стороны и не подозревали, какую напряженную борьбу ему и его друзьям приходится ежедневно вести. Вся острота этой борьбы обнаружилась, когда спустя несколько лет Бый Янь-ху умер.

Было это в августе 1882 года. Наутро после похорон могила Бый Янь-ху на пишпекском кладбище оказалась разрытой и возле нее валялось деревянное чучело. Лазутчики богдыхана охотились даже за мертвой головой легендарного героя дунган, но его предусмотрительные друзья вместо покойника похоронили деревянный чурбан. А сам Бый Янь-ху был похоронен в другом месте. Где? Это осталось тайной. Так закончилась страница истории, повествующая о традиционной дружбе двух великих народов мира: китайцев и русских.

Почти в каждой фанзе Ырдыка вы найдете томик современного дунганского поэта, живущего во Фрунзе, Ясыра Шивазы. Есть у него такие строки:

Сижу — думаю обо всем,
Думаю — и хочется петь.
А если пою — вспоминаю тебя,
Китай, любимая песня моя.

Дети, внуки и правнуки шэньсийских повстанцев, поселившиеся у подножья Тянь-Шаня, через всю жизнь пронесли острый интерес к тому, что делается в Китае. И одному из них — жителю Ырдыка, члену колхоза «Дыйшин», Лосазе Маде, повезло. В годы Отечественной войны он увидел Китай. Участник похода через Большой Хинган, боец Советской Армии, Мада помогал китайцам выгонять со своей земли японцев, и там у Мады была встреча, которую запомнил он навсегда.

Дело было в Северном Китае. В одном из селений Мада решил рассказать крестьянам о своем родном колхозе «Дыйшин». Крестьяне собрались. Это были бедные люди, одетые в мешковину, истощенные, разоренные поборами японских оккупантов.

Такими же жалкими, тоже словно обнищавшими, выглядели клочки их полей, на которых рос чахлый мак и низенький хлопчатник. На их полях господствовала допотопная деревянная соха. Как Маде было рассказать живущим там темным, суеверным и недоверчивым людям о своем родном колхозе так, чтобы ему поверили? Надо было вспоминать тысячи мелочей и всем богатством жизни убедить людей, что рассказ его — правда.

Рассказывая крестьянам о колхозе «Дыйшин», Мада и сам увидел свою родину по-новому. Мелочи, которые представлялись ему обычными, на которые он дома, бывало, и внимания не обращал, здесь становились необыкновенно важными, больше того, казались чудесными. Будто волшебные, зазвучали такие обыденные для нас слова, как колхозная электростанция, колхозный клуб, детские ясли, медицинский пункт, библиотека, колхозный маслозавод, электрическая мельница, — все то, что стало бытом в «Дыйшине». Мада рассказывал, как в Ырдыке на электроэнергии работают зерноочистительные машины, сортировки, триер, клейтоны. Рассказывал, что к двум токам их колхоза протянута линия электропередач для молотилок. Рассказывал об электродойке коров, электрострижке овец.

И неожиданно совершил ошибку. Едва он заговорил о том, чем занимался дома, — об урожае лекарственного мака, — его слушатели стали недоверчиво переглядываться. Пока речь шла о сельскохозяйственных машинах, в рассказ еще можно было поверить — мало ли на свете чудес! Но чтобы мак, который они сами выращивают этими вот заскорузлыми от труда руками, чтобы с каждого му можно было собрать его сока в десятки раз больше: вранье, никто не поверит! Когда Мада завершил свой рассказ, один из крестьян сказал насмешливо:

— От твоих слов растроганный соловей может упасть с ветки!

С чувством смущения и неловкости, точно врун, прощался Мада в этом селении с крестьянами. И в других китайских селениях он не повторял этой

ошибки и сильно уменьшал свой действительный урожай, чтобы ему поверили — в этом и во всем остальном. Забавно, что историю эту можно заключить следующей справкой: после Отечественной войны, когда Лосаза Мада вернулся домой, он и его друзья увеличили сбор опия, по сравнению с довоенным, еще в восемь раз.

Лекарственный мак — цзинь-хуа, «золотой цветок», как именуют его иссыккульцы-дунгане, — драгоценная культура. Его сок колхозники сдают государству. Во всем мире мак этот называют опийным, так как из сока его делается тот «черный дым», что принес неисчислимые страдания народам Китая и некоторых других стран. У нас в Советском Союзе его именуют лекарственным маком, ибо курение опиума у советских людей не в ходу, а наши врачи приготовляют три тысячи разных лекарств, куда входит опий.

Да и самый мак, который выращивают иссыккульцы, совсем не тот, что был. Это новый тянь-шаньский раннеспелый сорт, созданный советскими селекционерами на поле зональной опытной станции лекарственных растений в Пржевальске.

Грандиозный цветник напоминает поле этой научной станции. Здесь собрана самая богатая в мире коллекция лекарственных маков — около тысячи сортов. Когда идешь этим полем, кажется, будто вокруг поработали китайские живописцы, мастера ярких и чистых красок. Маки не только белые, но и голубые, желтые, розовые, синие, оранжевые, белые с красным глазком, глядят на вас раскрытыми чашечками. Между ними зеленеют коробочки, увенчанные маленькими коронами. Семена лекарственного мака — белые, но вкус их тот же, что и у обычных черных семян.

Следует сразу сказать, что вопреки широко распространенному заблуждению лекарственный сок выжимается вовсе не из семян мака. Не в семенах образуется он, а в стенках коробочек. В период сбора каждый день после полудня, когда растение прогрето солнцем, колхозники надрезают стенки коробочек.

Сквозь надрезы выступает млечный сок, он застывает янтарными каплями, а к ночи буреет. И ночью, до солнца, сборщик собирает застывшие капельки в кружку, подвешенную к поясу. Это и есть опий-сырец.

Обработка мака в иссык-кульских колхозах механизирована: на маковых плантациях работают тракторы, специальные сеялки, удобрители, культиваторы. И только сбор сока механизировать пока не удалось, его собирают вручную. Однако старинные инструменты для этого — генчжя дозя (ножичек для надреза коробочек) и гуа чжен доза (серповидный ножичек для сбора опия) уже лежат у дыйшинцев среди ненужного хлама. Колхозники делают теперь надрезы — сразу три надреза на каждой коробочке мака — инструментом, похожим на рубанок с тремя ножами, изобретенным советскими людьми здесь, на берегах Иссык-куля. И лопатка для сбора сока тоже сконструирована новая, с ее помощью одним движением легко соскоблить застывший сок до последней крупинки.

Большая часть лекарственного мака в СССР выращивается в районе Пржевальска. Впервые эту культуру принесли сюда из Китая дунгане, и они до революции одни тут выращивали мак. Теперь, кроме колхоза «Дыйшин», маковые плантации завели многие колхозы Прииссыккулья. Лекарственный мак перестал быть чисто дунганской культурой.

Да и сам колхоз «Дыйшин» сделался многонациональным: он объединился с соседними русскими и киргизскими колхозами. Ныне в этой артели, которая по-прежнему носит китайское имя, на маковых полях бок о бок работают люди одиннадцати национальностей: дунгане, киргизы, русские, украинцы, латыши, белорусы, уйгуры, узбеки, казахи, калмыки и татары. Хоть и на разных языках: по-русски — дружба, по-киргизски — достук, по-китайски — юи, но одно слово это связало тут всех в тесную семью и принесло каждому то, что зовется по-китайски — синфу, по-киргизски — бакист, по-русски — счастье.

5. В УЩЕЛЬЯХ ПРИИССЫККУЛЬЯ

В наш век поэзия и наука идут навстречу друг другу. Все больше писателей черпает свое вдохновение в творческих буднях науки. Все больше ученых в своих статьях и рефератах ищут слова, исполненные поэтической силы. И богатство научного языка, находя свое художественное выражение, все более крупными пластами входит в народную жизнь.

В Киргизии живет и работает известный ботаник профессор И. В. Выходцев. Ученые знают его работы о естественных и искусственных сенокосах на Тянь-Шане. Однако сейчас, путешествуя вокруг Иссык-куля, нет-нет да и подъезжая к подножью гор, окруживших озеро, поглядывая отсюда вверх и удивляясь прозрачности воздуха, благодаря которой — глядите! — каждая травинка, каждый цветок так поразительно далеко видны на склоне горы, — вспоминаешь совсем другую работу этого ученого: статью «Геоботанические ландшафты Киргизии». Эта статья — сама поэзия. Так как напечатана она только один раз в «Известиях Киргизского филиала Академии наук СССР» тиражом всего в семьсот экземпляров и потому широкому читателю неизвестна, разрешу себе привести из нее большой отрывок:

«Весна победно шествует по горам Киргизии!.. Персики, абрикосы и урюки уже отцвели, им на смену зацвели яблони, груши, сливы, вишня... Волна тюльпанов сменяется кроваво-красными полями мака и ремерии, васильковый иксиолирион и золотистые арнебии ткут на них свои узоры, бело-розовые эремурусы вуалью застилают предгорья. В долинах наступают жары. Душистые белая робиния и серебристая джида поят ароматом воздух долин Киргизии и заканчивают собою цветение садов в этой прекрасной, солнечной советской стране.

Лето вступает в свои права, и в долинах начинается зной. Над ними на зеленом цоколе предгорий по-зимнему блистают снежные гребни и вершины гор, до них еще не дошло живительное дыхание весны. Однако весна неотступно следует и в горы. В мае —

июне в поясе низких гор цветение в полном разгаре. Все цветет и цветет восторженно, упоенно. Воздух полон ароматов цветов! Какие краски! Какая мозаика листвы и цветов! Кусты роз с золотисто-желтыми, чайными, белыми, бело-розовыми и розовыми крупными и мелкими цветами; усыпанные желтыми, сиреневыми и белыми цветами жимолости; гигантские бело-розовые соцветия прекрасных эремурусов; таран с поникшими белыми кистями душистых цветов; клумбы сине-фиолетовых вик, золотистых чин, фиолетово-сиреневой душицы, розового ясенца, золотистого джунгарского крестовника, розоватого чистеца и других, не менее красиво цветущих растений ткут изумительный, невиданный ковер по склонам гор...

Нет! Кто хоть раз увидит весну в Тянь-Шане, тот никогда ее не забудет. Прекрасна она и в своей небесной лазури и в своих земных изумрудах.

Время идет, лето наступает, и весна уходит еще выше. Вот она уже в субальпийском поясе, на субальпийском лугу, который представляет собой изумительно сочный зеленый ковер, затканный белыми анемонами, фиолетовым шемюром, голубыми незабудками, оранжевыми и золотистыми маками, огненными мелколепестниками, сиреневыми астрами, сиренево-фиолетовой геранью и другими тянь-шаньскими высокогорными цветами. Местами склоны фиолетовые от бесчисленного количества шемюра, сиреневые от герани, ложбины как бы выкрашены оранжевыми огоньками и голубыми незабудками. Аметистами, рубинами, топазами, каплями крови и золота рассыпано все это великолепие по склонам гор. Темно-зеленые малахитовые пятна стелющегося можжевельника (арчи) дополняют чудесную картину киргизского субальпийского луга.

Вот вы уже в Альпах! Прохладно! До снегов и ледников рукой подать! Шум быстрых грозных горных потоков остался внизу. Говорливые ручейки, как дети в саду, ведут свой разговор. Тишина! Вы идете по низкотравному, как будто бы монотонному альпийскому лугу, но если присмотритесь, то увидите

в траве бесконечное количество синих, белых, голубых, золотистых, фиолетовых, розовых, алых, красных звездочек, головок и т. п. Это генцианы, лютики, примулы, остролодки, астрагалы и другие бесчисленные маленькие, но изящные цветы почти в непосредственном соседстве с ледниками.

Еще выше, у снежных и ледяных полей, среди скал и альпийских каменных россыпей, кое-где голубые огоньки, белый калиантемум, желтые лютики, рихтерия и «подушки» дриадоцвета. Кругом могильная тишина. Вы отчетливо ощущаете биение своего сердца».

Эти строки о шествии весны по Тянь-Шаню можно во всей полноте отнести и к горным хребтам, окружающим Киргизское море. В особенности к хребту Терскей-алатоо, к его северным склонам, смотрящим на озеро.

Хребет Кунгей-алатоо, крутые южные склоны которого местами подходят к берегу Иссык-куля, более дик и суров. На его склонах, обжигаемых лучами солнца и иссушаемых горячими ветрами, травы прячутся в затененные щели и там цветут так же восторженно, упоенно. Но глаз чаще задерживается тут на обнаженных скалах, растрескавшихся иноздреватых, да на каменистых осыпях, которые казались бы безжизненными, если бы изредка не мелькала среди них ящерица или неожиданно из-под ног не взлетала стайка кекликов — горных куропаток — сероватых, с голубым оттенком, под стать камням.

Есть одна краска на хребтах Терскей-алатоо и Кунгей-алатоо, которая путника особенно привлекает, притягивает, манит к себе, — иссиня-черная зелень выглядывающих из глубины ущелий тянь-шаньских еловых лесов. Углубитесь в ущелье вдоль шумной речки, и скоро справа и слева вас обступят — сначала шеренгами, группами и куртинами, тщательно выбирая теневые места, потом, когда войдешь в прохладу ущелья, сплошь — высокие тянь-шаньские ели.

Тянь-шаньская ель на редкость пряма и стройна. Густая крона ее опускается до самой земли, так что

ствола не видать. Шестидесяти метров достигает ее высота. В ущельях Тянь-Шаня ель образует настоящие дремучие леса. Бледные космы мха свешиваются с ветвей над влажной землею. Среди папоротников и бурой перепревшей хвои в прохладном сумраке валяются еловые шишки, и из земли вылезают грязно-белые грузди. Из чащи доносится свист дрозда. Запахи смолы, прели и плесени кружат голову.

На полянах в еловых лесах, поросших смородиной и малиной, в высокой по пояс траве, с цветка на цветок перепархивают яркие бабочки. Воздух напоен звоном пчел и шмелей. Не редкость найти на такой поляне и иссык-кульский корешок, о свойствах которого предупреждают каждого путешествующего по Киргизии.

Его легко отличить по темно-синему, почти фиолетовому цветку. В корне этого растения содержится яд аконит. Самым сильным ядам земли не уступает по ядовитости иссык-кульский корешок. Достаточно подержать его в потной руке, чтобы отравиться. Стоит хотя бы кусочку корешка полежать в тюбетейке, и ежели после этого человек, надевший на голову эту тюбетейку уже без корешка, вспотеет, он тоже может отравиться, даже умереть. Советские врачи используют яд иссык-кульского корешка в микроскопических дозах для приготовления некоторых лекарств.

На земле растет двести тысяч видов разных растений. Но люди освоили пока лишь несколько сот. Сколько предстоит еще открытий, сколько новых целебных свойств отыщут врачи, когда изучат все растения земли! Совсем недавно в корнях тянь-шаньского растения сарындыза обнаружены новые лактоны: настой сарындыза целительно действует на язву желудка и двенадцатиперстной кишки. А другие лечебные травы и корни!

Собиратели лекарственных растений разыскивают по предгорьям киргизских хребтов минбаш (тянь-шаньский вьюнок), из которого делается известное анестезирующее средство новокаин; и валерьяновый корень, не уступающий лучшим тюрингским сортам; и эфедру, из которой добывается эфедрин, заменяю-

щий адреналин; и ферулу, смола которой славится как сильное средство от ревматизма; и сорняк термопсис — бобовое ядовитое растение, из которого добывается алкалоид термопсин, заменяющий цетизин и лавелин, имеющий большое значение для военно-полевой хирургии; и аю-чач — «медвежий волос» — отличное средство от чесотки животных; и лекарственный тимьян, шалфей, ревень и много других целебных трав и корней.

За барбарисом приходят с корзинами осенью в еловые леса Прииссыккулья местные ребятишки. Из синевато-алых ягод барбариса на Пржевальском винзаводе делают плодоягодное вино. Летом не редкость встретить в лесах этих и колхозного пасечника. Весело горит его костер на опушке около ульев, ветер подхватывает космы бурого дыма и разносит далеко по ущелью. Иссык-кульская долина знаменита пчеловодами; горные цветы дают колоссальное количество нектара. В еловых лесах Терскей-алатоо случается наткнуться и на одичавший рой, упущенный неловким пасечником.

Охота на диких пчел — увлекательное занятие. Известный в Киргизии, ныне умерший, писатель-натуралист В. Борзуков рассказывал, как вместе с одним иссык-кульским стариком колхозником участвовал в такой охоте. Как-то раз Еруслан Лазаревич (так звали старика), выслеживая сурков на горном пастбище, заметил много пчел на цветах. Пришел туда же на следующий день, поставил плоскую посудину с сытой — медом, разбавленным водой. Пчелы облепили сыту. Стал старик следить, припав грудью к земле, чтобы улетающая пчела была видна на фоне неба, куда летят. Постепенно передвигая приманку, выследил летную дорогу к дикому улью: она пропадала в лесу в непроходимых зарослях колючего барбариса. Долго искал старик улей, пока, наконец, не обнаружил его среди зарослей в маленькой пещере: соты, прилепленные к верху пещеры, спускались почти до земли. В прохладный день, когда пчелы держались в гнезде, старик вместе с Борзуковым развел дымарь. Клубы густого дыма оглушили пчел.

Пчеловод подрезал соты и вытряхнул пчел в роевой мешок. Потом он переселил диких пчел в один из колхозных ульев. Около пяти пудов душистого меда получил старик из сот, нарезанных в пещере.

В 1955 году в Прииссыккулье, на пасеках урочища Кен-су, появились новые пчелы, далекие гости. Их прислали на самолете из Сванетии. Привезли пчеломаток, каждую в маленькой коробочке, величиной со спичечную. Высокогорная кавказская пчела работает лучше местной и собирает больше меда. Пройдет несколько лет, и крылатые гости с Кавказа расселятся по всем пасекам иссык-кульских колхозов.

Охотнику, бродящему с ружьем по еловым лесам Прииссыккулья, случается на лесной поляне увидеть силуэт насторожившегося элика — самца косули — с небольшими ветвистыми рогами и гордо поднятой головой. На вершинах елей воркуют крупные голуби-вихяри. Стучит дятел. В траве мелькает, мгновенно исчезая, светлый охристо-желтый мех тянь-шаньской лисы.

Среди трофеев, которые приносит охотник из здешних еловых лесов, встречаются, кроме лисы, еще тетерев и заяц, горностай и ласка, дикая свинья и барсук. Случается охотнику встретиться в лесной чаще и с рысью. Конечно, охотничья гордость удовлетворена, когда, вернувшись домой, небрежным жестом бросаешь на пол причудливо разрисованную шкуру этого хищного зверя. Однако и мясо рыси оставлять совам да лисам на поживу охотнику не советую. Меня накормили однажды на Тянь-Шане жарким из рыси: это нежное и вкусное мясо, не имеющее никакого специфического привкуса, похожее на телятину.

Хорошо лежать в тени широколапой ели возле потока, что несется по горной щели, смотреть на какой-нибудь водопадик, к которому рябина протянула ржавую кисть, созерцать, как в потоке беспорядочно сталкиваются друг с другом волны и меж ними будто подпрыгивают зеленовато-серые и синие камни; как по галечнику противоположного берега бегают тянь-шаньские кулики — серпоклювы, легко переворачи-

вая своими кривыми клювами камни и выковыривая из-под них червяков и личинок; как ловко рыбы взбираются против течения по водопаду, блеснут на мгновение в стеклянной массе падающей воды, и уже нет их, уже они наверху. Краем натуралистов зовут тяньшаньцы свои еловые леса.

Затаясь в приречных зарослях шиповника, образующих густые розарии, путнику случается увидеть и вышедшего из еловой чащи к водопою благородного оленя-марала, охота на которого в Киргизии запрещена. А какая удача, если доведется вам понаблюдать и как горная утка-атайка от гнезда переправляет своих утят по горной речке к озеру. Ревет бешеный поток, прядая с камня на камень. Словно крошечные пуховые комочки, мчатся утята в пенистой воде: их швыряет о камни, но никогда они не разбиваются, так густ и упруг их пух.

Чтобы завершить наш беглый рассказ о птицах и зверях ущелий Прииссыккулья, надо сказать, что в последние годы здесь все чаще гремит выстрел по ястребу. Настоящий охотник и прежде не жалел патрона на этого хищника: ястребы истребляют многих полезных птиц и зверей. Но теперь борьба с ястребами получила тут новое значение. Уже несколько лет, как иссыккульцы — ученые и колхозники — начали обогащать животный мир своей чудесной долины.

В устьях речек они выпустили ондатру — она быстро расплодилась, расселилась, понастроила свои «хатки» по берегам Иссык-куля. Они привезли к своему синему озеру и уссурийского енота, славящегося блестящим черновато-бурым мехом; расселяясь, этот зверь поднялся вдоль речек и встречается уже в еловых лесах. Колонок — сибирский таежный зверек из семейства куньих — был выпущен в ельники Джетыогуза, но теперь живет и в лесах соседних ущелий. И постоянной жительницей прииссыккульских еловых лесов сделалась голубовато-дымчатая гостья, приехавшая издалека, из сосновых боров Алтая, — белка-телеутка.

В 1951 году поздней осенью привезли двести белок в ущелье Джиланды, недалеко от Пржевальско-

го опорного пункта Киргизской лесной опытной станции. Когда северянок этих выпустили из клеток, они стремглав взобрались на деревья и спрятались в густых кронах елей. Первое время звероводы подкармливали телеуток, разбрасывая по лесу семечки подсолнуха и хлеб. Надо было дать им освоиться с незнакомой пищей: у себя на родине телеутки кормятся сосновыми шишками, здесь надо было привыкнуть к еловым. Скоро белки полюбили и их. Казалось, все тут было для них хорошо. Единственное обеспокоило звероводов — у белки появились враги: на второй день после того, как телеуток выпустили, одну из них, на глазах звероводов, поймал ястреб-тетеревятник. Тогда-то звероводы и кликнули клич ко всем охотникам-иссыккульцам: истребляйте ястребов, превращайте горы Тянь-Шаня в беличий край!

Летом в некоторых ущельях Прииссыккулья можно встретить людей еще одной, нелегкой и по-своему тоже интересной профессии — мастеров горного сплава.

Раннее утро. Быстрая речка небольшим потоком струится сквозь еловый лес меж обкатанных водою скал и камней. Но солнце поднимается выше, снега вокруг ледников тают сильней. И уровень реки растет на глазах. Вода из серо-голубой делается почти черной. Сбоку от русла рождаются новые потоки — десятки новых потоков. И они тоже взбухают, перекатываются через камни, сливаются в один грозный поток. Река клокочет. Все более диким становится ее вой. Массы теперь уже рыжей воды со стуком катят камни по дну. Именно в это время сплавщики сталкивают в реку заготовленные заранее еловые бревна.

Вековые стволы, с которых сучья обрублены, крутясь меж камней, мчатся в потоках, налезая друг на друга, иногда круто встают на попа, чтобы тут же рухнуть и устремиться вперед. Бревна, выброшенные силой потока на берег, сплавщики сталкивают баграми обратно в пенящуюся воду. Так деревья мчатся до вечера, пока в горах не прекращается таяние ледников: тогда река опять мелеет, и тысячи деревьев

«повисают» на скалах, ожидая следующего дня — солнца — воды.

Бывает и так, что в разгар сплава образуется затор: громадное количество бревен, громоздясь, перегораживает ложе реки. Это грозит бедой: река, взбухая, может вырваться из русла и метнуться вбок, сокрушая и смывая все на пути. Потому-то на опасных участках дежурят обычно опытнейшие сплавщики. Такой сплавщик с багром в руках смело вступает на массы бревен и, вытаскивая багром бревно то в одном месте, то в другом, «ослабляет» затор. Наступает мгновение, когда под давлением воды вдруг двинется, закипит под ногами у сплавщика вся масса еловых стволов. И сплавщик — тут-то по-настоящему и показывает он свое виртуозное мастерство — с багром в руках, по скользким мчащимся бревнам, в облаке брызг выбирается на берег.

Недавно еще на всех без исключения сплавных реках Киргизии заготовленный лес подвозился к верхним рюмам и потом сплавлялся вниз по реке. Теперь молевой сплав сохранился лишь на некоторых реках. Во многие ущелья Прииссыккулья пролегли автомобильные тракты, на лесные делянки привезли передвижные электростанции, посреди вырубок запели электропилы; и лесопогрузочные краны, смонтированные на автомашинах «ЗИС-105», начали прямо в лесах грузить бревна на грузовики. На смену сплавщикам в горы Тянь-Шаня пришли автоколонны и дорожные бригады. Привычным сделался в здешних ущельях и рокот трелевочной лебедки, работающей на подкатке леса к озеру.

Тянь-шаньские ельники — единственный в Средней Азии свой собственный строительный лес. Вот почему вокруг Иссык-куля, хоть природные условия и тяжелы, создано несколько леспромхозов. Гигантская стройка требует много леса. Ель рубят и рубят... Долго ль вырубить все леса? Между тем тянь-шаньская ель и без того живет «в критических условиях климата».

Некогда, в доисторические времена, климат Тянь-Шаня был прохладен и влажен, еловые леса покры-

вали все горы. Мало-помалу климат изменился, леса под натиском солнца отступили в ущелья, в затененные места. Но даже и в ущельях есть склоны, где на вырубках ель в наше время уже не возобновляется, изобилие солнца и иссушающий ветер убивают ее. В таких местах ель запрещено вырубать. Всякому понятно, какое значение в этих условиях имеет возобновление тянь-шаньских лесов.

Именно этим и занимаются научные сотрудники Пржевальского опорного пункта Киргизской лесной станции. Большой бревенчатый дом этого научного учреждения с тесовой крышей и открытой верандой стоит среди яблонь и слив в урочище Джиланды, на высоте двух тысяч ста метров над уровнем моря. В этом ущелье люди думают о завтрашнем дне всех ущелий Прииссыккулья. Да и не только ущелий!

Пойдите в лесопитомник Пржевальского опорного пункта. Вы увидите, кроме молоденьких елей, еще и лиственницу, уксусное дерево, волжанку, бересклет, черный и грецкий орех, а главное — крымскую и сибирскую сосны. Оказалось, сосны лучше тянь-шаньской ели приспосабливаются к климату Киргизии: крымская сосна приживается в таких местах, где нечего и думать вырастить ель. На девяноста гектарах здесь уже зеленеет и роща сибирской сосны. В ближайшие годы — сперва небольшие сосняки, а потом и сосновые боры, голубоватые, пропахшие ароматом смолы, начнут расселяться отсюда по всем тянь-шаньским хребтам.

6. ОЗЕРО ОТДЫХА

Особый ободряющий холодок предгорий начинает тянуть навстречу вашей автомашине. Дорога, извиваясь, подводит вас у села Эссеномановки к ущелью, по которому прыгает с камня на камень речка Джеты-огуз, белая и кипящая. Нарастающий рокот ее то вплетается в гул мотора, то, когда дорога отступает, сходит на нет. Пыльные кустарники висят

кое-где на голых стенах ущелья. И вот уже поперек стоят огромные красные скалы песчаника, оставив лишь узенькую полоску для дороги, прижавши ее к самой реке. Они так ярки, что кажется, шел некогда тут маляр-великан и из озорства мазнул по скалам своей великанской кистью. А народная фантазия сравнивает их с красными быками, отсюда и название всему ущелью: Джеты-огуз — «Семь быков».

Минуешь их, и сразу открывается кольцо необыкновенно чистых по тону и богатых по цветовой гамме красок. Зеленоватый поток, пенясь, катится по камням мимо корпусов санатория Джеты-огуз. Вокруг на склонах стоят тянь-шаньские ели, и из земли выступают покрытые желтыми лишайниками крупные камни, меж которых разбросаны зеленые лужайки с круговинами кустарников. Белые и желтые цветы шиповника, розовые жимолости, кусты боярышника, малины и черного барбариса, на полях — ирисы, лесные орхидеи и толстые палицы бело-розовых эремурусов, выше — меж зарослей можжевельника — огненные циноглоссумы и белые холодные эдельвейсы, а еще выше, на фоне белоснежных гор, яркое оперение пролетающих птиц: какая палитра исчерпает все краски этого высокогорного оазиса!

Не успеваешь отряхнуть с ног дорожную пыль, а фиолетово-синяя дымка, как огромный плащ, уже окутывает ущелье. Быстро наступает ночь. И хотя устал с дороги, все же сонными очами успеваешь отметить, что звездное небо здесь кажется очень высоким, куда выше, чем в долинах. Хорошо, крепко спится под шум стремительной горной реки. Просыпаешься отдохнувший каждой клеточкой тела. Отворяешь окно. Поворачиваясь, створка отражает в себе горный пейзаж, и в комнату вливается аромат еловой хвои. Выглядываешь. В небе парят грифы. А далекие снеговые горы, поднимающиеся позади ущелья, облиты таким светом, что похожи на светящийся дым или облако, и вершины их будто горят и дымятся. Так начинается первый день, первое утро курортника — фрунзенца ли, ташкентца или уральца, приехавшего лечиться в Джеты-огуз.

Нигде в мире нет на такой высоте (две тысячи двести метров над уровнем моря) курорта, обладающего столь сильными радиоактивными водами. Интересно, что когда подходишь к источникам или, как их именуют врачи, к грифонам Джеты-огуза, слышишь их пульс, слышишь, как ритмическими толчками вода выходит из глубины земли. Геологи полагают, что воды этих источников поднимаются по меньшей мере из глубины в два-три километра. По свидетельству врачей, целебные свойства терм Джеты-огуза могут соперничать со всемирно известными водами грузинского курорта Цхалтубо.

В горах Тянь-Шаня минеральных источников уйма. Буддийские надписи, высеченные на скале в Иссыгатинском ущелье Киргизского хребта, говорят нам, что уже в VII веке люди искали исцеления своим болезням в горячих ключах, бьющих возле этой скалы. А изображение Будды на той же скале местные киргизы, в благодарность за излечение, смазывали бараньим салом еще недавно, когда там уже вырос курорт Иссыг-Ата — «Горячий отец», ныне известный на всю Среднюю Азию. С еще более древних времен люди знают источники Хазрет-Аюба на юге Киргизии: там тоже вырос курорт Джалал-Абад, едва ли не самый благоустроенный в Средней Азии. А как много еще неосвоенных человеком целебных источников рассыпано по Тянь-Шаню!

Раз довелось ехать мне через Алайский хребет на грузовике, вдвоем с шофером. Дело было зимой. Вдруг шофер остановил на серпантине дороги машину и побежал куда-то вбок. Я пошел следом. Он добежал до чернеющей среди снегов дымящейся лужи, окруженной кромкою льда, быстро разделся, окунулся по шею и замер, блаженно щурясь. Потом выскочил, побегал по снегу, оделся и давай ходу к машине. Оказалось, проезжая тут — летом ли, зимой — он завел себе правило купаться в источнике. И утверждал, хоть и шутливо, но за этим чувствовалась убежденность, что набирается тут здоровья.

Вот так же, наверное, чтоб «набраться здоровья», стихийно потянулись еще до революции крестьяне Ис-

сык-кульской котловины к Аксуйским щелочным горячим ключам. Эти ключи бьют в одном из ущелий хребта Терскей-алатоо, близ села Теплоключинского. Вслед за крестьянами сюда пришли врачи, и потом был создан курорт Аксу, имеющий славу колхозного курорта.

А совсем недавно, в 1955 году, колхоз имени Буденного, что на южном берегу Иссык-куля, на своей земле, в ущелье Чон-Қызылсу, возле минеральных источников открыл свой маленький курорт, куда посылает отдыхать своих колхозников. Кроме того, врачами исследованы и признаны целебными только на одном хребте Терскей-алатоо еще минеральные источники Алтын-Арасан, Қокомерен, Турсу, Керегe-Таш, Қаджи, Бозщук, Улахольские, Джукучакские. Придет время, и вокруг каждого вырастет по курорту.

Есть в Иссык-кульской долине и другие курорты: те, что воздвигнуты на берегах озера. Среди них известней всего — кумысолечебный, горноклиматический и одновременно морской курорт Қойсара, находящийся в пятнадцати километрах от Пржевальска на южном берегу Иссык-куля.

Красивое зрелище открывается, когда подъезжаешь к Қойсаре на пароходе. Навстречу выплывают лодки, оставляя на воде долго не стирающиеся следы. Синева Иссык-куля ограничивается золотистым песчаным пляжем, расцвеченным одеждами и телами купальщиков. Зеленеющие за пляжем луга и поля, простершиеся на несколько километров, рисуются глазу отсюда лишь светлой полоской, которая как бы подчеркивает склоны изрезанных ущельями, увенчанных снегами гор. И возле самого озера в тридцатигектарном парке, выращенном искусственно, но уже густолиственном, белеет здание санатория. Қойсара целебно действует на нервных больных.

Гигантская естественная физиотерапевтическая лечебница, созданная природой как бы специально для того, чтобы бороться с людскими недугами, Иссык-куль, еще три десятка лет назад был, как и вся Киргизия, не столько больницею, сколько кладби-

щем. Эпидемии оспы, холеры, чумы и тифа время от времени охватывали все тянь-шаньские хребты, пробираясь даже в природные карантины — в долины, путь к которым лежит через снежные перевалы. Кожные заболевания, трахома и малярия были в Киргизии бытовыми болезнями.

И в те дни один из администраторов города Пржевальска писал в докладной записке: «Киргизы во врачебной помощи не нуждаются, прекрасно обходятся помощью знахарей и табибов. Если же и болеют, то только в силу своего невежества или по злому умыслу». Да что администраторы, даже единственный практиковавший в Пржевальске врач писал в те времена, что «киргизам лечебной помощи и не надобно, ибо кочевой образ жизни спасает их от грязи, а ежели по собственному нерадению они и подвергают себя болезням, на то у них искусно владеющие киргизской медициной бакши существуют».

Кто из людей старшего поколения в Киргизии не помнит бакши — этих знахарей, бормотавших заклинания под аккомпанемент комуза и плясавших с ножом в руках, чтобы злые джины испугались и выскочили из тела больного. Однако так как ты, киргизский юноша, студент или школьник, этого уже не видал и так как подавно не доводилось видеть это вам, собеседники мои по пляжу, приехавшие издалека в Койсару, и вам, читатели мои, живущие за тридевять земель от Тянь-Шаня, а без картины этого вряд ли каждый из вас, осматривая киргизскую больницу, поликлинику или санаторий, разглядит в них нечто большее, чем обычное медицинское учреждение, где лечат больных, и это значит, что вы пройдете мимо главного, не увидите его, не поймете, — поэтому, отдыхая с вами на берегу Иссык-куля, я позволю себе рассказать кое-что об этом прошлом. Начну со сцены, свидетелем которой я был в Киргизии в 1929 году.

Очаг топился конским пометом. Трехлетняя девочка таскала по юрте вокруг нас на толстом аркане

кошку, уже смирившуюся с ролью куклы и мгновенно засыпавшую, едва веревка на ее шее ослабевала. Поглядывая в кастрюлю, стоявшую на треножнике, мы молчали. Мы — это «витаминная тройка».

В некоторых горных местностях Киргизии кочевники никогда прежде не видали фруктов и овощей. Они питались мясом, молоком и небольшим количеством муки и соли. Это было причиной некоторых болезней. Чтобы покончить с этим, летом 1929 года и надумали отправить в горы «витаминные тройки», в каждой — агитатор, повар и овощевод. Делом нашего повара Александра Ивановича было устраивать местным людям вкусное угощение из овощных блюд: такое вкусное, чтоб понравилось и захотелось готовить самим. Мне, агитатору, вменялось в обязанность пропагандировать витамины. Третьим у нас был огородник Костя: он возил мешочки с семенами овощей, годных для высокогорного земледелия, и обучал киргизов выращивать огурцы, капусту, редиску, морковь.

Однако в то утро, о котором речь, Кости с нами не было. Еще засветло он ускакал за врачом. В углу юрты на ветхом ситцевом одеяле лежал больной комсомолец Урлакан. Всю ночь он метался в бреду, под утро очнулся, позвал мать, но, увидев усталые круги под ее глазами, ничего не сказал и отвернулся. Потом он снова потерял сознание.

Мы ждали сразу врача и знахаря. Лечебно-санитарный караван двигался где-то по долине Джумгала — в сотне километров отсюда, и было ясно, что врач приедет не раньше вечера. Знахаря же, несмотря на наши отговоры, пригласили родители больного. Это был известный бакши, носивший необычайно пышное имя — Кулмамбет Ашымбай Есенджан Туре-гельды Ходжаев. Жил он неподалеку за хребтом, и потому скоро мы услышали стук копыт его лошади.

Киргизы, вышедшие встречать его, столпились перед юртой. Бакши — пожилой киргиз с насурмленными глазами и лицом, изрытым «желтым цветком» (оспою), — соскочил с коня, вынул неспешно из полосатой переметной сумы связку колокольчиков, прямой нож — ханджар, рукоятка которого была увеша-

на пестрыми тряпочками, головной убор, весь в бубенцах, и много других вещей. Откинув с двери кошму, знахарь нагнулся и перешагнул порог юрты.

Комсомольцу было все хуже. Он порывисто дышал и тянул пальцы к груди. Жар охватил его тело и всего выкручивал, как выкручивают над корытом мокрое белье. Бакши уверенно подошел к Урлакану, пощупал у него пульс. Потом осторожно, двумя пальцами вытянул его белый пересохший язык и покачал головой.

— Плохо, — сказал он по-киргизски и взял в руки комуз.

Он натер еловой смолой свитые из бараньих кишок струны, и пальцы его вприпрыжку бросились к ним. Казалось, осы заволновались и густым роем поднялись над струнами, мягко и протяжно гудя. За занавескою в юрте заплакала мать Урлакана, старая женщина.

Хитрые жужжащие звуки полетели вдоль войлочных стен юрты. Они как бы кружились, поднимаясь все выше и выше, и вдруг на полутоне оборвались. Недоконченность мелодии, ее невысказанность томила, отчего и мы, сторонние люди, почувствовали своего рода озноб. Родственники больного из чашки опрыскали стены юрты коровьим молоком. На очаг, с которого мы еще до того убрали наш треножник с кастрюлей, они кинули пучок адырашмана, и одурманивающий запах этой травы растекся по юрте. По приказанию знахаря они привели лошадь и барана, привязали животных к двум сторонам юрты и просунули кончики веревочек внутрь. На этом приготовления были закончены.

Тогда бакши схватил снова в руки комуз и, мягко покрывая на грифе зажатия, заиграл угрожающую мелодию коркутуу. Низкие звуки струн, переплетаясь, будто бы стлались по земляному полу. Иногда неожиданный высокий звук как бы взлетал вверх, но тут же падал в густую сеть басовых струн. Чистый, вибрирующий, сливающийся с говором комуза, голос знахаря вдруг вынырнул среди струн. Он был едва слышен, потом усилился и перекрыл звучание инстру-

мента. Музыка превратилась в аккомпанемент. Бакши запел с легким присвистом песню, в которой угрожал злым джинам Куленгера, засевшим в теле больного.

...Куленгéр, Куленгéр, долговязый Куленгéр!
Я сломаю твой шатер, налетев, как храбрый воин!
О, выходи же по дуновению Сулеймана!..

Знахарь двинул шеей. Перья головного убора рассекли воздух. Зазвенели бубенцы.

...О насекомое с верблюжьей головой!
Я заставлю тебя выйти, не шути со мной!
И не терзай бедного больного!

Догадывались суеверные кочевники по поведению бакши, что происходит: сидели в животе Урлакана джины, выпуча глаза, боялись угроз знахаря. Ладно! Еще не то будет.

...О, если я рассержусь, напущу морозу и снегу!
Окружу тебя лебедою и солянкою!
Огорожу тебя колючкой и отстегаю мятой!
О, выходи же, пока не поздно, по дуновению Сулеймана!

— Берегись! — нечеловеческий крик разодрал юрту.

Рванулись у всех, сжались сердца. Ударил бакши в кожаный бубен, увешанный амулетами, и вскочил на ноги.

Явился джин Ергобень!

Схватил бакши плеть и начал наносить удары невидимому Ергобеню. Острый кончик плети извивался в воздухе, разнося по юрте звонкие щелчки.

Не выдержал Ергобень! Видно, больно ему стало! Выпрыгнул он через верхнее отверстие юрты! А на выручку ему летит джин Козбембет! Он несется в синей карете на высоте пяти пик! Берегись! Рокот колокольцев покатился Козбембету навстречу. Заглянул он внутрь юрты. Смотрит: сабля описывает круги над очагом. Огнем горит лезвие. Видно, не справиться со знахарем. «Ладно, — думает,— полечу-ка я лучше домой, раз такой искусный бакши в этой юрте...»

Слушали родичи больного, догадывались по разговорам и выкрикам знахаря о происходящем, бледнели от страха. Сидели в животе Урлакана джины. Выглядывали из-за печени, еле переводя дух. Ладно! Не то еще будет!

Схватил бакши ханджар. Крепко сжал пальцами рукоятку. Затрепетали тряпочки. Заколотились колокольчики. Медленно стал бакши наклоняться, нацеливаясь ножом в живот комсомольца. Тишина заполнила юрту, переливаясь через край. Дыхание остановилось в гортанях. Заговорил знахарь глухим голосом:

— О, мухоротая змея с остов юрты, ну, тяни!..

Тонкий свист покрыл конец фразы. Кольнул ханджар в обнаженную полоску живота.

— Ай, как джины в голову побежали!..

— О, сивая змея, толщиной с дверной порог, ну, тяни!.. — кольнул ханджар в бледный висок. — Ай, как джины в живот побежали! Не уйдут джины — помирать Урлакан будет, я говорю!

И стремительно начал бакши колоть комсомольца ханджаром в живот, в грудь, в ноги, в голову, в руки. Это значит, заметались внутри Урлакана джины. В бешеной пляске носилась рука с ножом, прикасаясь к телу больного. Свист вырывался из посиневших от напряжения губ знахаря, разрастаясь сильнее и сильнее, словно бы холодной струей обтекая потные тела сидящих. Лежал комсомолец, хрипя и корчась.

— Гайда! Гайда!.. — плюнул знахарь в глаза ему. — Берегись!

Судорожно выпрямился бакши и ударил в свой кожаный бубен. Бросился бакши к квадратному вырезу двери, загородив ее своим телом. Размахнулся бакши ханджаром. Ударил бакши в бубен еще раз. Это значит, испугались джины и выскочили через рот из тела больного. Это значит, заметались джины по юрте в поисках выхода.

Но разве может такой знаменитый бакши упустить джинов! Разве может он позволить, чтобы джины и дальше мучили бедных людей!

— Это я, Кулмамбет Ашымбай Есенджан Туре-

гельды Ходжаев, который во дворце Сулеймана был! Это я, который стрелы врагов, как боорсаки, ртом глотал! Это я, бакши, имя которого от Аксая до Иссык-куля, как ветер, носится! Гайда, гайда! Смотри, как один джин по веревочке в рот иноходца влезает! Ай, джакши! Не будет он больше тревожить больного. Гайда, гайда! Гляди, как второй джин по веревочке в рот барана влезает. Джуда джакши!

Завертелся бакши на месте, глухо прозвенел бубен. Колесом знахарь прошел по юрте, нагнулся и вдруг — вот ведь, оказался еще и акробатом! — не выскочил, нет, а словно бы на крыльях вылетел в дверь.

Тишина глухая и торжественная наполнила юрту. Никто не смел и пальцем пошевельнуть. Прошла минута. В двери появился бакши. Он спокойно вошел и начал собирать свои вещи. Тут только все почувствовали, как затекли поясницы, как болят шеи и ноют колени. Родичи Урлакана встали, начали разминаться, и все сразу заговорили громкими голосами. Они благодарили знахаря и, удивляясь его умению, вышли вслед за ним из юрты, столпились вокруг его коня.

Знахарь неспешно отвязал от юрты лошадь и барана, подвел их к своему иноходцу. Широко расступились люди перед «погаными» животными, внутри которых — это всем было ясно — сидели джины. Кивнул бакши на животных:

— Поведу джинов во дворец Сулеймана! Пусть посадит их на цепь!

Отец Урлакана поклонился знахарю. Мать стояла в двери юрты, утирая глаза рукавом. Бакши уехал, угоняя животных. Глядя вслед ему, Александр Иванович, наш повар, мне подмигнул:

— Дворец Сулеймана знаешь где? На атбашинском базаре.

«Если не стонать, болезнь не приходит». Даже тут, в глубине тянь-шаньских гор, народная мудрость давно догадалась, какое исключительное значение

имеет самочувствие, или, говоря нынешним языком, состояние нервной системы в зарождении и развитии болезней. Но ежели народ смутно догадывался о многом, то деятельность знахарей, умельцев пускать в глаза пыль, поистине была на Тянь-Шане бичом и проклятием.

Безграмотные пастухи, запугиваемые манапами и баями, после революции, случалось, с опаской встречали некоторые мероприятия, шедшие со стороны «русских». Но медицина сразу завоевала их доверие. В самом глухом урочище санитарную палатку, прикатившую из-за гор, вмиг окружали мужчины и женщины, и врачам приходилось (бывало и так) давать здоровякам подкрашенную водицу под видом лекарства, чтобы те не обиделись и ушли удовлетворенными.

Следует ли удивляться, что родители комсомольца Урлакана обрадовались врачу, прискакавшему к вечеру того же дня. Обрадовались не меньше, чем знахарю: хоть такое сравнение теперь и странно звучит, хоть и не слишком уважительно по отношению к врачам, но тогда оно свидетельствовало о блестящей победе советской медицины. Ведь новое обычно пробивается трудно. А старое... Говорили же в Киргизии: «Каким бы горьким ни было то, к чему ты привык, отними его у тебя, и оно покажется тебе слаще яблока, слаще меда, таким сладким, как если бы ты с сахаром, урюком и конфетами пил вкусный чай ценою в десять рублей фунт».

Я не знаю, выздоровел ли комсомолец Урлакан: тогда же вечером наша «витаминная тройка» двинулась дальше по горам из долины в долину и уже потом не возвратилась в этот аил. Но я могу засвидетельствовать: советские врачи после революции вызволили из болезней весь киргизский народ.

В те дни, в условиях кочевого быта, каждый работник, будь он врач или животновод, превращался в кочевника. Да и врачей в республике было ничтожно мало. Вот и придумали лечебно-санитарные караваны. Когда приезжал к каравану из какого-либо аила всадник за срочной медицинской помощью, врач

с одним из фельдшеров скакал туда верхом. Это была «скорая помощь» того времени. Вслед за врачом приезжал и весь караван: верховые лошади с красными крестами на вьюках, набитых медикаментами.

Работники лечебно-санитарного каравана осматривали кочевников, прививали оспу, раздавали накожные мази. После посещения каравана пастухи уходили, держа на ладони кусок мыла. Они уносили еще и санитарные листовки на родном языке. На одной из листовок, помню, была нарисована розовощекая девушка с зубной щеткой в руках и с белоснежными зубами. Здесь, в глухих горах, девушка эта казалась тогда неземною красавицей. Закончив прием больных и сделав противоэпидемические прививки, врач каравана обычно обходил еще в сопровождении оживленной толпы селение, чтобы подвести итоги республиканского соревнования юрт на чистоту.

Скажем попутно, самыми чистыми юртами, какие привелось мне видеть в те годы в Киргизии, были юрты, стоявшие здесь — возле пляжа, где сейчас средь курортников лежим мы с тобою, читатель, щурясь от солнца и глядя, как волны накатываются на берег, расстилая у наших ног на песке кружево пены. Курорт Койсара, тогда только что созданный, являл собою в 1930 году сборище юрт: они были воздвигнуты прямо на песке, поросшем кустарником. В каждой юрте стояли четыре аккуратно застеленные железные кровати. Возле решетчатых стен внутри юрт поблескивали бутылки с кумысом: суточный рацион кумыса выдавался больным по утрам. Среди юрт-палат стояли еще юрта-канцелярия, юрта главного врача, красная юрта — читальня...

Как давно это было! На месте стойбища юрт сейчас высятся корпуса нейросоматического санатория, в котором есть и грязелечебница, где лечат койсаринскими грязями — иловыми отложениями озера, и рентгеновский, и физиотерапевтический, и зубоврачебный, и другие кабинеты, оборудованные по последнему слову науки.

Давно ушли в прошлое на Тянь-Шане и лечебно-санитарные караваны. До революции в Киргизии бы-

ло всего шестнадцать врачей, теперь их больше двух тысяч, учившихся в Москве, Ташкенте и во Фрунзе — в Киргизском медицинском институте. Врачи ликвидировали на Тянь-Шане оспу, уничтожили последние очаги трахомы. Под их дружным натиском начали отступать малярия и туберкулез. В каждом районе открыты больницы, амбулатории, родильные дома, фельдшерско-акушерские пункты, детские и женские консультации. Там, где хватает мало-мальски проезжих дорог, например, в Прииссыккулье, забегали санитарные автобусы. А где с дорогами пока плоховато, в глубину тянь-шаньских гор полетели санитарные самолеты.

Санитарная авиация играет в Киргизии исключительную роль. Я расскажу об одном полете, который даст читателю представление о буднях санитарной авиации на Тянь-Шане. Дело происходило недавно. Мне было поручено написать очерк о санитарной авиации в Киргизии.

С вечера я приехал во фрунзенский аэропорт, чтобы на заре вылететь самолетом, который должен был доставить в один из горных районов пенициллин. Вечером, только-только в небе загорелись звезды, мы собрались чаевничать в одной из комнаток аэропорта: пилоты, дежурный врач и я. Завязалась беседа. Врач, пожилой киргиз, рассказывал, как в детстве откупился от оспопрививания и как значительно позже — в тридцатых годах, приехав учиться в медицинский институт и впервые увидев скелет, до того испугался, что даже по ночам ему снился страшный костяк. Потом с увлечением рассказывал о проблеме акклиматизации человека на больших высотах.

Мы разговаривали. А в это время в горах произошел трагический случай. Подробности нам рассказали потом. Сельский почтарь, оканчивая рабочий день, заехал напоследок в маленькое, прилепившееся под гребнем горы селение завезти единственное оставшееся в сумке письмо. Ехал он, как обычно: где на велосипеде, где ведя, как говорят в Киргизии, велосипед под уздцы. Отдал письмо и отправился восвояси.

Не успел горец, получивший письмо, дочитать его, как услышал нарастающий гул лавины. Он выбежал на улицу и, хотя лавины в темноте и не увидел, но угадал направление, где она пронеслась, по звездам, помутневшим от снежной пыли над одним из склонов. Видя, как заволновалась его собака, горец понял: острым слухом она уловила звуки какой-то беды. Что это могло быть? Может быть, крик почтаря, на которого обрушились камни и снег? Горец свистнул собаку и пошел за нею.

И собака привела его сперва к велосипедному колесу, вкось торчавшему из снега, а потом и к почтарю. Хотя почтарь был в сознании, он не мог двинуться с места, на ноги и на шею ему навалились груды снега. Камни нанесли ему и серьезные раны в голову и грудь. Горец откопал почтаря и на носилках с односельчанами отнес вниз в долину, в селение, где был врачебный пункт.

И вот мы во фрунзенском аэропорте читали радиограмму врача о том, что необходим спешно опытный хирург, свежеконсервированная кровь для вливания. Еще через пять минут легкий санитарный самолет подрулил к зданию аэропорта, и мы — пилот, врач и я — поднялись в воздух.

Кому приходилось лететь над Тянь-Шанем ночью, никогда этого не забудет! Перелетаешь через снежный хребет, от которого несет холодом, и попадаешь в теплую волну воздуха, поднимающегося над долиной: она чуть горьковата, эта волна — от чего? От кизячных дымков? От полыни? Гнезда электрических огней разбросаны по долине. Красноватой мерцающей точкой проплывает под крылом самолета пастуший костер. Яркие нити движущихся, перекрещивающихся, как мечи, перебрасывающихся со склона на склон лучей автомобильных фар образуют в долине то в одном конце, то в другом своеобразную сетку огней, будто светящиеся пчелы вылетели из звездных ульев селений и кружат причудливым роем. Где-то совсем рядом с самолетом вырастает темной массой новый горный хребет. Поверх него сереют снега. Машина летит ущельем, и на мгновение до вас

долетает могучий аромат цветущих горных лугов. А впереди новая долина, новые звездные ульи селений...

Спустя пятьдесят минут после вылета мы были уже над целью. Посадочной площадки для самолетов в этой маленькой долине не было. И пилот, сделав круг, повел машину к горной поляне, где ему уже приходилось сажать самолет. Но прежде он не садился тут ночью. Может быть, поэтому, когда пилот сбросил одну из подкрыльных ракет, чтобы осветить поляну, мы увидели внизу пасущихся лошадей: нас не ждали.

Пришлось кружить над долиной. Скоро мы заметили свет фар автомашины, выехавшей из селения и мчавшейся к той же поляне. Спустя еще несколько минут, пролетая, мы увидели сверху в ярком луче фар автомобиля, остановившегося и осветившего центр поляны, силуэты людей, бегавших и сгонявших табун. Кстати сказать, этот способ — освещать ночью фарами автомашины центр посадочной площадки для самолета — стал на Тянь-Шане обычным. Развернувшись и сбросив еще две ракеты, мы, наконец, пошли на посадку. А еще через двадцать минут в селении, во врачебном пункте началась операция. Эта сложная хирургическая операция длилась два с половиной часа.

Много позже, встретив во Фрунзе врача — спутника по полету, я справился у него о почтаре. Оказалось, после операции почтарь пролежал месяц, поправился, потом его послали долечиваться в Койсару. Значит, и он бродил по этому пляжу, на котором мы с тобою, читатель, лежим сейчас, лениво очищая от песка раковины, выброшенные волнами на берег. Быть может, и он снисходительно улыбался, слушая, как в санаторском парке молодежь, упоенная собственным пением, нестройно, но весело горланит «Селькинчек» («Качели») — любимую песню. А может быть, он выезжал на лодке и в озерный простор, созерцая, как меняется цвет воды — возле берега голубовато-синий, дальше, где глубже, — синевато-зеленый, а на больших глубинах — зеркально-черный

и словно лишь сверху прикрытый прозрачным слоем сине-зеленой воды.

Кто о чем — поэт о красоте, врач о целебных свойствах. Врачи говорят, что воды Иссык-куля сильно минерализованы, купанье в них оздоровляет, обновляет человека. А ионов в воздухе Иссык-куля больше, чем в воздухе Тихого океана. Добавьте к этому мягкий горный климат — лето здесь не жаркое, зима не холодная, нет резких колебаний температуры между днем и ночью, добавьте обилие ультрафиолетовых лучей и неисчерпаемые резервы прекрасного кумыса: все это выдвигает Иссык-куль на одно из лучших в Союзе курортных мест.

Кроме Койсары, на том же южном берегу озера за годы советской власти вырос еще санаторий «Иссык-куль». А на северном берегу — знаменитый детский санаторий «Чолпон-ата», который журналисты величают обычно «киргизским Артеком».

Белое с колоннами двухэтажное здание детского санатория стоит в заливе Кун-Булун («Солнечной бухте»), защищенном с трех сторон горами от ветра. Вокруг здания — аллеи берез и тополей, цветники, дорожки, посыпанные желтым песком и выложенные белым речным камнем. Одна из дорожек ведет в «аллею сказок», по другой можно пробежать во фруктовый сад санатория. Когда горнисты сигналят сбор, лодки поворачивают к берегу, а юные рыболовы торопливо накручивают свои лески на удилища. Шумливыми толпами ребята бегут с пляжа по деревянной и гранитной лестницам к санаторию.

Звуки пионерских фанфар и дробь барабана иногда удаляются и в глубь горного хребта Кунгей-алатоо, что каменистой громадой вздымается позади Чолпон-ата. С походной кухней, палатками, альбомами для рисования, сачками для ловли бабочек, фотоаппаратами уходят экскурсии пионеров в горные ущелья. Сколько интересных впечатлений в этих походах! А романтика ночлега в горах! А умение ставить палатки! А семнадцать способов разжигать костры! А походные игры, а шутки! Как все будет потом помниться, рассказываться!

Летом на Иссык-куль устремляются еще и туристы. Их фигуры с рюкзаками за плечами давно примелькались жителям селений вокруг «поднебесного моря», как зовут свое озеро старожилы лодочники.

Эти лодочники любят возить туристов за несколько километров от Койсары, останавливают лодку и сквозь прозрачную воду указывают на груды камней, желтеющих в глубине. Тут же они рассказывают легенду о затопленном городе. Груды камней этих, покрытые бегущими из-под кормы легкими бороздами воды, исчерченные движениями рыбьих стаек, опоясанные мерно качающимися водорослями, приобретают и впрямь некоторую стройность, особенно если глядеть на них глазами романтика. Счастье и богатство в народных сказаниях всегда лежали на дне озер — недоступные и далекие. Нынешние иссык-кульские жители связывают свои мечты о счастье с работой на полях, с отдыхом в санаториях, окружающих Иссык-куль.

7. ЧОЛПОН-АТА, ДОЛИНКА...

С утра допоздна день-деньской ездили мы верхом по пастбищам с Борисом Арсентьевичем Лукиным, старшим зоотехником Иссык-кульского конезавода № 54. Широкие картины горной природы проходили перед нашими глазами. Внизу у подножья гор, все время возвращая к себе и маня наши взоры, лежал синий Иссык-куль в белом венце снежных вершин. Горные пастбища, по которым мы ехали, были усыпаны камнями и цветами. И среди наших верховых коней неотступно летали бабочки, почему-то все белые, одинаковые, такой, видно, выдался день.

Мы переправлялись верхом через бурные потоки. И лошади, заливаемые по брюхо пенистой водой, фыркали, настороженно прядали ушами, бешено выкатывали глаза. Сквозь слой облаков мы проезжали на альпийские луга и глядели, как облачный туман завивает воронки за крупами наших коней. Пасущиеся кони-четырехлетки, увидя нас, заливисто ржали и,

У подножья Ферганского хребта.





В колхозе «Кзыл-Шарк».

вскидывая тяжелые хвосты, отходили вбок. Прекрасный жеребец, баловень конюшни, о котором нам рассказали, что крепкими копытами своими он отбился один от стаи волков и защитил косяк кобылиц, протягивал к нам мокрые губы за куском сахара.

— Не конь, а пылающий костер! — восхищенно сказал о нем пастух.

А картина водопоя! Сверкал в каменистой щели ручей. Над ним поднимался легкий пар. Мы сидели, отдыхая, в тени скалы. Подошел косяк еще не знающих седла двухлеток-дончаков золотисто-гнедой масти. Жеребчики были в игривом настроении, хватали друг друга зубами и вдруг увидели нас. Весь косяк остановился как вкопанный. Жеребчики стояли, сторожко косясь на нас горячими, с синим отливом глазами. По тонким сухим передним ногам их пробегала чуть заметная дрожь. Потом, всхрапнув, кони шарахнулись и кучею панически бросились назад на склон, который от шерсти их словно рыжим пламенем загорелся. Повернутые обратно табунщиком, жеребчики опять медленно приблизились и начали жадно пить, настороженно поводя ушами, готовые при первой тревоге ринуться обратно. Столько было в этом напряжения, столько внутреннего огня, такая сила жизни, что даже и человек совсем бесчувственный, бревно, а не человек, и тот картину эту сохранил бы в памяти как одно из самых ярких воспоминаний.

То в одном табуне, то в другом Лукин показывал мне лучших лошадей заводской конюшни. Видно было, что он и сам наглядеться не может на них. А я не мог наглядеться на него.

Конечно, ему было далеко до Толубая Сынчи́ — легендарного киргизского пастуха и знатока лошадей, о котором говорят, что по волосу из гривы лошади он догадывался, какой у нее характер, по черепу коня судил о его хозяине и легко укрощал таких норовистых жеребцов, которые мухе не давали сесть на себя. Рассказывают: однажды Толубай Сынчи, слушая игру на кыяке — киргизской скрипке, вдруг прослезился. «Отчего ты плачешь?» — спросили его. «Как же мне не плакать, — сказал Толубай. — Я слышу, что на этот

смычок натянуты волосы из хвоста моего любимого коня: его украли у меня девять лет назад. Значит, он уже пал, мой любимый конь!»

Этаким, конечно, Лукин похвастать не мог. В его устах — устах реального знатока лошадей — все было не в пример проще, обыденней, но, пожалуй, разнообразней, чем могла бы придумать любая фантазия. Как всякий новичок, который не знает толком, о чем спрашивать, я получил от Лукина массу сведений самых разнородных. Я узнал, что у хорошей лошади глаза должны быть живые и ясные, ноздри широкие, уши подвижные; что высоко посаженная репица хвоста характерна для верховых пород; что саблистые ноги — это плохо, смолевые зубы — хорошо.

Осматривая лошадей, казавшихся мне верхом совершенства, Лукин то и дело критически щурился и говорил что-нибудь вроде: «Ребра у нее маловато», или: «Постанов передних ног не тот». Он показал мне, как, круто поворачивая коня, обнаруживают силек — плечевую хромоту, серьезный порок. Я узнал в этот день еще многое в этом же роде. А главное, доподлинно узнал, что в коневодстве решительно ничего не знаю, что это целый мир, и обширный: отдай ему жизнь, все равно останется еще что узнавать.

Вечером мы подъехали к юрте табунщика Ады Бекматова, поставленной на широкой, слегка покатой вершине одного из горных холмов. Озеро лежало внизу уже в сероватой вечерней дымке, теряя последние краски и погасая с каждой секундой. И чем темнее оно становилось, тем явственнее обозначались на его берегах сперва бледные, белесоватые, постепенно разгорающиеся электрические огни. Кучкою зажглись они и прямо под нами в поселке Чолпон-ата, что значит по-киргизски «Отец звезд».

Мы любовались этой картиной, когда вблизи услышали негромкое ржание. И, обернувшись, различили во тьме силуэт лошади. Табунщик подошел к ней. Оказалось: его любимица, два года назад вылеченная им и выхоженная. По заведенной привычке каждый день она приходит в этот час к его юрте, чтоб ей расчесали гриву и хвост. Обретя эту ласку, кобылица вновь ушла

к табуну. Мы улеглись спать в юрте. Всю ночь до рассвета где-то невдалеке, пощипывая траву, звенели удилами наши верховые кони. Только с утренней зарей они заснули, и наступила тишина.

Когда мы проснулись, солнце еще не успело обогреть горы: гнать табун на водопой было рано. И мы с Бекматовым, одним из лучших табунщиков Иссык-кульского конезавода № 54, завели беседу о путях развития кровного коневодства в Киргизии.

Народная фантазия приукрашивала коренастую горную киргизскую лошадь. В народных сказаниях о ней говорилось: «Глаза лошади как две чашки! Мышцы как волны в бурной горной реке! Каждый глаз поворотливей сорочьего! Губы как ковш! В ноздри проходит кулак! Каждое копыто величиной с выжженное место костра!» Да и как народу было не приукрашивать свою низкорослую ат! Мы уже говорили, что до революции лошадь олицетворяла сущность киргизского быта: была для народа и поилицей, и кормилицей, и средством передвижения.

Нет в Киргизии придорожного камня, к которому не был когда-либо привязан конь. Не у калитки здесь стояли, прощаясь, влюбленные, а возле мамы — столбика перед юртой для привязывания коней. Каждый киргиз, возвращаясь домой, входил в свою юрту, неся седло с позвякивающими стременами.

А сколько точных, живущих поныне, мудрых пословиц киргизского народа связано с лошадьми! Вот некоторые: «У сытого коня восемь ног», «Лошадь подковывают, а осел ногу поднимает», «У человека, которому не везет, даже две лошади лягаются между собой», «Смерть коня — радость для собаки». Есть среди них и такая, похожая на строку из лирической песни о материнской любви: «Когда единственный сын в дальней дороге сливает с конем колени, мать и дома ногами чувствует стремена».

У маленькой киргизской лошади немало достоинств. Ноги ее крепки и сухи. Копыта тверды как камень. Она необыкновенно вынослива. Сто километров подряд можно проехать на ней по крутым горным тропам, и она не устанет. Два-три дня в трудных переходах мо-

жет она не есть. Семенов-Тян-Шанский советовал на горных карнизах доверяться инстинкту киргизской лошади, который бывает вернее человеческого глаза. Она удивительно цепка, киргизская ат. Альпинисты знают: на ледниках случается, что задние ноги киргизской лошади сорвутся в трещину, но она цепляется передними за ледяной край и выкарабкивается.

Однако по росту, быстроте аллюра, по тяжестям, которые может поднять, и красоте сложения киргизскую ат не сравнить с лошадьми других пород. Естественно, после революции киргизы особенно потрудились над тем, чтобы с помощью науки свою любимицу лошадь сделать крупней, мощней и резвей. И центр работы по развитию киргизского кровного коневодства находится именно тут, на берегах Иссык-куля.

Ады Бекматов вывел нас из юрты и показал на невысокую кучу камней, темнеющую невдалеке. «Могила Альбертона», — сказал он. Я уже слышал раньше об Альбертоне и читал даже извлеченное из архивов письмо местного попа в епархию по поводу его похорон. Поп писал, что в «обряде таковых было нечто кощунственное, и Пьянковский горевал об Альбертоне неподобающе».

Дело было до революции. Жил в Пржевальске русский казачий офицер Пьянковский, страстный лошадник. Увидел он однажды в Ташкенте на скачках жеребца Альбертона и влюбился в него. И ведь как влюбился! Попробовал было купить его. Однако хозяин Альбертона ни за какие деньги не уступал жеребца, отговариваясь, мол, обещал в приданое дочери. В приданое так в приданое. Пьянковский посватался к девушке. Но получил отказ. Тогда он выкрал девушку из родительского дома и тайно с ней обвенчался. Потом «утряс» свои отношения с тестем. И таким образом получил, наконец, «приданое». В 1907 году он привез молодую жену и Альбертона на Иссык-куль и открыл конный завод. Было это значительно восточнее Чолпон-ата — в урочище Урюкты, где сейчас третье отделение конезавода. На все Семиречье прославились сыновья и внуки Альбертона — замечательного жеребца, родона-

чальника чистокровных скаковых лошадей на Тянь-Шане.

После революции Пьянковский передал свой завод государству. Именно на базе этого небольшого завода и был создан Иссык-кульский государственный конезавод № 54. Если от юрты Бекматова посмотреть вниз, словно на ладони виден новый поселок Чолпон-ата, выросший вокруг конезавода: среди зелени деревьев рассыпан белый бисер домов, чуть в стороне, возле озера в парке, виднеется здание детского санатория «Чолпон-ата», а в другой стороне сереют крыши конюшен, мастерских, животноводческих ферм.

Вначале кочевники-киргизы неохотно метизировали своих лошадей заводскими скакунами. Когда наступили дни коллективизации, на Иссык-кульский завод была возложена задача большого политического значения: благородный скакун чистых кровей должен был стать одним из средств убеждения неграмотных кочевников в преимуществах культурного животноводческого хозяйства.

Знаменем киргизских манапов и баев был тогда известный киргизский конь серо-пегий Кок-Ала. Два года кряду на скачках Кок-Ала обходил коней конезавода. О непобедимом Кок-Ала, у которого «мясистая шея как колыбель и челка как размотанный шелк», пели песни на всех тянь-шаньских хребтах. Когда зоотехники предлагали кочевникам облагородить их коней чистокровными скаковыми или донскими жеребцами, те неизменно отвечали им поговоркой: «Сколько ни говори — мед! мед! — во рту сладко не станет». Ведь ни одна лошадь конезавода не могла обогнать «простого киргиза» Кок-Ала! Его победы широко использовались манапами и баями, чтобы посеять в массах недоверие ко всем нововведениям советской власти. Так вопрос о Кок-Ала приобрел политическую остроту.

Все свое искусство бросили работники Иссык-кульского конезавода, чтобы подготовить лучшего своего скакуна Дербиста к решительной встрече с Кок-Ала. Встреча эта должна была состояться осенью 1930 года. И целое лето в юртах, разбросанных по Тянь-Ша-

ню, шли разговоры о предстоящей великой байге, ее ждала вся республика. Баи тоже готовились к этой встрече — опытнейшим пастухам поручили они непобедимого Кок-Ала.

В день встречи десятки тысяч всадников съехались во Фрунзе. Жизнь в городских учреждениях, школах и техникумах замерла. Народ валил валом к столичному ипподрому. Вокруг него образовался гигантский лагерь конных и пеших людей. И в то утро, когда взоры всей Киргизии были прикованы к беговой дорожке фрунзенского ипподрома, в заезде на восемь километров первым пришел к финишу все тот же «рожденный от ветра» Кок-Ала. Восторженный рев зрителей покатился к Киргизскому хребту и, возвращенный горным эхом, отозвался во всех селениях Чуйской долины.

Взволнованные работники конезавода не согласились, однако, признать себя побежденными. За ними была наука, и по всем расчетам Дербист должен был в беге отбросить назад киргизского Кок-Ала. И тогда решили, дав лошадям роздых, в тот же день пустить их на двенадцатикилометровый заезд. Спустя несколько часов восторженный рев десятков тысяч людей снова потряс горы. И на этот раз восторг относился уже к Дербисту — благородному воспитаннику завода, обогнавшему киргизского скакуна.

Прямо с ипподрома тысячи всадников двинулись к зданию киргизского правительства просить на племя Дербиста — коня, о котором сложили такую песню:

Дрожат у него ноздри!
Срезанный камыш его уши!
Красив конь, как бархат, что продают на базаре!..

Именно с этого дня завод в Чолпон-ата сделался столицею киргизского коневодства. Байская легенда о непобедимости мусульманского, помазанного самим «пророком» Даудом, киргизского Кок-Ала рухнула. Мази ветеринаров конезавода, лечащих киргизских лошадей, стали пользоваться в горах куда большей известностью, чем мази «пророка», продававшиеся раньше шарлатанами.

Прошло четверть века с этого дня. Четверть века понадобилось, чтобы родилась и распространилась новокиргизская порода лошадей. Сколько событий, сколько «лошадиных» историй за это время случилось, осталось позади! Пожалуй, самым важным событием было то, что Иссык-кульский конезавод, разрастаясь, отпочковал от себя несколько новых конезаводов. На них и легла вся тяжесть работы по выведению новокиргизской лошади.

От рядового конюха до первого поэта республики — все в Киргизии гордятся новой породой своих лошадей. Еще бы! Новокиргизская лошадь получила в наследство от донской и чистокровной скаковой, кроме крупности, массивность, быстроту аллюра, гармоничность и сухость сложения; отлично развита у нее и мускулатура: в одноконной упряжи до шести с половиной тонн может она везти! Вместе с тем она сохранила ценнейшие качества киргизских лошадей: хорошее сердце, крепость копыт, высокую плодовитость и молочность, выносливость, неприхотливость, приспособленность к длительным переходам по горам и к суровому климату высокогорья.

Летом 1953 года из ворот Нарынского конезавода выехала на лошадях новокиргизской породы кавалькада всадников. Переметные сумы были набиты тяжелым грузом: каждая лошадь несла на себе вместе со всадником больше ста пятидесяти килограммов. Это был испытательный переход. По горным тропам, по каменным осыпям, через снежные перевалы, из долины в долину одиннадцать часов непрерывно ехали всадники и оставили позади сто десять километров трудной дороги. Давши коням получаса роздыха, всадники провели с тем же грузом скачки на восемь километров. И на заре двинулись в обратный путь. Всего за пятьдесят один час лошади прошли 208,8 километра: это, по свидетельству И. Н. Чашкина, известного в Киргизии коневода, исключительно высокие показатели.

Своеобразная и точная жизненная деталь есть у киргизского писателя Байтемирова, показывающая, как глубока в сердце народа любовь к лошадям: у его героя, секретаря парторганизации совхоза, когда он

с кем-нибудь ведет спокойный и душевный разговор, привычка: рисовать на клочке бумаги коней. Вообще надо сказать, что у киргизских прозаиков многие страницы посвящены коням, и от страниц этих так и веет жизнью.

Интересно, что за последнюю четверть века изменился не только облик киргизской лошади, но и характер ее, привычки — все изменилось. Один зоотехник рассказывал: когда двадцать лет назад ему дали иноходца, чтобы объехать кочевья осмотреть лошадей, он совершенно измучился с ним. Его конек не мог пройти мимо юрты, чтобы не остановиться (надо же хозяину выпить кумыса!), станет как вкопанный — понукаешь, понукаешь, еле с места сойдет. Встретится на дороге всадник, конек опять останавливался (надо же хозяину поболтать о новостях). Понукаешь, понукаешь... Как было понять легой киргизской лошадке, что время узун-кулака — длинного уха, первобытного тянь-шаньского «телеграфа» — безвозвратно ушло?! Ехать по шоссе на киргизском иноходце в ту пору было немыслимо — от автомашин он шарахался и, несся вскачь в сторону, не разбирая дороги, того и гляди сломаешь голову.

Теперь киргизские кони привыкли к новым людям, к их делам и маршрутам. Верховая лошадь того же зоотехника (с этого-то и начался наш с ним разговор), сама направляется к конеферме и на ветеринарный пункт, сама подходит к коновязям у поселкового Совета, а в жаркий полдень сама сворачивает к озеру, чтоб ее хозяин мог искупаться. И потом, почти не управляемая, идет дальше, чувствуя по хмурому или веселому настроению хозяина, в какой следующий колхоз держит он путь.

Долинка... Когда спрашиваешь во Фрунзе, куда бы поехать отдохнуть, где на Иссык-куле лучше всего снять на лето дачу, вам отвечают: «Конечно, в Долинке». Дачники едут сюда из Фрунзе, а случается, и из далекого Ташкента — насладиться прохладой, покупаться в озере, полакомиться фруктами. Когда спра-

шиваешь во Фрунзе, куда бы съездить посмотреть замечательный колхоз, такой, чтоб сердце радовалось, вам отвечают: «Конечно, в Долинку». Где же это село? В западной части Иссык-кульской котловины, в двух километрах от Чолпон-ата, на дороге в Рыбачье, в месте, которое недавно еще считалось одним из самых неприютных, неприглядных, неинтересных для жизни мест на всем побережье.

Много лет назад приехали сюда первые переселенцы — крестьяне Курской и Воронежской губерний. И увидели: все хорошие места вокруг Иссык-куля уже заняты новоселами. Что было делать — не ворочаться ж обратно! Огляделись переселенцы: «Справа — мох, а слева — ох!» С одной стороны — горы, крутые, скалистые, дикие — не подступишься, с другой — озеро: в хорошую погоду синее, ласковое, но стоит дунуть ветру, и по глади его пробегают черные полосы, а потом вскипают и буруны от разлохмаченных прибрежными скалами волн. А лежит место это на самом бою ветров — открытое, ничем не защищенное: дуй-задувай, ветер!

Узкая полоса земли меж горами и озером была усыпана камнями и щебнем. Среди камней торчали редкие кустики джерганака, полынь да пучки жесткого чия, стебли которого посвистывали на ветру. Отыскались, однако, среди этой каменистой пустыни и клочки плодородной земли: будто некогда нес великан в гигантских ладонях своих землю на восток Иссык-куля и по пути кое-где просыпал ее, да так она и осталась. Переселенцы прикинули-примерили, решили: на десяток дворов земли хватит! И на берегу Иссык-куля возникла Долинка.

Теперь в Долинке триста дворов, и здешний колхоз «Новый путь» — одно из самых богатых хозяйств Прииссыккулья. С яркостью видишь тут, чего можно добиться, когда в одном селе живет сразу несколько по-настоящему талантливых человек. Известнейший из людей Долинки — зоотехник, мастер социалистического животноводства Александр Спиридонович Щетина.

Уж если коровы — так коровы алатауские, не коровы, а родники молока! Уж если кони — так новокир-

гизские! Уж если овцы — так тонкорунные! Уж если куры — так плимутроки! В том, что Щетина этого добивался, вел в колхозе племенную работу, удивительного ничего. Это был естественный результат интереса Щетины к последним достижениям науки: обе сельскохозяйственные выставки, Всесоюзную и Республиканскую, да и многие опытные станции и лаборатории Киргизской Академии наук Александр Спиридонович знает так хорошо, что мог бы водить там экскурсии. Но прославился Щетина другим — тем, что заставил камни и скалы давать смушки, шерсть, мясо и молоко.

— Разборчивому дали огурец, но он нашел его кривым. Вот что часто делу мешает, — рассказывает Щетина. — Нам не приходилось быть разборчивыми. Что природа дала, на том хозяйство и строй. Камень дала — на камне выращивай урожай! Нас природа учила ценить маленькое. Из маленького сделать большое интересно, все довольны, все тебя хвалят, приятно. А из сала сделать сало — это всякий может!

Неудобь! Слово, которое часто слышишь в разговорах киргизских хозяйственников. Подавляющая часть земель «Нового пути» была неудобью. Что делать, например, с окружающей село каменистой пустыней? Что с нее взять? Думал-думал Александр Спиридонович и придумал: а что, если завести «овец пустыни»— каракульских, которым хватает для корма одной травинки через каждые тридцать шагов? Уговорил колхозников, привезли (впервые на Иссык-куль) каракульских овец; гостьи прижились. И теперь «Новый путь» имеет каракульскую отару, получает драгоценные смушки там, где недавно не получал и клочка шерсти.

Или другие неудоби — их у «Нового пути» целых семь тысяч гектаров! Горные пастбища, далекие от водопоя (это бы еще ладно!), а главное — с такими крутыми склонами, что ни коровы, ни лошади, ни овцы не могут пастись. Хороша отава, да склон крутенек — что делать?! Думал-думал Александр Спиридонович и придумал: а что, если завести яков?! Как из-

вестно, они не боятся ни крутизны, ни высоты. Сказано — сделано. Привез Щетина с юга Киргизии (тоже впервые на Иссык-куль) яков. Сперва сто голов. Прижились. И теперь пятьсот яков дают «Новому пути» молоко, и мясо, и шерсть там, где колхозники не получали и гнилого аркана.

— При семи дверях выхода не находят, бывает и так. У нас не было ни одной двери, — рассказывал Щетина. — Коров кормить было нечем. А выход надо было найти. И я стал силосовать мякину.

Знаменитый «щетининский» силос из заквашенной и сдобренной мукою мякины! О нем все иссыккульцы помнят. Разговоров было! Теперь он ушел в прошлое: колхозники Долинки силосуют кукурузу лиминг, которую сумели вырастить на каменистых участках. Но кормов все же не хватает. Думал-думал Александр Спиридонович и придумал: а что, если вывести для себя новую породу коров, скрещивая алатаусцев с яками, чтоб круглый год можно было держать коров на далеких высокогорных пастбищах? Сказано — сделано. Первая же корова по кличке «Чон-Гер», помесь алатауского быка и ячихи, стала давать молока в три раза больше ячих, с жирностью в два раза выше, чем у алатауских коров. И теперь «Новый путь» выводит яко-коров. Действительно — новый путь!

А овцы! Когда «Новый путь» организовался, было всего сто сорок две грубошерстные овцы. Колхозники Долинки сменили своим овцам рубашку, превратили их в тонкорунных. Теперь их семнадцать тысяч! Но не эта арифметика нас волнует. Куда интересней другая, «щетининская», арифметика. Поезжайте на стригальный пункт, где работает электроагрегат Дмитрия Патоки.

Гудит электромотор, жужжат машинки для стрижки. На столах лежат овцы, над ними склонились стригали. Рядом пушистые вороха белоснежной шерсти. Постригут овцу — она становится большеголовой и длинношеей, бежит к другим своим таким же голым товаркам, жалобно блея. И тут же — свой колхозный классировщик шерсти: это вот нововведение! Обычно в колхозах постригут овец, набьют шерсть в мешки и

сдают конторе «Заготживсырье». Щетина подсчитал, что колхоз теряет на этом десятки тысяч рублей: надо самим сортировать шерсть! Дело нелегкое: ведь сортименты (классы) шерсти устанавливаются по тонине, а тонина определяется диаметром шерстинки и выражается в микронах — тысячных долях миллиметра! Александр Спиридонович освоил классировку шерсти и научил других. И теперь шерсть отсюда идет на фабрику с маркой «Новый путь» на каждой кипе. Вот она, «щетининская» арифметика в действии!

Можно рассказывать еще и о иных нововведениях, которые осуществил Щетина, чтобы с тех же овец колхозники «настригали» больше денег — о выгодной колхозу «передержке» валухов, об опыте подкармливания овец йодированной солью, и еще, и еще. Но это уже вещи специальные, широкому читателю вряд ли интересные. Поэтому я расскажу о событии совсем другого рода, инициатором которого был все тот же Щетина, неиссякаемый выдумщик.

Шел однажды Александр Спиридонович хлебами и горько усмехался, оглядываясь вокруг. Колосья были редкие, чахлые и, не успев налиться, начинали сохнуть. Чудилось, каждый колос едва слышно напевал заунывную песню, которую принесли сюда, в Долинку, из России еще деды: «Ох и ах, мне, бесталанному! Погляжу я — кости узкие, погляжу — волосья редкие, погляжу я — руки слабые, погляжу я — ноги хилые, погляжу я и подумаю: горько жить мне, неудачному. Ох и ах, мне, бесталанному!..» Да и чего можно было ждать от пшеницы, посеянной на камнях!

Вдруг Щетина увидел, что на некоторых песчано-щебнистых буграх, которыми всхолмлено поле, выросла густая, рослая, на удивленье, пшеница. Остановился Александр Спиридонович и вспомнил: прошлой осенью, когда хлеба (тоже жалкие!) на этом поле убрали, по стерне пустили пастись овец, которых на ночь пригоняли именно к этим буграм. Как видно, овечий навоз, что скопился тут за несколько ночей, сделал бугры плодородными! Значит, надо сюда привезти из овечьих кашар удобрения. Впрочем, их там не больно много. А что, если?.. Тут в голову Щетине пришла та-

кая счастливая мысль, что он усмехнулся и побежал в правление колхоза — к председателю М. Я. Смирнову.

Председатель выслушал Александра Спиридоновича и с сомнением покрутил головой: «Себе дороже встанет». Предложение было из ряда вон выходящее — возить вьюком с гор (дороги-то туда нет!) овечий навоз с мест постоянных стоянок отар. «Да ведь там залежи! — восклицал Щетина. — Ведь десятки лет овцы спали на одних и тех же тырлах!» Смирнов и Щетина оседлали коней и поехали в горы. Залежи овечьего навоза действительно оказались колоссальными. И тогда Смирнов предложил смелое решение: построить к тырлам в горы дороги! Ни больше, ни меньше!

Весной 1955 года колхозники вышли на строительство дорог. Они принялись за работу с энтузиазмом. Хочется сказать о них словами Сыдыкбекова: «Люди, которые заставляют петь лопаты». Они проложили дорогу в ущелья Карагай-Булак и Койсу. По ним шоферы и возчики привезли с гор около трех тысяч тонн овечьего навоза. Смешивая с минеральными удобрениями, они разбросали его по полям. Потом колхозники проложили дороги к ущельям Кургак и Камаиду на другие давнишние тырла, и оттуда повезли навоз... Так жители Долинки сами создали свою землю, и теперь в среднем получают с гектара по сто двадцать пудов зерна!

Почти тогда же, когда Щетина начал проделывать самые первые свои опыты, двадцать с лишним лет назад, другой талантливый человек, Михаил Иванович Мишин, решил превратить Долинку в благоуханный сад. И превратил. Столько вишен, как в Долинке, вряд ли где найдешь еще на берегах Иссык-Куля. А мичуринские сорта яблок — бельфлер-китайка, ранет бергамотный, славянка, бельфлер-рекорд, ранет Бурхарда и даже редкостные для Киргизии антоновка и барвинка, переселенные Мишиным, — и они тут прижились, приспособились к климату и каменистой земле.

Самый старый и самый большой сад Долинки выращен в предгорьях буквально на камнях. Он окружен со всех сторон каменной же стеной от бешенства ис-

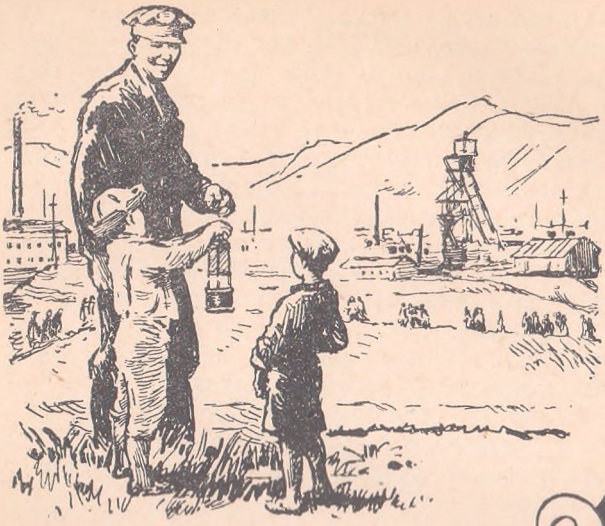
сык-кульских ветров. Кроме того, от ветров он огражден и стеной тополей, карагачей, урюка. А посреди сада выращена «ветроломная полоса» — высокая аллея грецкого ореха. Это тоже первые орехи на Иссык-куле, и они прижились тут, дают хорошие урожаи. В саду (кроме яблок и вишен) — груши лесная красавица, и сливы, и абрикосы, и кусты черной смородины, и заросли малины, наконец персики: они тут тоже первые на Иссык-куле! Вот как рассказывал о персиках сотруднику «Советской Киргизии» старый садовод Мишин:

«...Как-то однажды весной остановилась у нас на ночлег грузовая машина. Из кузова торчала щетинка молоденьких саженцев. Оказалось, что сотрудница республиканской опытной станции Бычкова везет из Фрунзе на Пржевальский опорный пункт персики, хочет испытать их на нашем высокогорье. Мы решили, что, конечно, первым персикам хорошо бы поселиться в Долинке. Пообещали не испортить важного начинания и не выпустили машину со двора, пока не разгрузили. С того дня завязалась дружба у нас с наукой».

Дружба с наукой! В 1949 году научный сотрудник плодоовощной станции Сосина посадила в Долинке (тоже впервые на Иссык-куле!) чубуки винограда сортов пино ранний, мадлен-анжевин, мускат фиолетовый и черный, а в 1953 году еще девять ранних мичуринских сортов. Теперь два с половиной гектара занимает виноградник колхоза «Новый путь». Садовод колхоза Григорий Алексеевич Ломаков угостит вас виноградом, а потом сведет и в винный подвал колхоза отведать первые на Иссык-куле виноградные вина. В руках талантливых людей камни в Долинке стали давать и вино.

Дружба с народным Китаем, даже она отозвалась в Долинке практическим делом. Садовод Ломаков перенял китайский опыт выращивания садов на горных террасах. Весной 1956 года на склоны гор, на каменистые пустыри, двинулись бульдозеры Иссык-кульской МТС и нарезали террасы. На них заложен сад, защищенный склонами от ветров. Через несколько лет и горные террасы дадут Долинке первые плоды.

Можно рассказывать еще много о новаторах этого замечательного колхоза. О том, как построили колхозники свою электростанцию (хоть воздвигли ее в «Новом пути» позже, чем в других иссык-кульских колхозах, долинцы гордятся тем, что нигде на Иссык-куле электричество не имеет такого бесконечного разнообразия применения в сельском хозяйстве, как у них!). Можно рассказать и о том, как колхозники построили в Долинке водопровод. Можно рассказать и... Много еще рассказывать можно! Председатели колхозов целыми автобусами приезжают в Долинку на экскурсии учиться, перенимать опыт. Колхозники Долинки с гордостью говорят: «У нас впервые на Иссык-куле...» Стремление к новому — его порыв охватил почти всех людей в этом селе, стал предметом гордости. И если люди иногда тут еще и говорят: «Что я — то Илья, что Евсей — то и все», то только в ироническом смысле.



НА ЮГЕ

1. ТРИ ГОРОДА

Мы летим на юг. Солнце, солнце кругом! В воздухе сверкающие нити солнца, на крыльях самолета серебро солнца, и в кабине звон солнечной тишины. Мы летим из Фрунзе в Ош над массивом тянь-шаньских хребтов. Внизу на горах словно бы отдыхают тучи, их дымные края тоже озарены солнцем. А тень самолета, как живой трепещущий комок, все время меняющий форму, разламывается на утесах и исчезает в пропастях, и вновь выпархивает на солнечные просторы. Мы летим на юг дорогою журавлей. На юг, на юг!..

Самолет набирает высоту, и цепи Тянь-Шаня делаются похожи на застывшие волны каменного моря, а белые гребни их — на пену, тоже застывшую и окаменевшую. Последняя каменная волна остается позади, и самолет повисает над озаренной солнцем колоссальной долиной, за которой на юге вырисовывается еще более грандиозный массив ледяных гор: это горы Памиро-Алайской системы. Посреди долины — местами изумрудной, местами малахитовой, а местами будто лишь подернутой сверху зеленоватой пеной — белеют кровли селений и больших городов. Это и есть солнечная Фергана.

Окованная льдом корона киргизских гор высится вокруг этой зеленой жемчужины Узбекистана. С самолета хорошо видно: горы прорезаны ущельями, в глубине которых белеют пенистые речонки, а дальше, в предгорьях, речки рассекают цепи холмов. Как раз среди холмов этих в восточной части Ферганской долины и лежат крупнейшие города южной Киргизии — областные центры Ош и Джалал-Абад.

Расположенный в предгорьях Алайского хребта, Ош славится климатом на всю Фергану. Еще султан Бабур в своих записках говорил об Оше: «На обоих берегах реки раскинулись сады; все сады возвышаются над рекой. Фиалки в них очень красивы. В Оше есть текучая вода; весна там бывает очень хороша; расцветает множество тюльпанов и роз... В области Ферганы нет города, равного Ошу по приятности и чистоте воздуха».

Написано это в XVI веке. Сады и сейчас возвышаются по обе стороны прозрачной, бегущей по камням Ак-бууры. Арыки и сейчас звенят на городских улицах. Цветы и сейчас... Впрочем, цветов в садах, на скверах и во двориках Оша такое богатство, какого во времена Бабура никто не мог себе и представить. Что же касается чистоты и «приятности» воздуха — врачи нашли им практическое применение. На окраине Оша в парке воздвигнут дом отдыха. Каждый год со всех концов Ферганы приезжают сюда люди подышать чистым воздухом, насладиться прохладой.

Ош — большой город, второй в республике по населению после Фрунзе. В облике его чувствуешь близкое соседство Узбекистана. На улицах встречаешь полосатый халат узбекского хлопкороба. В Ошской шелкоткацкой кустарной артели, кроме хан-атласа — яркой ткани с киргизским орнаментом, — делают и излюбленный женщинами-узбечками шелк с так называемым маргеланским рисунком, напоминающим радужные разводы нефти на воде. Есть в Оше свой старый город — с запутанными глиняными уличками, и свой новый город — с каменными особнячками и пирамидальными тополями на прямых улицах. Грань между этими двумя районами, как и в городах соседнего Узбекистана, советские люди здесь теперь тоже деятельно стирают, сводят на нет.

Эти люди, наши современники, связали «старый» и «новый» город Ленинской улицей. На три с половиной километра протянулась она, засаженная деревьями, разросшимися так пышно, что издали с холмов кажется: зеленая река течет среди темного камня домов. В обоих районах — среди железных крыш «нового города» и поросших ячменем плоских кровель «старого города» — поднялись корпуса новых заводов и фабрик. Грузовики наполнили улицы Оша ветром. Свой заштатный городишко ошцы превратили в областной центр, украсили его зданиями рабочих поселков, институтов и техникумов, больниц, клубов, театров; кстати говоря, тут, кроме киргизского, есть и узбекский театр.

Чтобы в полдень не томиться от зноя, ошская молодежь вырыла и свое «Комсомольское» озеро; в обеденный перерыв молодые рабочие бегут сюда искупаться, полежать на берегу, любуясь тем, как спортсмены с вышки прыгают «ласточкой» в воду и как стрижи задевают концом крыла гладь воды, и от этого вглубь протягивается светлая цепочка пузырьков.

Бывают строки, которые, запав однажды в уши, целый день не покидают вас, приходят на язык по всякому поводу, иногда, кажется, даже ни к селу ни к городу, однако если не полениться, вдуматься: чего это они так к вам привязались, почти всегда отыщет-

ся связь между ними и тем, что вас окружает. В прогулке по Ошу меня преследовало так четверостишие того же Бабура:

Желанной цели должен ты добиться, человек,
Иль ничего тебе пускай не снится, человек,
А если этих двух задач не сможешь ты решить —
Уйди куда-нибудь, живи, как птица, человек.

Прочел мне четверостишие это Мадаке Исабаев, старик узбек, потомственный мастер-гончар. Он сидел в глубине мастерской промартели «Интруд», наблюдая, как его ученики расписывают кувшины яркими розами, тюльпанами и орнаментом, из которого выступают снежные венцы гор, и рассказывал о своем деде, жившем в Самарканде: посуда, сделанная его руками, шла ко двору эмира, славилась на всю Бухару, но дед умер нищим, ослепнув от огня печей.

Потом мы заговорили о новом Оше, о его людях, о будущем, о судьбе внуков, которые учатся в школах и вузах и которые увидят коммунизм. Тут-то Исабаев неожиданно прочел: «Желанной цели должен ты добиться, человек...» И строки его пошли за мной по Ошу. «Иль ничего тебе пускай не снится, человек...» Не «снится», значит — не мечтается. А чего стоит жизнь, если нет у человека мечты?!

Беседуя с Мансуровой, одной из лучших ткачих Ошского шелкокомбината, я думал: не выражают ли стихи Бабура лишь половину правды? В самом деле, к чему ей строки: «А если этих двух задач не сможешь ты решить, уйди куда-нибудь, живи, как птица...» Давным-давно добилась она «желанной цели» — так искусно работает, что прославилась в Киргизии. Люди уважают ее, учатся у нее. Так-то оно так, да не так. Поговорите с Мансуровой: всегда ли и все у нее выходило, как «снилось», мечталось?

Нет! Бывало (да и сейчас, конечно, бывает, на то и жизнь), что не выходило, и опускались руки, и хотелось все бросить и уйти куда-нибудь, жить, как птица. Ведь именно в борьбе с собственной слабостью в человеке зреет, накапливается та сила, которая словно по волшебству изменяет все вокруг. Лишь бы у чело-

века была желанная цель, чтобы в час слабости, когда постигнет его неудача, он мог подбодрить себя гордою фразой: «Желанной цели должен ты добиться, человек!»

Ошский шелкокомбинат имени ВЛКСМ, на котором работает Мансурова, второй по величине в СССР. Выпущенные здесь ткани — крепдешин, чесучу, полотно поплин, шелковое полотно, кашемир, саржу — носят люди во всем Советском Союзе. Именно Ошу да еще узбекскому городу Маргелану, где тоже работает новый шелкокомбинат — первый в Союзе по величине, — этим двум городам обязана Фергана тем, что зовут ее «шелковою долиной».

Характерно, что в Оше, как и всюду в Ферганской долине, в шелках колхозницы ходят чаще, чем горожанки: вокруг Оша — район самых богатых колхозов республики.

Сядем в машину, покинем Ош. Дорога идет сперва меж садов, среди глинобитных дувалов. Виноградники нежат глаз темной, красновато-зеленой листвой. На крышах под лучами солнца сушатся вишни и абрикосы. На дороге встречаются мчащийся мотоциклист, и всадник, неспешно едущий обочиною шоссе, и юноша на велосипеде, привязавший к рулю связку купленных в городе книг.

Стоит закрыть глаза, и кажется, будто один за другим горные обвалы сотрясают дорогу: это громыхают встречные грузовики с товарами для сельмагов, с горючим для машинно-тракторных станций, а то и с колхозниками, едущими на базар. От горячего ветра, дующего в лицо, на губах у вас обычный в жарких краях вкус прогнившего ореха и еще привкус бензина, тоже разогретого, словно только что вылитого на дорогу из каменной жаровни. А по обе стороны дороги, едва оборвались сады, начались поля «серебряного руна» — хлопчатника, — изрезанные арыками, разделенные цепями шелковичных деревьев, бесконечные поля, о которых поэт Джоомарт Бокомбаев писал:

Простор серебром этим заткан и вышит,
И ветер блестящую пену колышет.

Небесная синь и полей белизна
Пронизаны светом и свежестью дышат...

Хлопок — главное богатство юга Киргизии. Когда отсюда во Фрунзе летит весть: «Началось раскрытие коробочек хлопчатника», телеграмму об этом газета «Советская Киргизия» печатает рядом с сообщением о премьере оперы или о пуске новой электростанции: событие не менее важное в жизни республики!

Самые знаменитые люди, живущие в южной Киргизии—передовые хлопководы. Кто в Киргизии не слышал имени Хайтахуна Таширова, кавалера двух Золотых Звезд, дважды Героя Социалистического Труда, дунганина, который прошел путь от бродячего починщика посуды до председателя едва ли не лучшего в республике колхоза «Кзыл-Шарк»! Знаменитый хлопковод и тот человек, который по праву занимает первое место среди колхозников Киргизии, тоже кавалер двух Золотых Звезд, депутат Верховного Совета СССР, член ЦК Коммунистической партии Киргизии— Алля Анаров.

О нем легенды рассказывают. Говорят, что он обладает даром разговаривать с землей, и земля слушается его приказаний. Говорят, будто родился он под кустом хлопка и мать тут же завернула его в хлопковое волокно. И что вместо игрушек в детстве у него была коробочка хлопка... Но легенды легендами, а истинная история, которая много лет назад сделала его имя известным на юге Киргизии, стоит любой из легенд.

Дело было на речке Аравансае. Как-то раз — после дождей в горах — началось наводнение. Дайхане сбежались к бурлящей реке, к ряду сипаев — колоссальных свай, связанных по три и установленных на дно реки. Сипаи ограждали береговые укрепления, и дайхане испугались, как бы разбушевавшаяся река не сорвала их. Вода могла в этом случае легко размыть дамбу и ринуться на поля, смыв за полчаса-час труд тысяч людей, уничтожив весь урожай. Сипаи, связанные ржавыми тросами, сплетенными из проволоки, покачивались и стонали под напором воды. Вдруг,

словно выстрел, раздался треск лопнувшего металла. Дайхане не успели понять, что случилось, как крайний сипай закачался, рухнул в воду и, кружась, медленно пошел по течению вниз.

В то же мгновение какой-то человек на берегу сбросил с себя халат и кинулся в кипящую, мутную воду. Мелькнула среди водоворотов его голова. По берегу прошел гул: все поняли — человек смертельно рискует! Между тем пловец догнал сипай. Десятки рук с берега бросили ему конец металлического троса. С помощью троса удалось сипай задержать, потом укрепить. Береговая дамба была спасена. А пловец вышел на берег и стал героем дня. О нем рассказывали по всей Фергане. Так впервые прозвучало имя Алля Анарова.

Но настоящая слава пришла к нему позже, когда из года в год начал он собирать на своем поле в колхозе «Коммунист» Араванского района невиданные урожаи хлопка — по шестьдесят-восемьдесят центнеров с гектара. В 1952 году кто-то подсчитал: за пятнадцать лет звено Алля Анарова сдало государству столько хлопка-сырца, сколько нужно, чтобы выработать больше восьми миллионов метров тканей!

Поезжайте на полевой стан бригады Анарова. Небольшое, двухэтажное, восьмиугольное, со шпилем, здание этого стана, выстроенное под самыми горами, чем-то — то ли формой, то ли большими окнами — издалека напоминает маячный фонарь. Есть в нем читальня, полевая лаборатория, кабинет бригадира с телефоном. На веранде разостланы ковры — там обедают, отдыхают, в горячую пору ночуют.

Кого не встретишь на этой веранде! И селекционера И. Н. Пищугина, который на Киргизской опытной станции по хлопководству (что под самым Ошем, в Кашгар-Кишлаке) вывел новые сорта хлопчатника для южной Киргизии. И делегацию узбекских хлопкоробов из соседней Андижанской области. И приехавших учиться к Анарову агрономов. И студентов-практикантов, и журналистов... Их разговоры на агротехнические темы, споры, расспросы, полные значения для вас, когда ходите вы вместе с ними по полям, к со-

жалению, не интересны читателю, не вдыхавшему самому воздух хлопковых полей. Поэтому опустим их. Приведем только некоторые чисто литературные записи, сделанные в блокноте на полевом стане Анарова.

Разговаривали женщины о каком-то трактористе, одна сказала: «Он даже на трактор надел бы паранджу!..» Старик, степенный и важный, сообщил: «Я сказал на собрании: обязуюсь на своем гектаре вырастить в этом году столько центнеров хлопка, сколько мне лет». На вид старику лет шестьдесят пять. Что ж, обязательство серьезное!.. Стоял тракторист, смотрел на звезды. Мимо шла девушка, насмешливо спросила: «Что ты увидел там?» Тракторист, не моргнув глазом, сказал: «Да вот смотрю, что предсказывают мне звезды». — «Что ж они тебе предсказывают?» — «Предсказывают, что меня премируют, — все так же серьезно сказал тракторист. — Только никак не могу разобрать чем — радиоприемником или отрезом на костюм...»

«На невысокого осла всякий может сесть», — любимая поговорка Алля Анарова. Ее презрительная сила не дает людям возможности успокоиться на малом. На ту же тему слышал от него еще поговорку: «Скромность украшает джигита, когда она в меру». Вообще здесь любят уснащать речь поговорками. Двое сидели на веранде полевого стана и, как бывает, спорили попусту из-за какого-то слова; подошел третий, прислушался и хмыкнул: «Хм, один говорит — девятнадцать, второй — одним меньше двадцати»... Говорили об отсутствующем, кто-то сказал: «Да он ничего, только... — сделал паузу, подмигнул. — За копейку говорить не заставишь, а когда заговорит — за тысячу копеек не остановишь!» Какая меткость характеристики!

Но мы отвлеклись. Покинем полевой стан Анарова и поедем вдоль предгорий, пересекая горные увалы. Всюду поля хлопчатника, всюду полевые станы, такие же большие, иногда обсаженные фруктовыми деревьями, похожие на дачи. Мы уже говорили: здесь район самых богатых колхозов республики. Некото-

рые, например «Кзыл-Шарк», дают миллионные доходы двадцать лет подряд.

Радостно видеть, конечно, как колхозник нагружает мешками с зерном, с овощами, полученными на трудодни, несколько грузовиков и везет к себе, как он получает свой заработок — десятки тысяч рублей, как вместе с богатством растет культура быта колхозника: он строит себе новый, просторный, по-современному оборудованный, удобный для жизни дом, и в обиход его входит телефон, многоламповый радиоприемник, мотоцикл, а то и личная автомашина, — сердце радуется глядеть на это! И в то же время вас не покидает мысль, она мешает вам испытывать чистую радость, что тут же недалеко — поднимитесь в горы! — картина жизни иная!

Богатство колхознику приносит в Киргизии прежде всего хлопок, кроме него, некоторые технические культуры — новолубяные, эфиромасличные, лекарственный мак, табак, наконец сады и виноградники. Но животноводство — главная отрасль хозяйства Киргизии — не приносит колхознику такого богатства. Углубляешься в горы, и сразу бросается в глаза, что селения, даже новые, построены там поплоше, победней, а есть колхозы, которые за четверть века все еще не могут встать на ноги. Для Киргизии это вопрос острый, требующий раздумий и решений в масштабе всего государства.

Ведя машину по проселочной дороге, вьющейся у предгорий между холмами, по пути заезжаешь и на Отуз-Адыр, в переводе «Тридцать холмов». Название это несколько лет не сходило со страниц республиканских газет. Тут строилась самая крупная на юге Киргизии новая оросительная система.

Прежде все тридцать адыров и лежащая у подножий их Каратепинская степь были похожи на поношенный халат — выцветший, выгоревший от солнца. Но советские люди воздвигли на речке Куршаб плотину, создали новое водохранилище и проложили канал. Прокладывали его по склонам холмов, по высоким насыпям, а в одном месте даже пробили сквозь толщу адыров четырехсотметровый тоннель.

И вода хлынула по каналу на Отуз-Адыр и в Каратепинскую степь, напоила, позволила превратить их в сплошные плантации «серебряного руна».

Когда в середине прошлого века кокандский хан Худояр повелел для своей охотничьей палатки насыпать в Айритамской долине курган и обсадить деревьями, воду для полива этих деревьев привозили на верблюдах в кожаных бурдюках. Теперь Айритамская долина тоже славится в южной Киргизии «серебряным руном», туда пришла вода по новому Чуст-Папскому каналу. Началось строительство крупного водохранилища на Кара-Унгурсае.

Постепенно все предгорья вокруг Ферганской долины наполнятся звоном арыков.

Только человек, сам побывавший на адырах Ферганской долины, может представить себе всю яркость красок, какими здесь бывает расцвечено небо в утренние часы. На фоне этих красок линии металлических конструкций экскаваторов рисуются строгими, величественными, а ковши, быть может благодаря своей черноте, кажутся громадными — куда больше, чем днем. Экскаваторы в последние годы неотделимы от пейзажа адыров южной Киргизии: столько здесь строек. Осенью по полям юга Киргизии кильватерными колоннами плывут и хлопкоуборочные машины. А по дорогам грузовики везут груды белоснежного хлопка на заводы в Ош, в Карасу, наконец в город Джалал-Абад.

Ну и город! В Джалал-Абаде есть заводы, театр, клубы, кино, школы, учительский институт, некоторые улицы одеты асфальтом. Но настоящим городом — городом в смысле быта и архитектуры — он не стал до сих пор. Уж если и именовать его городом, то это один из самых неуютных городов нашей страны. Домишки построены кое-как, без всякого плана, об архитектуре толковать нечего, ее попросту нет. Летом на улицах Джалал-Абада столбы пыли, зимой непролазная грязь. Плохая гостиница, и грязные столовые, и тысячи других неустройств заставляют путешествующего то и дело бормотать сквозь зубы: «Гоголя на вас нет!» Этот город я посоветовал

бы путешествующему объехать, не заезжая в него, если бы не Джалал-Абадский курорт!

Поэтому не будем задерживаться в Джалал-Абаде и направим машину по шоссе, идущему от города в гору — на курорт. На этом шоссе, едва выехали мы из Джалал-Абада, случилось, что колесо нашего такси легонько подпрыгнуло: оно перескочило через панцирь черепахи, переползавшей дорогу. И наш шофер, молодой киргиз-весельчак рассказал по этому поводу про черепаху:

— Было это в давние времена. Жил в раю весовщик, всех обмеривал, всех обвешивал. Два раза аллах через архангела Джабраила предупреждал этого жулика, не помогло. Тогда аллах выгнал весовщика из рая и, чтоб наказать, превратил его... одну чашку весов снизу подложил, второй сверху накрыл... превратил в черепаху.

Помолчав, шофер улыбнулся и сказал подмигивая:

— Вот она, откуда черепаха взялась, а вы и не знали.

А мы-то и не знали!.. Давно уже люди перестали верить тут в сказки, но рассказывают их по-прежнему с упоением. Быть может, потому, что южная Киргизия — очаг древней культуры, и что ни камень здесь, то легенда.

Джалал-абадские, или, как их называли прежде, хазрет-аюбские, источники известны с древнейших времен и тоже окутаны легендами. О джалал-абадском источнике «Қыз-булак», что значит «Родник девушки», повествуют так: «Давным-давно жила тут девушка сказочной красоты. Шли годы, но девушка оставалась юной, не старилась. Умерли ее родители, стали седыми и сгорбились братья и сестры. А девушка по-прежнему была так молода, что стан ее можно было сравнить с натянутым луком, с кипарисом и с буквой «алиф». Но вот исполнился срок жизни этой девушки, и за нею — юной и красивой — пришла смерть. Тогда девушка открыла людям тайну своей неувядающей молодости: оказывается, каждый день перед рассветом она купалась в этом

источнике...» Вот оно в чем было дело, а мы-то и не знали!

— Поэзия легенд входит в наш лечебный курс, — улыбнувшись, сказал мне главный врач Джалал-Абадского курорта.

В самом деле, половина удовольствия была бы потеряна, если бы курортник, входя в кабину ванного здания, что вытянулось рядом с источником «Кыз-булак», и садясь в ванну, в которую через кран наливается вода из горячих источников, если бы не мог он тешить себя надеждой, что минеральные воды эти (юность-то, конечно, не вернут!), возвратят ему, ну, хотя бы часть той бодрости и здоровья, что были. Человечно ли лишать его этой мечты?

Тем более, что есть для нее и реальные основания. Горячие щелочные источники Джалал-Абада, температура которых колеблется от +22 до +42 градусов Цельсия, обладают ценными лечебными свойствами. Лечение ревматизма, болезней печени и нервной системы, женских и кожных болезней дает тут замечательные результаты. Но особенно славится Джалал-Абад лечением болезней почек. В этом отношении врачи сравнивают Джалал-Абад с прославленным на весь мир Каирским курортом.

Обойдя обширный парк курорта, его цветники, фонтаны и искусственные водопады, полюбовавшись вековыми карагачами, ореховыми деревьями, акациями и дубами, осмотрев благоустроенные корпуса санатория, посетив клуб курорта, перестроенный из мечети, испивши водички из источников, пройдите под конец к краю парка, чтобы насладиться видом на долину Кугарта. Видом этим курорт знаменит.

Далеко под вами простирается широкая долина, подобная многоцветной мозаике, вся орошенная, вся возделанная. Волнистые линии деревьев рассекают на бесчисленные прямоугольники озаренные солнцем сады и поля. Меж светлых кровель селений темнеют дворики, похожие отсюда на кусочки иссиня-черного бархата. Серебряной ниточкой вьется сквозь долину речка Кугартсай. С одной стороны долина Кугарта ограничена пологой горой Любтоо, с другой — кур-

чавыми от ореховых лесов горами, а еще выше снежными вершинами Баубаш-ата. И, может быть, потому, что глядишь сверху, кажется, что долина, отступая вдаль, не темнеет, как обычно, а наоборот, делается светлее, словно приближается, и чудится — до горизонта можно добросить камень.

В сорока километрах от Джалал-Абада, в самом восточном углу Ферганской долины, где сходятся Алайский и Ферганский хребты, на высоком берегу реки Кара-дарьи, приютился Узген — город, который превратился в селение: именно так, хоть это и странно звучит. Узген — древний город, он упоминается еще в китайских хрониках II века до нашей эры под названием города Ю. В XI—XII веках, при Караханидах, Узген был столицей всего Мавераннахра — большей части Средней Азии. От той эпохи в Узгене сохранились интереснейшие памятники старины: минарет и три полуразрушенных мавзолея — Средний, Южный и Северный.

Часами можно бродить по этим мавзолеям, находя новое и новое. Каждая деталь, как в книжных заставках старинных восточных рукописей, сделана тонко, тщательно, с мастерством ювелира. Наивысшего совершенства достигло там искусство резьбы по терракотовым плитам: орнаменты и надписи узгенских мавзолеев — это резьба разной глубины, то плоская, подобная гравировке, то выпуклая — до трех сантиметров высоты. Благодаря рельефу, когда солнце освещает стены мавзолеев, возникает удивительная игра светотени, мавзолеи становятся как бы ажурными, сквозными, а рисунки их терракотовых плит сказочно меняются в зависимости от длины солнечных теней.

Жизнь давно ушла из Узгена в другие города Ферганы. Перед революцией Узген являл собой крошечный город. Да и город ли? В то время в Средней Азии городом именовалось всякое поселение, где есть базар. Только в этом смысле городом был и Узген. Революция изменила облик среднеазиатских городов, сделала их промышленными центрами. Но в Узгене, лежавшем в стороне от дорог,

не к чему было воздвигать заводы. И Узген превратился в город, населенный колхозниками, по сути — в большое селение. Правда, официально его именуют по-прежнему городом, но это из уважения к его древности и к памятникам старины.

В самые последние годы в узгенских чайханах подолгу живали люди, которые обещают вернуть Узгену его былую славу оживленного города. Люди эти — геологи. Невдалеке от Узгена они обнаружили и изучили залежи первоклассных коксующихся углей. Когда на угольных пластах Восточно-Ферганского угольного бассейна воздвигнут шахты, тогда древний город Ю станет городом шахтеров. А запасы угля в этих пластах столь велики, что здесь возникнет целый угольный бассейн — Узгенский бассейн. Но это уже завтрашний день!

2. ФЕРГАНСКОЕ КОЛЬЦО

Давно замечено: чем больше человек знает, тем больше видит вокруг себя. Еще Ломоносов писал: «Приятная музыка многих услаждает, но несравненно те ею веселятся, которые правильную гармонию тонов целых и половинных, их дигрессию и резолюцию чувствуют... Сколько счастливых мыслей и украшений в речи или поэме, сколько приятных мест миновать тот может, кто науки словесной прямо не учился, тем паче, когда еще и оригинала читать не может. Временем еще те же самые удачные строки по незнанию прогневить его могут».

Я видел человека, который всю жизнь прожил в Ташкенте на одной улице и не знал, что наискосок от его дома в саду растет магнолия. Забредая по делу к соседу, много раз проходил он мимо этого редкого растения и ни разу не взглянул: в растениях он не разбирался, они его и не интересовали. И вот прочел он однажды, что в его родном городе, мало того, на его улице люди сумели магнолию вырастить. И не поверил. Возмутился, сказал: «Враки!», даже послал в газету опровержение. Ему в голову

прийти не могло, что он не знает чего-либо на своей улице: ведь всю жизнь прожил на ней!

Много необыкновенного и интересного можно увидеть, мимо чего проходишь не зная, а это почти всегда значит — не замечая. Об образованных людях, путешествующих по разным краям и странам, недостаточно сказать, что они видят больше, — нет, они видят в неисчислимое количество раз больше, чем люди, обладающие ограниченными знаниями. На чем только ни остановится глаз, если смотришь на природу глазами ботаника или зоолога, почвоведа или знатока сельского хозяйства. Позавидовать можно!

По горам вокруг Ферганской долины особенно хорошо путешествовать, глядя глазами геолога, знатока горных пород. Разве не одолеет любого литератора благородная зависть, когда прочтет он, например, такое описание, принадлежащее известному советскому геологу академику Д. И. Щербакову.

Экспедиция, в которой он участвовал, поднималась по одной из речных долин Алайского хребта — Наукатской: «Дорога шла вдоль берега реки, где были прекрасно видны обнажения палеозойских глинистых сланцев, прорванных дайками диабазов и порфиров. Вскоре долина стала вновь сужаться: в этом месте ее пересекал диоритовый массив, более твердые породы которого плохо поддавались размыванию. А за ними открылась совершенно фантастическая картина: справа и слева, словно взбираясь на диоритовую гору, нагромождались ярко окрашенные пласты меловых и третичных пород. Малиновые, кирпично-красные, фиолетовые, желтые и белые краски составляли замечательный контраст по отношению к изумрудной зелени открывшейся перед нами широкой Наукатской котловины. Пораженные, мы вновь остановили брички и подошли к высившимся перед нами гипсовым скалам. У их подножия в изобилии валялись громадные окаменелые раковины грифей (ископаемых устриц), а несколько поодаль лежали ярко блестевшие на солнце белоснежные куски гипса».

Работа советских геологов в Киргизии имеет свою славную историю, притом историю своеобразную. Один геолог, долго работавший в Киргизии, рассказывал, как в конце двадцатых годов он исследовал горы вокруг озера Сон-куль. Проводником у него служил местный эсепчи (предсказатель погоды), человек, славившийся в районе как прекрасный знаток природы. Вдвоем они лазали по кручам, собирали образцы пород и беседовали на геологические темы.

Там, где геолог видел разноцветные породы третичной, меловой и юрской систем, где серый цвет означал палеозойские известняки, там его проводник видел следы ужасных событий и таинственных предначертаний судьбы. Белые с закругленными ребрами глыбы кварца «оказывались» девушками, некогда подпавшими под власть чародея. Доломитовые утесы с каминами, и темные осыпи метаморфического сланца, и гранитные пропасти, отшлифованные пропилившими их ручьями, и огромные скалы, покрытые пустынным «загаром» и зигзагообразно расколовшиеся от действия солнца, — каждый камень имел для кочевников магическое значение.

Когда в 1921 году издававшаяся в Пишпеке русская газета обратилась к читателям с просьбой сообщить о где-либо замеченных ими горнорудных ископаемых, ни одного письма не пришло в ответ. Горы были еще «заколдованными», кочевники — неграмотными и газет не читали. Спустя десять лет газета «Советская Киргизия» обратилась к читателям с той же просьбой, и на редакционный стол буквально ливнем посыпались письма. Вот одно из писем того времени: «В 26 километрах от станции Карасу, в местности Тешик-Таш, со склона горы течет нефть, впадая в реку Кара-дарью. Этот нефтяной источник замечен давно, но, к прискорбию, им никто до сих пор не интересуется. Нефть продолжает течь! Рабкор С.». В другом письме сообщалось, что в дни гражданской войны басмачи лили пули из свинца, который они добывали там-то и там-то. С этих писем началась полоса открытий. В разные концы Киргизии отправились экспедиции, отыскавшие место-

рождения нефти, и уголь, и залежи других полезных ископаемых.

Следом за этим ученые приступили к планомерному изучению Тянь-Шаня. В глубь хребтов по вьючным тропам двинулась армия геологов, и звон их инструментов о камни да басистые голоса вгрызающихся в скалы буровых коронок слились с пением горных птиц. Геологическая партия разбивала палатки на склоне хребта, и пастухи вместе со всей страной узнавали, что ходят по драгоценным камням или по каменному углю.

Тянь-шаньские хребты ныне «расколдованы» геологами. Сказочные богатства были найдены ими в земле, на которой столетия мерзли кочевники, сидя у очагов в своих юртах и вдыхая запах мокрого войлока. Из девяноста двух элементов менделеевской системы около шестидесяти нашли в тянь-шаньских горах геологи.

Существует в Киргизии сказка о двух батырах, которые с неба доставали звезды и обладали необыкновенной силой. Однажды их захватил в горах жестокий мороз, и, чтоб согреться, они стали бороться между собой, «и такие это были батыры, что, пока они боролись, столько тепла пошло от них, что оттаяла одежда людей, и верблюжьи вьюки, и конская сбруя, и ручьи во все стороны побежали, и зацвели деревья вокруг». Образно выражена в этом мысль о неисчерпаемой энергии, скрытой в природе, о неиссякаемых силах, заложенных в человеке. Разве не претворением в жизнь этой сказки является работа советских геологов — людей, открывающих в мертвых камнях животворные источники света и тепла и угадывающих в хаосе скал частицы, из которых можно вылепить прекрасные статуи, отлить блещущие крылья самолетов, построить санатории и ледоколы!

Какое торжество, какое счастье испытывает геолог, когда, отбив молотком от скалы крохотный кусочек, обнаруживает на черных, как бархат, натечных марганцевых образованиях изумрудно-зеленые бляшки и тонкие оливково-зеленые агрегаты кристалликов! Каждое сочетание красок на камнях

имеет для разведчика горных богатств, помимо делового, еще и художественное значение: как бы ни были тусклы краски, но если за их сочетанием открывается геологу минерал, который он искал месяцы, эти краски кажутся ему прекрасными.

Следом за геологами на отысканные месторождения идут строители. Ясно, что при существовавшем бездорожье проще и дешевле было начинать разработку месторождений Тянь-Шаня с края — со стороны Ферганской и Чуйской долин. Первые рудники и шахты поэтому были воздвигнуты здесь. Так полоса подножий Тянь-Шаня сделалась промышленной полосой Киргизской республики. И вокруг Ферганской долины, в предгорьях, возникло целое ожерелье новых горняцких городов и поселков.

Прежде чем рассказывать о них, вот вам история, теперь уже давняя, о рождении одного из первых киргизских нефтепромыслов. Ее рассказал мне в 1937 году случайный собеседник — геолог, разведчик нефти.

За несколько лет до того он приехал с экспедицией в небольшое ферганское селение. По всем данным где-то здесь должен был пролегать нефтяной пласт. Целое лето искали его геологи, не одну скважину пробурили они в окрестностях, но нефти все не было. (В то время еще понятия не имели о новейших методах, с помощью которых сейчас разведчики быстро находят нефтяные пласты.) По вечерам в сельской чайхане, где геологи обосновались на жилье, собирались дайхане побеседовать о том, о сем, поделиться радостями и горестями. И постоянным участником этих бесед был старый Илляхун, седобородый старик уйгур, фруктовый сад которого славился редкими сортами персиков и абрикосов.

Илляхун сидел всегда молча, мигая выцветшими ресницами, на вопросы отвечал односложно. И в этой односложности ответов, в молчаливости, в той необычной манере, с которой он бормотал молитву, прежде чем приступить к чаепитию, даже в самом

постоянстве, с каким он приходил в чайхану, было что-то неуловимо тревожное. Людям свойственно, однако, ко всему привыкать, и геологи, посудачив о странностях старика, отнесли их за счет характера и перестали эти странности замечать.

Пришла осень. Удрученные, что лето пропало даром — нефти они так и не нашли, геологи решили покинуть селение и перебраться на новое место. Последний вечер они провели с дайханами, собравшимися в чайхану. Поздно ночью дайхане разошлись, и геологи легли спать на открытой суфе (деревянной кровати) в чайхане, прямо под небом — тем черным осенним небом Ферганы, в котором среди звездной пыли мерцают огромные, величиной с кулак, звезды и время от времени падающие метеориты прочерчивают свой мгновенный, сверкающий путь.

Заря только начала заниматься, когда геолог, рассказчик этой истории, проснулся оттого, что кто-то легонько дергал его за плечо. Он открыл глаза. Перед ним стоял старый Илляхун в дорожной одежде. Тихо, но властно он потребовал, чтобы геолог последовал за ним. Вдвоем они прошли сквозь спавшее селение на окраину. На недоуменные вопросы геолога старик упорно отмалчивался, пока не вошли в сад. У калитки геолог заметил две лежавшие на земле туго набитые переметные сумы.

Тут только Илляхун заговорил. Он стал водить геолога от дерева к дереву, рассказывая о каждом: откуда привез, когда посадил, какие плоды дает оно. Это был живой рассказ человека, отдавшего жизнь своему саду. Но геолог слушал рассеянно, каждая слетавшая с ветки птица заставляла его вздрагивать, так непостижимы были этот ранний час утра и одежда старика, и тон, которым тот рассказывал о своем саде.

Но вот Илляхун умолк. В тишине стало слышно, как колеблемые утренним ветром скребутся о глинобитный забор первые сухие листья осени. Старик вздохнул и заговорил вновь. Теперь он сказал, что в приезде геологов видит перст божий. Много лет назад, еще юношей, он дал обет совершить поездку

на могилу своих предков, в Кашгар. Он откладывал поездку из года в год, потому что ему жаль было бросить свой сад. Седина одела серебром его голову, а он еще до сих пор обета не выполнил. И аллах решил покарать его — прислал геологов, дабы они уничтожили его сад.

— Почтенный Илляхун-бобо! — воскликнул в изумлении геолог. — Зачем же нам уничтожать ваш сад?

— Остановись, — сурово сказал старик. — Сказано в коране: «Это не вы их убили, но аллах убил. Это не ты бросил, когда бросил, но аллах бросил». Всемогущий прислал вас, ибо пекся о спасении моей души. Все лето он держал меня возле вас, испытывая мое усердие в вере. И понял я тайный смысл двадцать пятой суры: «Они делают божеством страсти свои». Разве не так поступил я со своим садом?..

Голос старика окреп, зазвенел, глаза заблестели, он выпрямился и заключил, показывая пальцем в какую-то яму на обрыве возле забора:

— Вот то, ради чего аллах послал вас ко мне. Это нефть. Возьмите ее, и да будет с вами милость аллаха!

Геолог бросился к яме удостовериться, действительно ли там нефть. Дрожащими руками он схватил длинный прут, ткнул им в яму, поболтал и вытащил. На конце прута блестела темная маслянистая жидкость. Да, это была нефть, несомненная нефть, открытый выход нефтяного пласта, как бывало в Ферганской долине. Геолог обернулся, старика позади не оказалось. Окликнул его, никто не отозвался. Не выпуская из рук прута, геолог побежал к калитке, там переметных сум не было. Выбежал на улицу, но старый Илляхун исчез бесследно.

Спустя год на месте сада высились буровые вышки нового нефтепромысла. Однако самый сад не погиб. На колхозников произвел слишком глубокое впечатление уход старика. И геологи, собравшиеся в то памятное утро вокруг нефтяной ямы, решили, что им непристойно оставлять дайхан в убеждении, будто они, советские специалисты, лишь слепое ору-

дие в руках аллаха. Следует, наоборот, утвердить в сердцах уважение к человеческому разуму, к его силе. Геологи вызвали из города ученых-садоводов и вместе с ними перенесли сад старика до последнего дерева на новое место.

Прошел еще год. Однажды утром рабочие увидели на дороге какого-то старика в рваной, покрытой пылью одежде. Опираясь на посох, он растерянно озирался. Один из местных людей признал в нем Илляхуна. Старика окружили и, предвкушая радость, какую испытает тот, увидев целым свой сад, с торжеством его туда повлекли. Однако Илляхун, когда его ввели в сад, и глазом не моргнул. Он устало сел под яблоней на траву. На вопрос, был ли в Кашгаре, ответил: был. На остальные вопросы отвечать не захотел и попросил оставить его одного.

Первое время он из сада почти не выходил. Забредавшие к нему люди неизменно заставали его сидевшим и размышлявшим о чем-то. Переехать из своего сада в поселок нефтяников он решительно отказался. Вокруг него на деревьях созревали плоды, с мягким стуком падали наземь, гнили в траве. Воробьи свершали над его головой шумное пиршество. А Илляхун сидел, размышлял и на расспросы не отвечал. Спустя месяц он внезапно появился перед директором промысла, сказал, что передает сад нефтяникам, и попросил принять его на работу сторожем. Его приняли. Он переселился в коттедж и стал по ночам ходить меж нефтяных вышек, таская за плечами выданное ему старенькое ружье, заряженное одним порохом.

В одну из таких ночей случилось буровому мастеру задержаться у только что пробуренной новой скважины. Далеко за полночь он пошел домой, и так хорошо было кругом, что мастер присел возле одной из вышек, погрузившись в мечтания. Внезапно он услышал шаги. Выглянув из-за вышки, он увидел Илляхуна. Мастер уже собирался окликнуть его, но, заметив, что старик положил ружье и расстилает на земле молитвенный коврик, сдержался. И услышал

самую необыкновенную молитву, какую когда-либо кому-нибудь доводилось слышать.

Сперва Илляхун покончил с обычными молитвенными формулами, совершил намаз и неожиданно начал такую молитву: «О всемилостивый, всемилосердный! Ты, от которого не утаится вес пылинки, и ничто более малое, чем это, и более великое, будь милосерд ко мне, грешному. Страшная гордыня обуревает меня. Денно и нощно, всем и каждому хочется поведать мне, что это я и никто другой открыл людям нефть, дабы возвеличиться в людском мнении. Но ведь это ты, о всеведущий, предсказал, что земля превратится в нечто другое, чем земля. И вот она превратилась в нечто другое, и в этом, помимо хорошего, нет ничего. Прости же меня, ничтожного, за то, что в мыслях моих я осмеливаюсь присваивать совершенное тобою благодеяние. И да будет благословенна отныне и вовеки нефть, дающая людям свет и тепло».

Старик поднялся, закинул ружье за плечо и двинулся дальше в обход по промыслу. А наутро весь поселок смеялся до слез над рассказом бурового мастера. Однако самому Илляхуну никто и вида не подал, что знает о его ночной беседе с аллахом. Наоборот, с того дня к старику стали относиться с особой почтительностью, пожалуй, даже с нежностью. Изредка только какой-нибудь смешливый юнец, сделав в присутствии Илляхуна торжественное лицо, громко говорил заезжему гостю, указывая на старика:

— Вот кто первый открыл здесь нефть!

И тогда все видели, как обуревавшая старика гордыня, получив, наконец, законное удовлетворение, раздвигала усы Илляхуна сдержанной улыбкой удовольствия.

Вспоминаешь и думаешь: «Да полно, было ли это, уж не приснилось ли, не примерещилось ли — так далеко ушла вперед жизнь!» Пользуясь новейшими методами нефтеразведки, геологи отыскали в при-

ферганской Киргизии такие мощные пласты нефти, что только в нынешней шестой пятилетке добыча нефти в Киргизии увеличится почти в восемь раз. А ведь и до этого в предгорьях Ферганского хребта выросло несколько больших промыслов, возле них белеют домики многочисленных поселков нефтяников.

Поросшая камышом река, тесная долина и несколько глинобитных лачуг: таким помнит свой поселок Багиш Урманов, известный в Киргизии мастер нефти. Смешно вспоминать эту картину теперь, идешь ли одной из светлооконных улиц Чангырташа, или подходишь к промыслу и издалека слышишь гул мощных двигателей, вращающих турбобуры. Промыслы Киргизии оборудованы новейшими механизмами: турбобурами, редукторными станками-качалками, вставными насосами.

Не знаю, как на кого, а на меня произвело глубокое впечатление зрелище, виденное мной в Чангырташе. Мастер-киргиз с маленьким чемоданчиком склонился над нефтяной скважиной. В чемоданчике находился эхолот, посылавший звуковые волны в глубь земли. Волны отражались и возвращались из скважины, чертя на ленте кривые линии и знаки, показывая, как высок уровень нефти. Если бы этому мастеру лет двадцать назад кто-нибудь сказал, что он будет «смотреть сквозь землю», он вряд ли поверил бы. А «чудо» это ведь и для нас чудо: последнее слово современной техники!

Кроме нефтепромыслов, в ферганское промышленное кольцо входят новые города Кадамджай и Хайдаркан: среди холмов протянулись улицы этих городов и раскинулись рудники и цехи металлургических комбинатов, на которых выплавляется ртуть и сурьма. Киргизия занимает первое место в СССР по добыче ртути и второе по добыче сурьмы.

Нефтяниками, рудокопами, металлургами и еще шахтерами гордится южная Киргизия. Четыре больших шахтерских города входят в ферганское промышленное кольцо: Сулюкта, Кзыл-кия, Кок-Янгак и Ташкумыр. Старейший и крупнейший из них —

Кзыл-кия. В этом городе — в его облике и истории — как бы отразилась вся история рождения киргизской горной промышленности. Поэтому поедем именно в Кзыл-кия.

3. КРАСНАЯ ДОРОГА, ИДУЩАЯ ВВЕРХ

«Даже убегая, оставляй свое поле засеянным», — мудрость кедеев, киргизских бедняков, которые жили среди опасностей, но знали цену труду. Эти слова живо напоминают мне фразу, слышанную однажды мною из уст Леонтия Григорьевича Солнышко, кзылкийского шахтера: «Если тебе осталось жить до полудня, все же заработай, чтобы тебе хватило до вечера». Старый шахтер тоже был мудр и знал, что такое труд.

Происходило это в 1930 году. Мне было поручено написать очерк об угольщиках. Приехав в Кзыл-кия, я, вместо того чтобы изучать жизнь, с наивной прямолинейностью молодости стал задавать вопросы товарищу Солнышко. Я искал примеры под заранее припасенную схему: прежде жилось плохо, теперь хорошо. Между тем, как сказано, шел тридцатый год, время величайшей революции в деревне, время индустриализации нашей страны, и советским людям, строителям социализма, в те дни случалось отказывать себе в необходимом. Можно представить, как вопросы мои должны были раздражать Солнышко.

А характера он был крутого. Тогда же мне рассказали о нем такой случай. На большом собрании один приехавший из Фрунзе ответственный работник, выступая, говорил: «Мы гордимся товарищем Солнышко, нашим незаменимым работником!» После собрания Леонтий Григорьевич отвел этого оратора в сторонку и сказал ему голосом, дрожащим от негодования:

— Незаменимый работник — это значит плохой работник!

И уже вечером в кругу близких друзей Солнышко восклицал:

— Пустозвон! Какой же я коммунист и работник, если не подготовил себе замены? Выходит, ежели помру — все дело в трубу? Это при старом режиме, когда мастер свое умение в секрете держал, боясь без работы остаться, он и бахвалился: я, мол, незаменимый!

Свой урок мне Леонтий Григорьевич преподал тоже в своеобразной форме. Он перестал отвечать на мои вопросы и нахмурился. От смущения я смешался и умолк. Тогда Солнышко насмешливо взглянул на меня и сказал:

— А из тебя шахтер выйдет. Трудновато придется только первые десять лет, а там привыкнешь.

Я в ответ забормотал что-то вроде: «При чем тут шахтер? Признаться, я не собираюсь...»

— А ты соберись! — все так же насмешливо сказал Солнышко. И, видимо, убедившись по выражению моего лица, что загнал меня в угол, вдруг заговорил просто: — Думаешь, мы боролись, проливали кровь только ради хлеба, ради крыши или даже ради вот этого?! — Он подвел меня к окну, за которым среди бочек с известкой и груд кирпичей рабочие укладывали фундамент нового дома. — Нет! — сказал он, замолчал и уставился на меня.

Я инстинктивно почувствовал, что и мне следует молчать. Задай я в ту минуту вопрос: «А ради чего?», он, вероятно, вновь срезал бы меня насмешливой фразой, и разговор на том бы и кончился. Но я молчал. Тогда Солнышко сам задал этот вопрос: «А ради чего?!», строго взглянул на меня и начал рассказывать историю Кзыл-кия.

До революции здесь, по склонам глинистых холмов, поросших полынью, бурьяном да колючкой, лепились шахтерские землянки, среди которых высилось шесть строений: горная контора, дом хозяина, винная лавка, полицейский участок и две квартиры стражников. Какими были условия труда и быта в Кзыл-кия, свидетельствует сама фамилия Солнышко. Родилась она из прозвища. По шестнадцати часов в сутки работали шахтеры: спускались в шахту задолго до рассвета и выходили вечером, после на-

ступления темноты. От воскресенья до воскресенья шахтеры не видели дневного света. Молодой же Леонтий Григорьевич в ту пору работал откатчиком, вывозил уголь на-гора. Когда спускался он в шахту, шахтеры его спрашивали: «Ну, как сегодня денек?» Он отвечал: «Солнышко!» Солнышко да солнышко, так и осталось за ним.

Сама шахта в Кзыл-кия была будто приспособлена для массового убийства людей. Входом в нее служила дыра в земле. Сквозь эту «дудку» шахтер прямо в угольной бадье спускался в штольню, которая почти не вентилировалась, хотя глубина залегания угольных пластов доходит в Кзыл-кия до двухсот метров. Задыхаясь без воздуха, обливаясь потом из-за невыносимой жары, распространявшейся от горевшего где-либо по соседству участка, лежа на животах, иногда в лужах воды, просочившейся из грунта, прорубали забойщики кирками в стороны от штольни кривые штреки. Тратиться на крепление, при дороговизне леса в Средней Азии, шахтовладельцы не хотели и предпочитали хищническую проходку угольных пластов узкими штреками. Но обвалы происходили и в штреках.

«Шахтер в шахту опустился, с белым светом распростился...» Эти слова из известной горняцкой песни имели в Кзыл-кия особенно реальное и страшное значение. Каждую неделю бадья поднимала из шахты тела мертвецов — раздавленных породою, задохнувшихся или умерших от истощения.

— В будни мы работали, а по воскресеньям хоронили товарищей, — рассказывал Солнышко.

В Кзыл-кия не было ни кладбища, ни попа — на них хозяева тоже не считали нужным расходоваться. Покойников заколачивали в гробы, выстраивали рядами в часовенке, и каждое воскресенье утром из Кзыл-кия в город Скобелев (нынешнюю Фергану) на «кукушке» выезжала похоронная процессия. И у всех провожающих, если дело происходило зимой, в карманах лежали мочалки, ибо даже своей бани и той в Кзыл-кия не было. Летом шахтеры купались под шумящим неподалеку от поселка водопадом, зимой

заодно с похоронами смывали с себя в городе недельную угольную грязь.

История того, как шахтеры маленького пролетарского района, затерянного, словно песчинка, в глубине царской колонии, сумели осознать себя частью рабочего класса, — яркая страница в истории Средней Азии. В 1912 году кзыл-кийские горняки вместе с пролетариатом России откликнулись на Ленские события политической забастовкой. В семнадцатом году в Ферганской долине лишь маленький горняцкий поселок отозвался забастовкой протеста на расстрел июльской демонстрации в Петрограде, отозвался, правда, с опозданием, так как номер большевистской газеты, посвященный этим событиям, проплутал больше месяца, прежде чем добрался в такую глушь. Солнышко был одним из руководителей этой забастовки.

Вслед за забастовкой кзыл-кийские шахтеры создали вооруженный отряд Красной гвардии, связались через революционных железнодорожников с ташкентскими коммунистами, а после Октябрьской революции сразу установили у себя советскую власть и в январе 1918 года национализировали шахты. Солнышко выбрали тогда заместителем председателя Кзыл-кийского Совета рабочих и солдатских депутатов.

В том же восемнадцатом году узбекские буржуазные националисты вкупе с царскими офицерами подняли в Ферганской долине мятеж, захватили ферганские города и провозгласили кокандскую автономию. Из Ташкента на ликвидацию мятежа были брошены отряды Красной гвардии. В разгар ожесточенных боев под Кокандом, когда красногвардейцы, устилая землю ранеными, пядь за пядью двигались к городу, в тылу у мятежников нежданно-негаданно появились черные от угольной пыли шахтеры. Ими командовал рабочий кзылкиец Едренкин, любимой присказкою которого было: «Смерти бояться — на свете не жить!»

Шахтеров было немного — каких-нибудь шесть десятков человек, а наступали они на стотысячный

город. Навстречу им из Коканда выпеслись конные сотни Мадамин-бека. Завидя их, шахтеры залегли цепью. И в ту минуту, когда перед ними блеснули кривые клинки и раздался оглушительный крик «Ур!» («Бей!»), шахтеры встали и бросили самодельные ручные бомбы, начиненные динамитом и обрубками железа. До верхушек тополей взлетела перед ними стена огня, взлетела с таким грохотом, что и шахтеры малость струхнули, подались назад и потом долго делились удивленными восклицаниями по поводу собственного изобретения. Конница же мятежников в беспорядочном бегстве повернула вспять и внесла с собой панику на кривые улички азиатской части Коканда. Эта паника помогла делу, фронт мятежников дрогнул, начал рассыпаться, ташкентские отряды Красной гвардии быстро заняли город.

Летом 1918 года к киргизским баям на Памир приезжал «на охоту» английский консул в Кашгаре Эссертон. Он установил связь с курбашами — главарями басмаческих банд юга Киргизии. Шайки Ирга-ша, Мадамин-бека, Курширмата и других басмачей получили английское оружие. Фигура узбекского дехканина, сидевшего на ступеньках Кзыл-кийского ревсовета и горестно рассказывавшего шахтерам о том ли, как басмачи угнали его скотину, о том ли, как сожгли его дом, изнасиловали и увели с собой его дочерей, — фигура эта стала обычной в горняцком поселке. Со всех концов Ферганской долины скакали всадники за помощью к кара-адамам, «черным людям», как звали кзылкийцев местные жители. И отряды шахтеров мчались на выручку к узбекскому дехканину и к киргизскому чабану, гонялись за бандами, разбивали их, наводили в селениях революционный порядок.

Басмаческие шайки не раз пытались внезапным налетом разгромить кара-адамов и захватить Кзылкия. Налеты эти тщательно подготовлялись бежавшими из Скобелева царскими офицерами — они понимали: пока существует «Кзыл-кийская республика» (как именовали себя шахтеры), не быть Ферганской

долине белой. Но каждый налет кончался тем, что басмачей обращали в бегство.

Застать шахтеров врасплох было невозможно. На красных глинистых холмах вокруг поселка круглые сутки бодрствовали дозорные, и поселок, словно крепость, был обнесен окопами и проволочными заграждениями. Едва в ночи возникали два выстрела тревоги, как сигнал тонко подхватывали гудки паровозиков. Вслед за этим две торчавшие из-за блиндажей старинные пушки с необычайным громом начинали выплевывать снаряды, и из окопов раздавался треск шахтерских винтовок, карабинов и охотничьих ружей. Одного этого шума бывало достаточно, чтобы басмачи убрались восвояси: когда горняцкий отряд, оседлав коней, выносился из поселка, шахтеры видели лишь быстро удаляющееся облако пыли, заслонявшее звезды над горизонтом.

В самые напряженные дни гражданской войны кзылкийцы не переставали рубать уголь. Они спускались в шахту со своими винтовками и саблями. По тревожному звонку привязанного к веревке колокольчика они бросали кайло, бежали по штольне к бадье и, выйдя на-гора, сразу садились на коней, которых конюхи подводили оседланными прямо к «дудке». После боя с басмачами они снова спускались в шахты, ибо Кзыл-кия взяла на себя обязательство каждый день доставлять среднеазиатской железной дороге поезд угля. От имени шахтеров обязательство это подписывал Солнышко.

В 1919 году, когда образовалась так называемая «оренбургская пробка» и Туркестан был отрезан от Советской России, когда ашхабадские улицы патрулировались английскими сипаями и волна басмаческого движения охватила Среднюю Азию, — в эти дни судьбы Советского Туркестана решал уголь, решала бесперебойная работа железной дороги, по которой перебрасывали красноармейские части и военное снаряжение. На кзыл-кийских рабочих легла ответственность за всю Среднюю Азию. И шахтеры не подкачали — железная дорога получала необходи-

мое количество угля. Трудящиеся Туркестана в глубоком тылу у белых отстояли советскую власть вплоть до того дня, когда с севера сюда пришли эшелоны Красной Армии, руководимой Михаилом Васильевичем Фрунзе.

Кзыл по-киргизски — «красный», кия — «дорога, идущая вверх». Название это, происшедшее от красных глинистых холмов, взбегающих к подножью Алайского хребта, за годы гражданской войны стало для киргизских пастухов звучать символично. Но еще большую глубину оно получило после гражданской войны, когда Кзыл-кия сделалась кузницей пролетарских кадров для Киргизской республики. На долю кзыл-кийских рабочих выпала почетная задача воспитания вчерашних кочевников.

Вот сценки из жизни шахтера Алудиева, записанные мною тогда же в 1930 году. Привожу их, потому что примерно такими были в те годы впечатления многих киргизов, пришедших работать на шахты.

В юности Алудиев пас овец бая. Советская власть пришла к нему осенним утром. Он так и рассказывал: «Она пришла ко мне утром». Он сидел у костра, закутавшись в дыры ветхой своей рубашки, и дрожал от холода. Неожиданно в сопровождении аилсоветчиков подъехал бай. Подчиняясь приказу киргизского правительства, бай торжественно подарил Алудиеву спецодежду. Новенький кементай обнял его тело; на ноги — легкие сапоги из сыромятной кожи и ситцевые штаны, добегающие до икр; на голову — тельпек из белого войлока. Кроме того, бай (это было неслыханно!) заплатил ему жалованье: сорок пять бумажных рублей, пропахших конским потом, пожелтевших от непогод. Алудиеву стало теплее.

Вот что произошло в июле следующего года. Алудиев лежал в тени скалы, отдыхая вместе с байской отарой в жаркий полуденный час. Между пестрыми тюльпанами носилась голубенькая бабочка. Прищурясь, Алудиев следил за нею и вдруг увидел, как между еловыми стволами мелькнул конский жи-

вот, уздечка сверкнула на солнце и на поляну выехал молодой киргиз. На его ногах блестели сапоги, кепка блином лежала на голове, и Алудиеву стало жарко от этой смешной одежды. Он так и рассказывал: «Смотрю я на него, смешно мне и жарко». Приехавший соскочил с коня, сел рядом, разговор вышел нелепый, но хороший.

— Здоровы ли скот и душа? — легко сказал обычную фразу приезжий.

— Спасибо, здоровы, — усмехнулся Алудиев.

— А мы перевыполнили программу, — просто сказал тот.

Алудиев не понял, но слова не показались ему обидными.

— Где взял такую шапку? — спросил он.

— В кооперативе.

Алудиев опять не понял, но и это не показалось ему обидным.

— А мне советская власть дала, — проговорил он, гладя мягкий войлок, — и еще вот штаны дала.

— Хорошие штаны, — улыбнулся приезжий.

Они сидели, сердечно разговаривая; пахло мятой, горькой травой, пахло сапогами; паучок начал вести от плеча Алудиева тонкую нить к высокому стеблю молочая; приезжий рассказывал о Кзыл-кийском каменноугольном руднике: «Там ты увидишь от-арбу, огненную телегу. Десять больших арб привязаны одна к другой, как верблюды в караване, и из передней вылетают огонь и дым. Едет от-арба по двум длинным железным прутьям, валяющимся на земле». Алудиев представил себе чудовищный поезд огненных телег, едущих на толстых и ржавых гвоздях (другого железа он не видел), и ему сделалось страшно. «Там ты увидишь много юрт рядом, сверху еще юрты, и получается большая юрта, как гора».

Приезжий оказался кзыл-кийским забойщиком. Его прислали в этот отдаленный горный район вербовать рабочую силу. Он рассказывал Алудиеву о добыче угля, он угостил его харьковскими мясными консервами. Когда солнце задвинулось за горы, Алудиев дал согласие поехать на работу в Кзыл-кия.

И еще одна сценка, запечатлевшаяся в памяти Алудиева. Матовым блеском светятся рельсы. На них стоит поезд. У вагона сидят на корточках шестнадцать завербованных и смотрят поезду «под брюхо». Оставив за плечами несколько перевалов, они увидели на рельсах чудо. Их ввели в вагон; три ступеньки оказались широкими и удобными — это изобретение Алудиев оценил сразу. Позади лежала жизнь бедная, но понятная. Теперь он ехал в неведомое; он сказал образней: «Я ехал, как в черную бутылку». Паровоз загудел протяжно (так ревут изыскающие верблюды), и поплыл перрон, потекли деревья, роняющие листья, людские головы, дощатые дома. Алудиев обернулся. В вагоне люди сидели на полках, как на скалах, свесив ноги вниз, так что ниже колен они болтались, и это показалось Алудиеву смешным. Он тоже попробовал так сесть на полку, оказалось, неудобно, тогда он взобрался на полку с ногами, поджав ступни, и вынул из узелка еду...

Когда приехали на шахту, их поместили в комнате общежития: белые простыни, стулья, электричество — все было ново, непривычно. Неба не видно, и не светятся звезды сквозь потолок. Душный просвет окна напоминал вагон. Койки неудобны, висишь на подпорках и не чувствуешь под собой земли. Три дня прожили они в общежитии. На четвертый кзылкийские рабочие были удивлены неожиданным зрелищем: под окнами общежития шестнадцать новых шахтеров строили себе юрту.

А первые впечатления от шахты! Неодолимый запах угля и осторожная переступь низкоголовых шахтных лошадей: в ту пору уголь в шахте добывали еще по старинке, и Алудиеву поручили работу коногона. Лошади, подслеповатые, кривоногие лошади — весь родной аил Алудиева повалился бы в траву от смеха, если бы увидел их! А работа коногона: загрузить вагонетку углем и, понукая лошадь, подпирая плечом сползающую с рельсов вагонетку, гнать ее в простор сортировки, мимо расходящихся уклонов и штреков, мимо одиноких ламп, струящих густое молоко света, мимо баков с кипяченой водой...

Сделав эти записи, я на следующее утро (тогда же, в 1930 году) прочел их Алудиеву. «Товарищ, — сказал он, — ты забыл главное. Я уже не коногон. Вот мы строим комсомольский механизированный столб на втором бесконечном бремсберге. Вот я буду учиться работать на электровозе. Подумай сам: прочитает комсомолец Донбасса. Что скажет? Смеяться будет. Совсем, скажет, добыча угля первобытная!»

Прошло четверть века после этого. И я снова в Кзыл-кия. И не узнаю города и людей.

Площадь перед вокзалом встретила нас тем богатством жизни, по которому безошибочно угадываешь, что перед тобой город, если и не громадный, то, во всяком случае, изрядный. Шурша шинами, подкатывают к остановке автобусы. У края площади — рядок такси. Всюду электрические огни (мы приехали вечером). И в воздухе не горький запах степной колючки, какой возникал в памяти, когда вспоминалось о Кзыл-кия, а благоуханье цветущих акаций.

По застроенной одноэтажными и двухэтажными домами улице от вокзала едешь в город. Листва деревьев на уличных аллейках (как кзылкийцы именуют тротуары) до того густа, что луч света, протянувшийся из окна, не в состоянии пронизать дерево насквозь, а освещает его лишь снизу и притом с одной стороны. Город — это ясно видно даже в вечерний час — лежит меж холмов. Кривая линия холмов за домами временами озаряется далекими вспышками контактной сети электровозов, прочерчиваясь с ослепительной четкостью. Местами из-за холмов брезжит зарево света — там тоже поселки, улицы. Это придает городу необычность.

Идешь по улице в гору, вдруг строения кончаются. Но мостовая и уличные фонари не оборвались, они взбегают на холм, прорезая степной пустырь. По дороге едут шахтеры на собственных мотоциклах и автомашинах. Взбираешься на холм, и глазам открывается еще одно озеро электрических огней: улицы, дома, и за ними очертания металлического копра

шахты, над которым в ночном небе языком пламени реет красный флаг.

Ярко светятся вечером окна Дворца культуры шахтеров. Он высится на пригорке — весь в огнях, длинный, украшенный лепным карнизом и шпилями. В его зрительном зале идет спектакль. Читальня полна. А вокруг дворца в тенистых аллеях — гулянье. Листва деревьев кажется возле фонарей плотной, густой, а в укромных уголках такою сквозной, что поднимаешь голову, и кажется: на конце каждого листка блестит по звезде. Одну из аллей величают Аллеей мастеров угля, на ней установлены портреты лучших шахтеров, и возглавляет эту аллею Алтмыш Сатывалдиев, Герой Социалистического Труда, человек известный в Киргизии.

Работает Сатывалдиев бригадиром проходчиков на шахте «Джал». В переводе джал значит «жир под конской гривой». Если у коня толстый слой джала, значит хороший, выносливый конь, им гордятся, его воспевают акыны. Лучшую свою шахту, с самым мощным пластом кзылкийцы и назвали по-своему, по-киргизски — «Джал». Пойдите на шахту «Джал», спуститесь под землю в забой, и вы ощутите со всею трепетной полнотой, что значит шахтерское выражение «фронт угледобычи».

Взрывники закладывают шпуры. Шахтеры покидают забой. Раздается резкая трель свистка — сигнал начала отпалки. Глухо рвутся заряды — кажется, где-то вдалеке бьют тяжелые орудия. Сотрясается кровля. Постепенно гул падения оторванного пласта угля затихает, тотчас же навалоотбойщики, как бойцы, идущие в атаку, не дожидаясь, пока рассеются дым и пыль, устремляются в забой. Скрежеща, туда же движется скребковый транспортер. И спустя несколько минут из забоя начинает течь поток «уголька».

Нынешние шахты Киргизии — это подземные заводы. На них работают угольные комбайны, тяжелые универсальные врубовые машины, перфораторы, углепогрузочные и породопогрузочные машины, скребковые транспортеры, мощные электровозы. Воздух

в шахтах очищают электрические вентиляторы. На многих шахтах установлено дистанционное и автоматическое управление работой горных машин.

Для теперешних шахтеров, свободно владеющих этой техникой, давней сказкой покажутся записи 1930 года о том, как на шахту пришел Алудиев. Многие из этих шахтеров-киргизов кончили в Кзыл-кия горное училище, а то и горный техникум. Другие учились в обычных средних школах и по культурному уровню ничем не отличаются от своих русских товарищей. Таблица логарифмов вошла в жизнь каждой шахтерской семьи. Кзыл-кия давно уже оправдала свое название — «Красная дорога, идущая вверх».

4. АЛАЙ

«Не забудьте заехать поглядеть! Не пожалеете! Прекрасный оттуда вид!» Как часто фразой этой напутствуют новичка бывалые путешественники. В каждом едущем неистребимо живет желание увидеть и восхититься новым — тем, что до него не видел никто. Но в каждом живет и желание, столь же неистребимое, своими глазами поглядеть места «знаменитые», почувствовать себя сопричастным людям, прославившим эти места, и потом говорить с гордостью: «Как же, бывал, видал...» И дело тут не только в дани своему самолюбию! Еще и в том, что красоту пейзажа постигаешь лучше, когда ее кто-нибудь описал до тебя. «Весна не была бы для меня так прекрасна, если бы Томсон и Клейст не описали мне всех красот ее», — говорил Карамзин. Но мы отвлеклись, поэтому признаемся сразу: начало это понадобилось нам лишь для того, чтобы сказать: если поедете в долину Алая, не забудьте с гребня Алайского хребта оглядеться: прекрасный оттуда вид.

Сперва машина ваша по тракту Ош—Хорог углубляется в Алайский хребет. То и дело поворачивая, дрожа всем корпусом, она медленно идет на подъем. Вокруг камни, камни... Камни оранжевые, желтые, красные. Каменные колоннады. Каменные башни.

Каменные иззубренные стены. Просто нагромождения освещенных солнцем камней. Темно-зеленые и черные пятна обнажений каменных же пород. Камни, нависшие над дорогой. Камни справа, и слева, и впереди. И когда утомленному глазу уже начинает мерещиться, что ни здесь, да и нигде на свете нет ничего другого — одни камни, камни, именно тогда-то перед вами вдруг (вдруг — так, что вы и ахнуть не успеваете!) распахивается грандиозная картина, полная воздуха, пространства и света.

Желтый, зеленый, белый, синий — четыре цвета господствуют в этой картине. Желтый у ваших ног — выжженных солнцем склонов Алайского хребта. Серовато-зеленый — лежащей внизу Алайской долины. Белый цвет Заалайского хребта, высящегося зубчатой грядой по ту сторону долины и, что удивительно впечатляет, покрытого снегами до основания: хребет весь словно отлит из серебра. Наконец синий цвет — здешнего темного неба. И в синеве парит гриф, его крылья гордо распростерты в воздухе, а белая страшная голова клонится к земле.

Там внизу, по долине, движутся пестрые пятна пасущихся стад. Наперстками стоят юрты, над ними вьются дымки. В зелени лугов — обрывки чего-то красного. Что бы это? Спрашиваете. Вам говорят: «Излучины реки Кызылсу». Приходится верить на слово. Однако неестественный цвет этих обрывков оставляет чувство недоверия — ну разве может быть такою река? Наискось Алайскую долину пересекает серая ниточка тракта: белесоватые струйки пыли взлетают из-под колес бегущих автомашин. Но вокруг вас воздух легкий, звенящий, прозрачный и чистый такой, что кажется, стоит протянуть руку и коснешься пальцем по ту сторону долины пика Ленина, венчающего Заалайский хребет.

Первым русским ученым, который увидел сверху картину Алайской долины, был Алексей Павлович Федченко. Свое знаменитое путешествие в Алай Федченко вместе с женой Ольгой Александровной совершил в 1871 году. Смелым и опасным было это путешествие: Фергана и горы вокруг принадлежали

Кокандскому ханству, потрясаемому восстаниями, заговорами и кровавой резней племен. О горной стране, что лежит к югу от Ферганы, ученые имели смутное представление. Разгадать загадку этой страны, открыть ее для науки — вот цель, которую поставил перед собой Федченко.

Дважды в этом путешествии Федченко пытался (через долину Исфары и долину Шахимардана) перевалить Алайский хребет, заглянуть за него. И дважды кокандцы его не пустили туда. Только в третий раз по долине Исфайрама ему, наконец, удалось подняться на перевал (гораздо западнее, чем перевалила наша автомашина). И он увидел панораму Алайской долины, и назвал белоснежный хребет по ту сторону долины Заалайским (это имя так и осталось за ним), и определил на глаз, что скошенная с одного бока ледяная пирамида, вздымающаяся над хребтом, должна быть выше семи тысяч метров (и не ошибся — высота пика Ленина семь тысяч сто тридцать четыре метра), и угадал, что Заалайский хребет — это карниз Памира, страны, о которой до Федченко, если не считать свидетельств Марко Поло, побывавшего на Памире в XIII веке, науке достоверно было известно разве лишь то, что еще в более древние времена писал китайский географ VII века Сюэнь Цзянь, например, что Памир — «это центральный пункт земли и неба. Там есть озеро, и в нем обитает дракон».

С перевала Федченко удалось спуститься и в Алайскую долину, к кокандской глинобитной крепости Дараут-Курган. Сквозь подзорную трубу он рассматривал оттуда ледники Заалайского хребта, мечтая исследовать их. К каким хитростям ни прибегал он, чтобы добраться до них! Увы! Его туда не пустили. Не обошлось при этом без шуток судьбы. Чтобы задобрить Исмаила-токсабу, дараут-курганского коменданта, от которого зависело разрешение, Федченко подарил ему последнюю, оставшуюся у него в путешествии ценность — часы. Часы в тот же день остановились. «Наверное, вертел их, как ребенок, от радости, вот они и испортились», — расска-

зывал Федченко. У Исмаила-токсабы это вызвало чувство досады. И русский ученый так и не сумел вступить на «подножье солнца» — Памир. Нас особенно трогает несбывшаяся мечта знаменитого человека, когда она сбывается для нас. Рассказ о Федченко здесь, на гребне хребта, усиливает наше восхищение картиной Алайской долины. Следует сразу сказать, что картина эта, задолго до Федченко, приводила в восхищение и киргизов, когда они на лето вместе со скотом перекочевывали сюда. Само слово «алай» — возглас удивления и восхищения — говорит нам об этом. Столь глубокое чувство восхищения выражало это слово, что киргизские пастухи пользовались им порой, как синонимом слова «рай». Вот откуда пошло, что географы так обычно и переводили: Алай — рай.

К каким смешным заблуждениям иногда приводило географов незнание местного языка, рассказывал еще Федченко. Однажды в Ферганской долине он увидел снеговые горы и спросил джигита — что за горы? Джигит ответил коротко: «Булут». В европейских географических книгах Федченко читал о меридиональном горном хребте Булут (или Балор), который, мол, расположен где-то между Тянь-Шанем, Памиром и Гималаями. Можно представить, с каким волнением смотрел русский ученый на горы: тогда науке не было известно, что такого хребта на самом деле не существует! Но очертания гор вдруг начали расплываться и скоро исчезли. Оказалось, это была гряда облаков. Между тем джигит ответил точно: булут в переводе «облако». «Как нужно быть осторожным, — восклицал по этому поводу Федченко, — при разговоре с киргизами или узбеками и как легко бывает пустить в ход множество «новых названий», при недостаточном знакомстве с языком!» Случались же и позже на картах Средней Азии такие, например, наименования, как перевал Худдай-Беляды, попросту — «перевал бог знает какой»!

Но Алай — это и на самом деле рай. Рай для стад, одно из знаменитейших пастбищ Киргизии. Издавна пастухи (киргизы, таджики и узбеки) пригоня-

ли на лето свой скот в этот «рай». И донельзя истощенные лошади быстро превращались тут в резвых скакунов: таков чистый воздух Алайской долины, таковы травы ее! Благодаря трехкилометровой высоте в Алайской долине летом прохладно и нет насекомых, мучающих скотину, — ни мух, ни оводов, ни слепней. В Алайской долине... Но ее надо посмотреть самому. Поэтому направим машину вниз. И пока, тормозя на спусках, мы медленно съезжаем в долину, поговорим о дороге, по которой едем.

О трассе, где проложен автомобильный тракт Ош — Хорог, можно рассказать немало любопытного. Можно вспомнить, например, как до революции, когда дороги не было, батальон солдат три месяца тащил через Алайский и Заалайский хребты колокол для хорогской церкви. Можно рассказать об ошском шофере, который в молодости (он жил в маленьком памирском селении) не выехал, а выплыл из дому в далекое странствие: он бросился в поток, обхватив коленями турсук — кожаный мешок, надутый воздухом, — зажав левой рукой его отверстие и работая правой рукой (русло бурной горной реки бывало в некоторых местах единственным путем из селения в долину); а спустя несколько лет этот человек приехал домой по новой дороге, ведя грузовик. Много интересного можно рассказать и о строительстве самой дороги: ведь до нее на Памире простого колеса и то не видали!

На этой дороге, когда тракт уже был проложен, в историю Киргизской республики была вписана и одна из ее самых героических страниц.

Было это в 1935 году. За Алайским хребтом зима началась неожиданно рано, ударили лютые морозы, бураны завалили снегом тракт, перевалы закрылись на два месяца раньше обычного, и торговые организации не успели завезти на восточный Памир зимний запас продовольствия и товаров. Над Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана встал призрак голодной зимы — зимы без хлеба, без соли, без сахара и без тех минимальных предметов культурного обихода, которые на Памире стали за

годы советской власти необходимыми: без мыла, без тетрадей для школьников, без учебников и книг. Союзное правительство решило на выручку памирским народам послать по тракту Ош — Хорог продовольственную экспедицию.

Среди бадахшанских киргизов существует сказание, будто некогда один могучий батыр собрал со всего Памира ветры и снега и сбросил их на чужеземные войска, шедшие из Алайской долины; а ветрам этим и снегам так понравилось зрелище человеческой смерти, что возвратиться обратно на Памир они не захотели. В сказании этом проявилась народная наблюдательность: на Памире из-за сухости воздуха действительно снегов и ветров бывает мало, в Алайской же долине снега выпадает так много, что его наверняка хватило бы на весь Горный Бадахшан. И зимой здесь бушуют вьюги.

2 декабря 1935 года колонна тракторов и грузовых машин с продовольствием выехала из Оша по Памирскому тракту. В Ферганской долине ничто еще не говорило о зиме, колхозники убирали на полях хлопок, и желтая пыль стеною летела вслед за грузовиками. Экспедиция (руководил ею герой гражданской войны Ока Иванович Городовиков) поднялась на северный склон Алайского хребта и остановилась в небольшом, укрывшемся меж скал, занесенном снегами селении. Декабрь ушел на то, чтобы забросить сюда запасы горючего и продовольствия. И в канун Нового года шоферы и трактористы, дорожные рабочие, инженеры и бойцы, ехавшие сменять памирских пограничников, — вся экспедиция двинулась дальше.

С первых же шагов дорога в горах оказалась до того заваленной снегом, что ее можно было отыскать лишь по кончикам телеграфных столбов: словно вешки, торчали они на крутых поворотах. Гусеничные тракторы с укрепленными впереди снегоочистительными площадками не могли бы пробиться сквозь снежную толщу, если бы все участники экспедиции не разгребали вокруг них лопатами снег. За тракторами, по проложенной в снегу глубокой траншее,

шло гуськом около двухсот грузовиков с продовольствием. Шутка, родившаяся в пути среди трактористов, что им приходится убирать снег не только с дороги, но и со всего Алайского хребта, была не далека от истины: от детонации тракторов то и дело рождались лавины, они летели с вершин, увлекая огромные массы снега, заваливали траншею, и ее вновь и вновь надо было расчищать.

Экспедиция двигалась на высоте трех и четырех тысяч метров над уровнем моря. На такой высоте, как известно, каша варится долго (ибо температура кипения воды ниже ста градусов), шоферы мучаются с горючим (ибо мотор теряет в мощности до сорока процентов), и человек, даже физически не напрягающийся, слышит гневные удары своего сердца, протестующего против непривычного атмосферного давления и разреженного воздуха. А участникам экспедиции приходилось работать по пятьдесят часов без отдыха; ведь при сорокаградусных морозах каждая остановка грозила вывести машины из строя — от мороза легко могли полопаться трубы в радиаторах. Нужно было спешить еще, чтобы уложиться в график, чтобы ни одной буханки хлеба, ни одной горсти соли, предназначенных для горнобадахшанцев, не съесть в пути самим.

Быстрота требовала неслыханной четкости работы. Какова бы ни была погода, в точно размеренные часы повара заезжали вперед, складывали снеговые хижины и ставили над очагами котлы с крупою и мясом. Завидя дым этих «походных кухонь» или ночью пламя сигнальных факелов, сделанных из консервных коробок, рабочие, сопровождавшие хозяйственную машину, начинали спешно рубить топорами замерзший хлеб и разогревать его на выхлопных трубах моторов.

На многих подъемах было выгоднее прокладывать новую трассу, чем убирать с дороги снег. И работники экспедиции прокладывали в зимних условиях автодорогу, взрывали скалы, совершали необходимые земляные работы, и колонна неудержимо двигалась дальше. Около Хатынарта — последнего

перевала на Алайском хребте — один из рабочих вспомнил о бьющих неподалеку горячих серных источниках. Незамерзающие источники эти тут же решено было использовать для постройки ледяной дороги. Несколько десятков километров заваленного снегом тракта облили водой, а чтобы машины не скользили, вырубили во льду насечки и обсыпали щебнем.

Едва колонна миновала «ледяную дорогу», как с Хатынарта открылся необыкновенный вид — сплошная пелена летевшего по воздуху сухого и жесткого снега скрывала от глаз Алайскую долину. От шороха снежинок шел немолчный гул, казалось — в долине работают огромные жернова, и в гул этот вплетался свист леденящего ветра. Грузовики цепочкой спустились в бушующую стихию и, пробиваясь сквозь снежные заносы, стали пересекать Алайскую долину. Снег вокруг них мчался по воздуху со скоростью пятнадцати-семнадцати метров в секунду. Это значило: стоило грузовику отстать на десяток шагов от идущей впереди машины, как дорогу приходилось расчищать заново. Снежная же пелена перед глазами была так густа, что шофер не видел кузова переднего грузовика, даже радиатор своей машины и тот казался лишь скользящей впереди сероватою тенью. Недаром «подножьем смерти» величают здешние горцы Памир!

Буквально ощупью пробралась колонна грузовиков с продовольствием через Алайскую долину, поднялась на Заалайский хребет, преодолела еще несколько тяжелых перевалов (из которых, например, перевал Ак-Байтал расположен почти на высоте Монблана: высота его четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять метров над уровнем моря) и точно в назначенный срок, 15 января, проделав в общей сложности больше четырехсот километров, достигла памирского селения Мургаб. Жители Горного Бадахшана до последнего дня не верили, что автомобили благополучно к ним доберутся. Узнав о приближении машин, они на яках и лошадях съехались к Мургабу из всех окрестных селений, и встреча экспеди-

ции вылилась в праздник. Разгрузив продукты, колонна вернулась в Ош. Правительственное задание было выполнено: население восточного Памира получило зимний запас продовольствия.

Но довольно рассказов! Машина наша уже спустилась в Алайскую долину, миновала селение Сары-Таш и подъезжает к мосту через речку Кызылсу, один из истоков великой Аму-дарьи. Да она и впрямь совершенно красная, эта речка! Такая яркая, кирпично-красная, что, изобрази художник на картине цвет ее так, как есть, боюсь, строгие судьи какой-либо художественной выставки не поверят ему, обвинят в эстетизме, формализме или еще чем-нибудь в этом же роде. Цвет ей придают мельчайшие частицы красной глины, мощные толщи которой прорезает и размывает в верховьях река. Надо ли говорить, что Кызылсу в переводе как раз и значит «Красная вода».

Сверните с тракта и поезжайте вдоль Кызылсу вниз по течению. Красный цвет воды будет сквозить в густых зарослях ивы и цветущих кустарников, которыми поросла пойма реки. Местами Кызылсу, пенясь меж серых камней, будет вам открываться и вся. А кое-где между вами и рекой гигантскими пучками, словно на кочках, будут торчать длинные стебли чия — особого среднеазиатского злака, из которого киргизские пастухи плетут циновки для юрт.

Пониже Дараут-Кургана в Кызылсу впадает речка Коксу — «Голубая вода» — и на протяжении нескольких сот метров — зрелище исключительное! — в одном русле текут, не смешиваясь, у одного берега — красная, у другого — голубая вода. Постепенно красная поглощает струю голубой, река вновь становится одноцветной. И если, вступив в пределы Таджикистана, она и получает новое название — Сурхоб, то не потому, что цвет ее изменился, а потому что изменился язык людей, живущих на ее берегах: Сурхоб по-таджикски тоже значит «Красная вода».

Ничто в Дараут-Кургане, кроме остатков глинобитной крепости, не напоминает о временах, когда

здесь был Федченко. Нынешний Дараут-Курган — оживленный центр Чон-Алайского района. В поселке высится здание средней школы. К нему подходит стайка школьников, в руках у них учебники, у одного наружу обложкой — учебник географии. В нем ни слова о Федченко, и только в одной строке упоминаются Алайский и Заалайский хребты. Если бы знал этот школьник, сколько замечательных путешествий, иногда с опасностью для жизни, должны были совершить отважные исследователи, чтобы в его школьном учебнике географии появилась одна строка! Как сразу все ожило бы для него!

На уличках Дараут-Кургана, в магазинах, больнице, аптеке, на почте, в клубе видишь отороченные мехом шапки пастухов. Пастухи — истинные хозяева Алайской долины. Примерно на двадцать километров в ширину и почти на полтораста километров в длину тянется их «пастушеский рай». На огромных его пространствах растут степные травы — типчак (бетеге), дикий овес. Местами Алайская степь серебрится от ковыля. Хорошо говорится в старинной песне: «В Алае от ветерка трава всегда чуть покачивается, словно молитва, читаемая нараспев». Летом в Алайской долине днем жарко, но по ночам даже в июле, случается, иней ложится на траву.

В урочище Кара-Кала, на высоте двух тысяч восьмисот пятидесяти метров над уровнем моря, почти в центре долины, работает самая южная из научных станций Киргизии: Алайская животноводческая экспериментальная ферма. Ее научные сотрудники за двадцать лет работы создали свою полутонкорунную породу овец, приспособленную к жизни на больших высотах. Известна и выведенная ими алайская курдючная овца: самая крупная из курдючных пород. Большую работу Алайская экспериментальная ферма проводит и с яками, или, как их тут называют, кутасами.

Странное животное! Представьте покрытого длинными волосами темно-коричневого, а то и черного, иногда сероватого с проседью быка. Рога у него, как у буйвола, широко расставлены, круглы, но более

тонки и у старых самцов загнуты внутрь. Горб яка заставляет вас вспомнить о зубрах. Хвост у яка черный, длинный, как у лошади. Хрюкает як, как свинья.

Физическая сила яка необычайна. Он поднимает вьюк до трехсот килограммов и несет его по такому крутому склону, куда даже горной киргизской лошади не взобраться. Алайские шоферы знают: если грузовик завяз и его не в состоянии вытянуть волы или лошади, запрягай яков: два яка вытащат машину откуда угодно — раз-два, и готово! Благодаря удивительной силе як проходит сквозь гору снега, как плуг. Бурные потоки — такие, что сносят лошадей и даже верблюдов, — як легко переходит вброд. Ему помогают в этом, кроме силы, еще и копыта, которые имеют форму стаканчика и делают яка устойчивым всюду, где есть камни. Форме своих копыт як обязан и тем, что не скользит ни на мокрой траве, ни на льду.

Хорошо в жаркий день прохладиться айраном, приготовленным из ячьего молока! Необычно вкусно, попробуйте! Да и само ячье молоко недурно на вкус. Оно напоминает коровье, только куда жирнее. Памирцы говорят: «Заяц на молоке ячихи спляшет и не провалится», — так оно жирно. Это качество живо интересует ученых. Сотрудники Алайской экспериментальной фермы под руководством животновода В. Ф. Денисова ряд лет ведут работу по гибридизации яков швицами и киргизскими коровами. Яко-коровы дают молоко высокой жирности, и, кроме того (это особенно радует животноводов), они унаследовали от яков еще одно замечательное качество.

Обратили ли вы внимание, что в Алайской долине ячат держат на привязи? Зачем? Да если их отвязать, ячихи за ночь уведут своих телят на гребни гор к снегам: иди потом за ними, карабкайся по кручам! Яки страстно любят вершины гор и снега. Они великолепно приспособлены к жизни на таких высотах, где никакие другие домашние животные жить не могут: у них хорошо развиты сердце и легкие; тонкие губы и большие роговые сосочки языка позволяют

им поедать низенькую травку, какую даже ухватить не в состоянии коровы домашних пород; голова устроена так, что, добираясь до зеленого корма, як легко ею раздвигает, словно бы распахивает снег. В самую скверную погоду, в буран, когда неистовый ветер срывает с юрт войлочные стенки, ячихи разыгрываются. Это до того не вяжется с их неуклюжим видом, что производит забавное впечатление. Задрав хвост кверху, они начинают весело играть друг с другом, прыгать, как козы, на гребнях гор — там, где ветер и вьюга. Для яков это самая прекрасная погода!

Способность яков жить на больших высотах имеет исключительное значение для Киргизии. Она дает возможность использовать пастбища высокогорий. Скрещивая яков с коровами, алайские животноводы стремятся добиться, чтобы молочное хозяйство Киргизии завоевывало с каждым годом все новую высоту на склонах Тянь-Шаня. Это обещает в будущем превратить не только долины, но и весь высокогорный Тянь-Шань в «страну молока».

По вечерам в Алайской долине горят теперь электрические огни новых совхозных и колхозных поселков. На грунтовых дорогах, кроме грузовиков, обычное дело встретить и бензовоз Алайской МТС, а на степных раздольях долины — тракторы, комбайны, самоходные сенокосилки. Прямоугольниками врезались в степи Алая поля люцерны, проса, эспарцета, ячменя. Едешь летом по Памирскому тракту, а по обе стороны дороги — невиданное прежде зрелище! — чернеет в Алайской долине поднятая целина.

Прежде чем покинуть Алай, заглянем еще на чугуры — остатки древних морен, что от подножья Заалайского хребта тянутся к центру долины. На чугурах трава особенно пышна, сочна, зелена. Идешь... Взлетает из-под ног чернобрюхая куропатка. Степная ящерица проскальзывает под кустиком дикого лука, на котором ярко-малиновые цветы. В прозрачной воде родника мелькнут на мгновение и исчезнут красные и черные пятна брачного наряда форели-

самца. Торчат из травы камни, на них сидят, греясь на солнце, сурки.

Это свои, алайские красные сурки, крупные — размером с небольшую собаку. Их ценят не только за красивый мех (из которого алайские пастухи шьют шапки), но и за техническое сало. На чугурах не редкость встретить охотника, ставящего капкан на тропке, проторенной в траве между сурчинами (норами). На алайских чугурах, говоря языком зоологов, «залежи сурков» огромны. По подсчетам специалистов, в 1934 году сурочье население Алайской долины составляло около четырехсот тысяч голов.

Каждое лето над Алайской долиной рокочут самолеты и вертолеты: они сбрасывают снаряжение в альпинистские лагеря. Заалайский хребет — самый южный из хребтов Киргизии, за которым начинается горный Таджикистан,—один из излюбленных районов советского альпинизма: пик Ленина (семь тысяч сто тридцать четыре метра), пик Дзержинского (шесть тысяч семьсот тринадцать метров) и несколько других «шеститысячников» постоянно привлекают сюда альпинистов. Покорение пика Ленина—целая эпопея, о которой можно написать повесть. Трое альпинистов—В. Абалаков, И. Лукин и Н. Чернуха—сумели в 1934 году достичь вершины пика Ленина, сложили на ней каменный тур, обвили его алым сукном и наверху установили лицом к Москве бюст Владимира Ильича.

5. В ЛЕСАХ ЮЖНОЙ КИРГИЗИИ

Есть ли на свете зрелый человек, которому, как бы ни был волнуем он житейскими бурями, с каким бы увлечением ни отдавался любимой работе, не мерещился в часы отдыха заветный уголок на земле, один-единственный, самый прекрасный изо всех, что доводилось видеть, воспоминание о котором лелеет сердце — вспомнишь, и из груди вылетает счастливый вздох! — словом, тот уголок, о котором человек говорит: «Хотел бы я под старость там поселиться и там умереть». Таким манящим, заветным уголком земли

уже многие годы стали для меня дикие ореховые и фруктовые леса южной Киргизии.

От большого селения Базар-Кургана едешь в горы на попутном грузовике вдоль речки Кара-Унгурсай. Широченная пойма ее вся завалена камнями, река пробирается узеньким кружевным потоком меж них. Едешь... Вряд ли есть в Киргизии дорога хуже для автомашин! Дорога эта вьется по оползням. Сидишь, вцепившись в борт машины руками, силясь оберечь себя от толчков. Но грузовик подбрасывает так, что кажется — внутри тебя все ударяется, кость о кость, сердце о ребра. Словом, дорогу эту нужно не проехать, а пережить!

Едешь!.. А впереди над ущельем вздымаются синеватые цепи гор. И над ними парит в воздухе белоснежный семизубец вершины Баубаш-ата, к которому прилепились лохмотья облаков. Миновав горное селение Чарвак, сворачиваешь вдоль речки Арстанбап, живописной и не очень шумливой по сравнению с другими тянь-шаньскими реками. (Географы обычно именуют ее по-узбекски — Арслан-боб.) Ущелье становится узким. Возле реки появляются, с каждым километром разрастаясь шире и подступая к дороге, заросли боярышника, абелии и экзохорды, с кустов которой свисают белые грозди цветов. Чаще и чаще начинают бросать на дорогу черную тень одинокий клен, или ясень, или дерево грецкого ореха. Покрытые лишайниками скалы, на которых отдыхают ящерицы, выступая из кустов, отодвигают дорогу то влево, то вправо. Кроны ореховых деревьев мало-помалу заслоняют горы. И под зеленым шатром листвы машина въезжает в поселок Гумхана — центр лесхоза имени Кирова.

С улицы этого поселка куда ни бросишь взгляд — на склонах гор бархатистая зелень орехов. Углубитесь в ореховый лес. Там есть деревья-гиганты со стволом в полтора обхвата. У некоторых обломаны вершины от тяжести зимнего снега. Прохладой веет от земли, покрытой прелыми листьями. Золотятся нити паутин меж деревьев. Необычайна сила жизни, заключенная в стволах и ветвях дикорастущих орехов!

Когда бродишь по лесу, натыкаешься на ветку, склонившуюся до земли и на самом конце пустившую корни: из-за этого кое-где на склонах ореховые деревья превратились как бы в зеленые аркады. А ореховые пни: каким мощным венком зеленеет вокруг каждого молодая поросль!

Лесные поляны—в пышном цветении. Здесь встретились травы юга и севера, а плодородный ореховый перегной и влажный воздух высокогорья придали им такую силу роста, так крупны тут обыкновеннейшие цветы, что бродишь, смотришь кругом, не надышишься, не наглядишься, не наудивляешься. Цветет белая мальва под стать садовой по величине. Цветут цикорий, клевер, тысячелистник, дикая морковь, душица, герань, подмаренник, недотрога, и еще, и еще.

Среди лесных чащ покоятся небольшие озера, поросшие осокой и камышом, в зарослях которых можно увидеть и коричневую спинку плывущей ондатры. Известный в Киргизии натуралист и природолюб П. Цагараев однажды летом провел около одного такого озера целый день, наблюдая птиц. Его отчет об этом так жив, словно мы с ним рядом провели этот день.

В десять утра на озеро опускаются большие ферганские коршуны и, не торопясь, начинают охотиться на лягушек. «Вот с восточной стороны появляется стая быстрых ласточек. С веселым щебетаньем они облетают озеро, несколько раз опускаются на зеркальную гладь воды и улетают. Одиночками и парами бегают белые трясогузки, помахивая вверх и вниз длинными хвостиками...

Наступает полдень. В гуще леса проворковал дикий голубь. Еще миг — и он взмыл над озером, с распущенными до отказа крыльями опустился на воду, чтобы напиться, затем сильным ударом крыльев оттолкнулся от поверхности озера и скрылся в лесу. С шумом появилась стая скворцов. Войдя по брюшко в воду, они пьют, потом, взъерошив перья и встряхивая крылышками, начинают приводить себя в порядок. Закончив туалет, скворцы дружно поднимаются и летят в сторону колхозных полей. Едва успели

скрыться скворцы, как раздалось заунывное воркование горлицы... Усевшись на дереве у самого озера, она прислушалась и только после того опустилась на воду, боязливо хватила несколько глотков и улетела. С набитыми зерном зобиками с поля заявилась стая воробьев и, напившись, улетела обратно.

К вечеру над озером появились золотисто-зеленые щуры. Полетав над озером, они начали спускаться, но испугались собственных теней и опять взмыли вверх. Так повторилось несколько раз. Но вот от стайки отделилась одна птица, видимо из старших. Она громко кричала, как бы уговаривая собратьев быть смелее. В конце концов жажда взяла верх над страхом: щуры спустились и, напившись, с веселым щебетом умчались вдаль».

Туристов привлекают в районе Арстанбапа и два водопада: Большой — восьмидесятиметровый, обрывающийся меж голых скал под самой Баубаш-ата, и Малый — двадцатиметровый, сказочной красоты.

Несколькими струями падает Малый водопад в узкую полукруглую расселину, где на отвесных поросших мхом скалах висят кустарники. Расселина открытой стороной обращена к солнцу под таким углом и столько в воздухе ее водяной пыли, что большую часть дня внизу водопада, упираясь обоими концами в бурлящую воду, стоит яркая, совершенно правильная радуга. Это производит впечатление чуда. Недаром Малый водопад почитался прежде священным и к нему стекались паломники. Купаться под этим водопадом наслаждение! Вбегаешь по скользкой скале под самую радугу, почти задевая ее головой, съеживаешься под ударами водяных струй — таких стремительных и ледяных, что под ними и выстоять-то можно мгновение, выбежишь, чуть отдышишься и бросаешься под радугу вновь!

Впервые места эти я посетил лет двадцать назад. Вдвоем с Алагушем Чалом, местным охотником-киргизом, ездили мы по ореховым лесам. Охотились на уларов (горных индеек) и потом жарили их на вертелах, расположившись у опушки яблоневой рощи. Ночевали в дымных пещерах, греясь у очагов, сло-

женных руками Алагуша. Видели ощетинившихся дикобразов — они трясли хвостами, угрожающе били задними лапами о землю и потом уползали от нас в заросли дикой сливы. Горная косуля, словно видение, мелькнула как-то раз перед нами, и Алагуш спел мне известную песню о косуле и охотнике Мульджамасе. Однажды по склону, на котором мы сидели, прошел, посапывая, кабан, он поднял на нас маленькие мутные глаза, равнодушно хрюкнул и скрылся за косогором.

Словом, это была жизнь в саду чудес—таком, как он рисуется в детских сказках, великолепном саду, где яблоки, и груши, и сливы с веток сами в рот глядят, где ветер-волшебник, пройдясь по деревьям, вызывает ореховый дождь, где птицы ярки, и звери доверчивы, и на тропках видны отпечатки медвежьих лап.

Алагуш Чал был тогда на Ферганском хребте человеком известным. Его юрта стояла в глубине лесов. Изредка появлялся он на пыльных уличках Базар-Кургана — коренастый, загорелый, с тремя значками альпиниста на груди. Сдержанно отвечая на приветствия, проезжал меж мазанок. Ребятишки провожали долгими взглядами его коня, сбрую с бирюзовыми подвесками, двуствольное ружье и цветистые переметные сумы, туго набитые звериными шкурками. Женщины заглядывались на его черные, коротко подстриженные усы и потом жалостливо обсуждали, каково-то он в горах живет без жены, один-одинешенек. А мужчины, базар-курганские садоводы и хлопководы, спешили в чайхану, зная, что, сдав пушнину и набив переметные сумы продуктами, охотник забредет сюда поесть манты (среднеазиатские пельмени) и рассказать несколько историй.

В чайхане я с ним впервые и встретился. Окруженный толпой слушателей, Алагуш рассказывал вдохновенно. И над железными подносами, над круглыми фарфоровыми чашками, меж которых лежали куски сахару, простирал свои ветви лес, где горные козлы из-за самок сражаются в яростных поединках, где рыси падают из листвы на спины баранов, где

медведи, забавляясь, скатывают с гор лавины, где кабаны, гулко ломая валежник и посапывая, сходятся на водопой к ручьям, сочащимся из-под ореховых корневищ.

Из уст Алагуша я услышал и сказку о происхождении этих лесов, никем до сих пор не записанную или не опубликованную.

— Это случилось в давние времена, — начал Алагуш. — Жил на свете один старик по имени Арстанбап. И был у того старика сундук, а в сундуке росло дерево из чистого золота, на котором порхал и пел соловей. Бывало, Арстанбап откроет сундук, свистнет соловей, и от голоса его фисташка вырастет, зазвенит соловей — вырастут миндаль, и урюк, и яблоня, защелкает — ореховые деревья поднимутся. А соловей поет, все поет...

И Алагуш с хвастливым вдохновением начал выщелкивать соловьиные трели столь искусно, что слушатели в чайхане смолкли и в тишине стало слышно ровное дыхание привязанных к коновязям лошадей.

— Как-то раз тот старик умер, — продолжал Алагуш. — А сундук закопал в лесу. И вот поет под землей соловей, просится к солнцу, но людям никак его не найти...

И он засвистел глухо, словно звуки рождались не на губах его, будто горное эхо приносило издалека их смутные переливы. Изрытое оспой лицо Алагуша сделалось прекрасным. Слишком круглые, чтобы быть красивыми, скулы его округлились еще больше и получили энергичную форму.

В соловьиное колено, которое он выщелкивал, вплелась тоненькая нить комариной песенки. Алагуш вздрогнул, тревожно сощурился, в беспокойстве почесал грудь и умолк. А когда комар, описав петлю, сел ему на висок, Алагуш шлепнул его ладонью, облегченно вздохнул, прислушался к порыву ветра, набегавшему шумной волной по макушкам тополей, и, хитро усмехнувшись, сказал:

— Комары кусают. А в сундуке золотое дерево. Попробуй найди!..

Об ореховых лесах есть еще легенда. Киргизские пастухи рассказывают, будто леса эти — остатки древнего сада, который тянулся некогда от Китая до берегов Каспийского моря. В грязной юрте у очага, топившегося конским пометом, родилась эта сказка о чудесном саде. Но и в ней кое-какой смысл есть. Фруктово-ореховые леса южной Киргизии — реликтовые леса, остатки лесов третичного времени.

Странно звучат для человеческого уха слова «яблоневый лес», «сливовая опушка». Но на Ферганском и Чаткальском хребтах слова эти никого не удивляют. Громадными островами простираются тут на склонах горных хребтов орехово-плодовые леса, — быть может, те самые «заповедные леса страны Базара», где, по свидетельству Квинта Курция, весной 328 года до нашей эры Александр Македонский устроил грандиозную охоту и собственноручно убил льва.

У киргизских хозяйственников глаза загораются, едва заговоришь с ними об этом богатстве. «Серебряные леса!» — говорят они. Чего только не делается из деревьев грецкого ореха! Ореховая мебель! Всем известно, как она прочна, легка и красива. У ружья ложе ореховое — значит, надежное: при стрельбе не треснет, не расколется! Устойчивой зеленой защитной краской, добытой из ореховых листьев, красят армейскую одежду. На Джалал-Абадском витаминном комбинате из листьев ореха делают витамин С. Кожевники пользуются дубильными экстрактами, полученными из зеленой оболочки ореховых плодов. Из скорлупы грецкого ореха делают смеси для линолеума и толя. Зола от ореховой скорлупы — прекрасное удобрение для полей. Маслоделы выжимают из плодов ореха масло: грецкие лесные орехи южной Киргизии необыкновенно богаты жиром. На ореховом масле художники разводят краски, ибо оно славится прочностью, а мебельщики — лаки, так как оно быстро высыхает.

А ореховые наплывы! Из этих особых наростов на деревьях, представляющих колонии громадного числа спящих почек, вырабатывают отделочную фанеру. Цена наплыва на международном рынке равна тако-

му же количеству серебра, сколько весит сам наплыв. В лесах южной Киргизии попадаются такие «серебряные слитки», весящие от тонны до трех. Надо ли говорить о самих орехах! По калорийности грецкие орехи в четыре раза превосходят мясо, в семь раз—картофель. Это ли не богатство?!

А фисташковые рощи! В горах южной Киргизии их почти двадцать пять тысяч гектаров. «Деревом жизни» величают фисташку ферганцы, считая, — верно ли, нет ли, — что плоды ее делают человека бодрей. Кроме плодов, фисташковое дерево знаменито наростами, которые образуются на листьях, поврежденных тлями. Местные жители называют их бузгунчи: они богаты таннидами — замечательным материалом для дубления кож. Из бузгунчи добывают и стойкую малиновую краску, которую очень ценят красильщики на текстильных фабриках; а если добавить в эту краску хлористого железа, получаются, тоже очень стойкие, черная и синяя краски.

Много в диких лесах южной Киргизии и миндальников, которыми поросли обращенные к солнцу сухие склоны гор. Велики заросли алычи — дикой сливы с красными и с желтовосковыми плодами — и зарослн барбариса, с кустов которого свисают синие кисти ягод. Особенно велики яблоневые леса, в которых к концу лета красуются небольшие, горьковатые и в то же время сладчайшие яблочки.

Столетия жили кочевники около этого богатства и не знали ему цены: фрукты поедались кабанами и птицами, а орехи сгнивали в буреломе. И только после революции, в конце двадцатых годов, пришли люди, которые по-хозяйски осмотрели орехово-плодовые леса южной Киргизии, начали прорубать просеки и налаживать правильное лесное хозяйство. Теперь здесь организовано двенадцать крупных лесхозов. В ореховых лесах выросли поселки со своими школами и клубами, электростанциями и радиостанциями, лесопильными заводами и деревообделочными мастерскими.

Осенью, когда горный ветер влажной ладонью ведет по шапкам деревьев, разнося далеко аромат ореховых листьев, рабочие лесхозов собирают в лесах

южной Киргизии колоссальные урожаи плодов и орехов. Две трети сбора грецкого ореха всего Советского Союза дают эти леса, занимающие громадную площадь — около восьмисот тысяч гектаров. А сколько орехов до сих пор еще погибает! Во время сбора урожая рабочих в совхозах пока что не хватает, и масса орехов (по подсчетам, около половины урожая) осыпается, сгнивает в земле.

В глубине этих лесов работает научно-исследовательская лесоплодовая станция Киргизской Академии наук. Ученые проводят здесь интересные опыты, прививая к диким деревьям черенки и глазки культурных сортов. Садовые сорта яблок (ранет Ландсберга, ранет Баумана, розмарин, кальвиль) и груш (Оливье-де-серр, лесная красавица) отлично чувствуют себя на дикорастущем подвое. Сливы Анна Шпет, ренклод Альтана так хорошо прививаются на деревьях алычи, что ученые мечтают в несколько лет облагородить этими сортами все дикие сливы в лесах. Ученые акклиматизировали тут и пятнадцать сортов винограда, несколько сортов фундука, абрикосы, гуттаперчевое дерево — эвкоммию, кипарис и другие субтропические растения. Разумеется, большую работу проводит станция по изучению грецкого ореха — главного богатства этих лесов.

Полную увлекательных подробностей работу ведут в этих лесах и зоологи-звероводы. Они расселяют новых зверей, пришельцев издалека. Чтобы яснее представить себе их работу, познакомимся прежде со зверьми, населяющими искони эти места. Для этого лучше всего поехать в девственные леса Чаткальского хребта, в лесхоз Аркит, ибо, к сожалению, в лесах на Ферганском хребте охотники хищнически повыбивали многих зверей и там их увидеть уже нелегко.

Едешь из Ферганской долины вдоль бурной речки Ходжи-ата. Сбоку от дороги ваш взор приковывают к себе скалы, похожие на чудовищ и на богатырей, сцепившихся в жаркой схватке и окаменевших. Жемчужны и легки облака над ущельем. Все громче кричит река. Вдоль нее появляются заросли боярки, алы-

ни, березы и ивы. На высоте одной тысячи трехсот пятидесяти метров над уровнем моря в боковых ущельях начинают темнеть ельники. А прямо перед вами — Аркит, едва ли не самые дикие из ореховых лесов южной Киргизии. В этом чудесном уголке земли природа как будто собрала воедино все красоты Тянь-Шаня.

В лесах и ущельях Аркита можно увидеть «синюю птицу» — так орнитологи зовут лилового дрозда, славящегося силой своего голоса. Лиловый дрозд селится и поет возле шумных водопадов, состязаясь в силе звука с грохотом влекомых водою камней. Когда стоишь у водопада и тебе на ухо что-то кричит твой товарищ, голоса его не слышишь, слов не разберешь, но волшебная флейта «синей птицы» звучит с победоносною силой, а грохот и вой водопада — словно лишь фон к ней, лишь аккомпанемент.

Издалека видны в лесах Аркита гнезда лесных сонь — зверьков, похожих на белку. Гнезда эти укреплены на кустарниках, а то и в развилках ветвей старых морщинистых яблонь. Помогая себе пушистым хвостом, соня легко бегает по веткам деревьев. Она любительница ягод, алычи, но ест и дикие яблоки.

В дуплах старых деревьев, иногда в расселине между скал, устраивают свои гнезда суусары: так киргизы называют каменных куниц. Киргизы очень ценят куньи шапки; удивительно ли, что охотники основательно повыбили куниц. Тогда охоту на них временно запретили, и количество куниц в лесах южной Киргизии стало расти.

Мне довелось видеть в Арките взобравшегося на яблоню тянь-шаньского медведя: он тряс ветви и потом ходил вокруг, подбирая упавшие яблоки. Это был небольшой медведь со светлыми когтями, беловатыми ушами и светло-бурой шерстью, местами имеющей песочно-розоватый оттенок. Случается, что тянь-шаньские медведи забираются по ночам на колхозные пасеки и снимают с ульев крышки, чтобы полакомиться медом. Местные жители рассказывают о встречах с медведями добродушно. Зато всеми силами души ненавидят они двух зверей, которые явля-

ются истинным бичом колхозных садов и полей: дикобраза и кабана.

Кирпи-чечен (так киргизы зовут дикобраза) совершает по ночам опустошительные набеги на сады и огороды. Свой летний сезон дикобраз начинает с того, что спускается в долины и портит абрикосовые деревья, обгрызает кору со стволов, потом начинает пожирать ягоды шелковицы; а когда поспевает урюк, возвращается в абрикосовые сады; пока он еще не слишком вредит, так как подбирает опавшие ягоды и плоды; но когда созревает кукуруза, дикобразы делаются опасными: они подгрызают стебли, сваливая их, и поедают зерна самых зрелых початков, при этом наломают в три раза больше, чем в состоянии съесть. Забираются дикобразы и на бахчи, прогрызая отверстия в дынях, чтобы пожрать семена. Свой осенний сезон дикобразы нередко заканчивают тем, что дорываются до ям, в которых колхозники хранят морковь и картофель.

Разбойничья деятельность кабанов широко известна, вряд ли о ней стоит подробно распространяться. Скажу лишь, что в лесах Аркита кабанов очень много. Местные охотники борются с ними, стараются их истребить. Звероводы и рыбоводы заселяют леса южной Киргизии новыми полезными животными и рыбами. Рыбоводы переселили из Чон-Алайской долины аму-дарьинскую форель в реку Кара-Унгурсай. Звероводы выпустили в арстанбапские леса енотов-полоскунов.

Полоскун — зверек размером с небольшую собаку, на глазах у него «рисованная» полумаска, на хвосте темные кольца. Никакого отношения к енотам, что в последние годы широко расселены по Советскому Союзу, он не имеет; те — енотовидные собаки или уссурийские еноты, а этот — американский енот-полоскун, принадлежит к совсем другому семейству.

Он ловко лазает по деревьям и славится мехом. Полоскуном его прозвали потому, что пищу, прежде чем есть, он «полощет» в ручье, держа передними лапами. Именно это свойство использовали дрессиров-

щики уголка Дурова; многие видели на спектаклях дуровского театра зверей «енотовую прачечную»: еноты наливают из маленьких ведер в корытца воду, потом стирают и полощут белье, развешивают его на веревках.

Первые полоскуны были выпущены в ущелье Арстанбап в 1936 году. Это были полуручные еноты, родившиеся в Ташкентском зоопарке от пары дрессированных енотов, попавших из рук заезжей цирковой труппы. История того, как их выпустили в ореховые леса, необычна.

Работники Ташкентского зоопарка привезли вьюком на лошадях ящики-клетки с полоскунами в глубину ореховых лесов, к ручью. Еще в клетках, когда вокруг запахло прелыми листьями и валежником, еноты пришли в необыкновенное возбуждение. А когда выпустили их, они разбежались и скрылись в кустах. Скоро звери вернулись, стали подходить к участникам экспедиции, «просили» есть. Немало дней пришлось прожить работникам Ташкентского зоопарка, приучая полоскунов к тому, как добывать корм, пришлось делать гнезда им в дуплах: ведь эти еноты родились в неволе и не были приспособлены к жизни в лесу, не прошли суровой школы природы.

Наступил день отъезда. Караван тронулся в обратный путь. Помахав енотам на прощанье, экспедиция стала удаляться от полянки, где был разбит лагерь. Неожиданно из кустов появились еноты, они дружно двинулись по тропке следом за экспедицией: ручные, они не желали разлучаться с людьми. Растерянно остановились участники экспедиции, закричали на полоскунов, слезли с лошадей, начали бросать в енотов сухими ветками. Зверьки разбежались. Но едва экспедиция тронулась в путь, еноты вновь вышли на тропку, опять двинулись вслед. Стало ясно: уезжать нельзя, надо сперва енотов совершенно отучить от людей, сделать осторожными, дикими, возродить в них звериные инстинкты. Только тогда можно будет надеяться, что они не погибнут. Ручных зверей следовало превратить в диких.

Экспедиция вернулась и разбила лагерь на новом

месте, в стороне от «енотовой поляны». Решено было полоскунов как следует попугать. Сперва зверьки, увертываясь от палок, взбираясь на деревья, останавливались невдалеке, с удивлением взирая на своих друзей, которые почему-то сделались злыми. Они порывались подойти, приласкаться, но их неизменно встречали окрик, гиканье, свист. Потом, когда еноты были достаточно напуганы, началась своеобразная охота на них. Одни выполняли роль загонщиков, пугали енотов и выгоняли их на других — «охотников». И только когда напасть на след полоскуна и отыскать его сделалось по-настоящему трудно, экспедиция покинула ореховые леса.

Кроме енотов-полоскунов, звероводы в 1934 году выпустили в леса южной Киргизии и енотовидных собак, а в 1937 году — скунсов, зверьков, принадлежащих к семейству куньих, но выпустили их не в Арстанбапе, а на Чаткальском хребте, в ореховые леса Аркита.

Прекрасен Аркит! В его диких зарослях кроны деревьев закрывают небо местами так плотно, что голубые лоскуты исчезают вовсе, и солнце угадываешь лишь по золотистым пятнам, чуть вздрагивающим в листве. К лесным ручьям не продерешься сквозь густые заросли малины и шиповника. Но углубишься в ущелье Таманьяксая и бродишь среди скал, поросших лишайниками, — из-под них сочатся родники, по скользким камням ползают улитки и слизни, и возле папоротников краснеют ягоды земляники. Потом выходишь на открытый солнцу склон, и перед глазами — синева цветущей герани, над ней — пестрый вихрь бабочек. А еще дальше — поле дикого лука, шумит, посвистывает горный ветер среди его стрельчатых перьев... Много вокруг Аркита восхитительных мест!

Но, пожалуй, всего чудесней, — ее нельзя не совершить, раз мы уже добрались до Аркита, — прогулка на озеро Сары-Челек. По горной дороге спускаешься в долину реки Сары-Камыш. Обрывается ореховый лес, начинается яблоневый. На старых морщинистых яблонях чернеют дупла, стволы деревь-

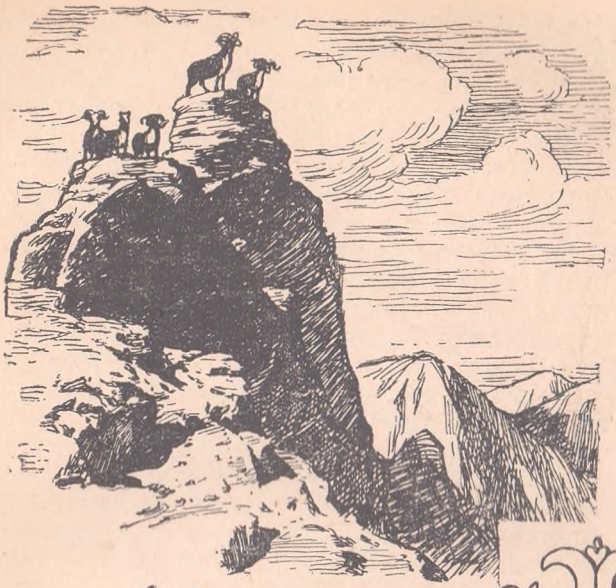
ев источены насекомыми, кроны деревьев не смыкаются, поэтому лес светлый, сквозной.

Минуешь его, и дорога подходит к зеленым, по виду скорей степным, чем горным, озерам, заросшим рогозом, тростником, водяной гречихой, осокой. Медный звон диких гусей и кряканье уток не смолкают над их берегами. Изредка парящий в небе орел вдруг сложит крылья и со свистом косо падает вниз, протянув вперед растопыренные лапы, готовясь схватить добычу и унести ее в подоблачное гнездо.

Вот и эти озера остаются позади, и дорога подходит к Сары-Челеку. Когда первый раз в жизни видишь Сары-Челек... Но надо минуту постоять с закрытыми глазами: страшно — откроешь их, и вдруг окажется, что ничего нет, что вся красота эта — колдовство, что она причудилась, примерещилась! Разве такое может быть на земле? Желтая чаша, на дне ее — синяя вода, а по краям — черные минареты. Это первое впечатление необычайно точно передано известным ботаником А. Шаховым, описавшим эти места.

«Желтая кадушка» — так переводится с киргизского Сары-Челек. Вдоль его берегов вздымаются желтые скалы, такие крутые, что к озеру почти нигде не подступишься. Внизу в глубине синеет «налитая» в эту гигантскую кадушку вода. Она совершенно синяя — того тона, который ближе всего к цвету берлинской лазури. Над водой Сары-Челека в расселинах скал черными свечками высятся пихты и ели, свешиваются березы с гнездами бакланов и крохалей, осыпанные белым пометом. В углублениях скал на грубо сделанных гнездах стоят черные аисты. В маленьких нишах цветут орхидеи и папоротники, стелется мох. И все это великолепие повторяется, отражаясь в воде.

Ученые Киргизии добиваются, чтобы озеро Сары-Челек вместе с фруктово-ореховыми лесами Аркита были объявлены государственным заповедником. Тогда этот уголок дикой природы Тянь-Шаня будет сохранен на многие годы во всей первозданной его красоте.



ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ТЯНЬ-ШАНЮ

1. ДОРОГА В ТОКТОГУЛ

Она, когда глянешь вдоль ущелья вперед, похожа на серый аркан, брошенный среди гор. Иногда она, подобно закрученному рогу барана, поднимается вверх. Над нею орлы сидят, сутулясь на скалах. По утрам через нее переползают, спускаясь по склонам гор, облака. Ее славят журналисты и поругивают шоферы. Но и шоферы в глубине души гордятся ею — автомобильной дорогой, проложенной из Ферганской долины в глубь тянь-шаньских горных хреб-

тов. А внизу шумит Нарын. Шумит Нарын, киргизская река!

Впервые этим ущельем ехал я в 1930 году. Тогда не дорога, а вьючная тропа здесь была, и на ней — я не могу вспомнить о нем без содрогания — висячий мост через Нарын. Его связанные прутьями бревна к тому времени совершенно обветшали, и сгнили, и качались над бездной: не то что ступить — взглянуть на них страшно было. Киргизские женщины и старики, подойдя к мосту, читали молитвы и переползали его на четвереньках. Но молодые джигиты умудрялись пройти по этому мосту, ведя в поводу лошадей. Правда, говорят, бывали случаи, что лошади обрывались и разбивались о камни, и останки их уволакивали бешеные воды реки.

Глупая юношеская гордость не позволила мне встать на четвереньки: я прошел этот мост, как, по моим тогдашним воззрениям, надлежало мужчине — во весь рост. Но натерпелся столько страху, что потом, покидая долину Кетмень-Тюбе, двинулся другим, самым дальним, кружным путем через ледяные перевалы, лишь бы не очутиться вновь на этом мосту. Вот был мост так мост, есть что вспомнить!

«Стой, раб божий! Остановись! Живи! Не умирай!» Такой смысл вложил байский батрак Сатылган, давая сыну своему имя Токтогул: токто по-киргизски значит «стой! остановись!», гул — «раб», подразумевалось раб божий. Вся жизнь киргизского народа до революции была как висячий мост через Нарын: смерть подстерегала человека на каждом шагу. Как тут было не дать сыну имя, похожее на заклятие?! И Токтогулу посчастливилось, он задержался на земле, выжил, не умер. Мало того, сделался великим киргизским акыном, народным певцом. Пока автомашина наша, рыча на подъемах, едет в долину Кетмень-Тюбе, на родину Токтогула, расскажем о его трагической жизни и вдохновенном комузе.

О комузе Токтогула ходят легенды, будто он обладал даром человеческой речи: когда к его струнам прикасались пальцы акына, говорят, даже отдельные слова можно было разобрать. И еще говорят о ко-

музе Токтогула: если повесить его на ветру, он и без человека начинал играть. А о жизни Токтогула...

Надо полагать, что в то утро, когда Токтогул должен был родиться (было это в 1864 году), его мать Бурму, согласно обычаю, окружили женщины всего аила.

— О верхушка тополя вращающаяся!.. — пел знахарь, касаясь пальцами глуховатых струн. — Выйди головой вперед! О алтын-казык, золотой кол! Родственники отвернулись от тебя...

Вечером, когда влага опустила ветви деревьев к земле и люди повернулись коленями к очагам, женщины (как было заведено) завернули, наверно, Бурму в войлочные кошмы и стали ее катать по земляному полу юрты: не успели еще разгореться звезды, еще ночные бабочки не бросились мохнатыми брюшками на костры, когда начались роды...

До трех лет мальчика ни разу не купали, чтобы уберечь от сглаза. Трехлетним его, по обычаю, первый раз отец посадил на лошадь, и Токо (как ласково его звала мать) обрадовался мягкой подушке, перекинутой поперек деревянного седла, и пальцы его взволнованно коснулись длинной гривы, и родичи, стоявшие вокруг (какой хороший джигит будет!), громко выражали свое одобрение.

Они лазили круглые дни, Токтогул с товарищами, как и все киргизские ребятишки, по скалам, по каменным осыпям, разрывали душные норы сурков и прыгали на кузнечиков, громкие обвалы в горах тревожили их маленькие сердца, они прикасались губами к ледяным ручьям и напивались до того, что кажется, в горле у тебя катается горошина холода, и, верно, не один раз встречали они волосатого тяньшаньского медведя: медленно проходил он мимо, не глядя на них.

Когда Токо оставался один, он лежал в высокой, по брюхо лошади, траве и смотрел, как зеленый стебель раздваивается у него в глазах, вот уже не один, а два стебля, и как между растопыренными пальцами плывут облака. Тогда он загибал большой па-

лец. Этот сказал: «Пойдем куда-нибудь». И он загибал все пальцы по очереди. Этот сказал: «Куда мы пойдем?» Этот сказал: «Пойдем на барымту». Этот сказал: «Ладно». Мизинец испускал воинственный клич. Мальчик вскакивал на ноги и бежал, захлебываясь воздухом, к еловой роще, и деревья были не деревья, а джигиты враждебного рода, и ветви не ветви, а пики храбрых кочевников, и он бросал в стволы острые камешки с расстояния тридцати шагов, стараясь попасть.

Словом, природа Тянь-Шаня и обычаи родного народа были той колыбелью, в которой формировалось сердце маленького Токо, его фантазия, ум. На развитие поэтического таланта Токтогула сильное влияние оказала и его мать Бурма. Сам акын в песне, обращенной к матери, потом об этом так говорил: «В ночь, пока Малой Медведицы свет не гас, ты кормила меня шесть раз. И все удивлялись — чей это сын, кто его вырастил в добрый час? Потом я сосал твою грудь семь раз, пока Большой Медведицы глаз смотрел с небес в колыбель мою. Певцом меня сделала ты в тот час».

Бурма славилась на всю округу как искусная сказительница кошоков — песней-плачей по умершему или по невесте, навсегда покидающей родительский дом. Сыну она рассказывала сказки и пела песни. На всю жизнь запомнил Токтогул: звучит голос матери, а за дверью юрты, словно в раме, видны синее небо и горные вершины, закованные в серебристо-ледяные латы; звучит голос матери, и горы оживают: пробирается барс по скалам, «в полдень у него зрачок маленький, как коготь воробья», он выслеживает горных баранов «с рогами, подобными радуге». Чтобы мальчик мог послушать знаменитых музыкантов и певцов, Бурма позволяла ему посещать народные сборища. А чтобы он и сам научился играть, она на последние гроши купила сыну комуз: очень длинную, очень узкую киргизскую балалайку с кузовом и шейкой из карагачевого дерева, деками — из елового, со струнами, свитыми из тонких бараньих кишок.

Но вот Токо исполнилось восемь лет. Бай Казан-

бек сказал своему батраку Сатылгану: «Брось баловать сынка, пусть работает». И Токтогул стал койчу — пастухом овечьих гуртов. Скоро он узнал многое.

Он узнал, что лучшие зимние стойбища — старые стойбища, на них много помета, так что земля не скоро промерзает и хорошо держит тепло. Он узнал, что овец надо выгонять на пастбище после восхода солнца, когда уже исчезла роса, и что колючий кустарник надо обходить, а то овцы оставляют на нем шерсть. Он узнал, что выпавший молочный зуб нужно бросить собаке, «чтобы на его месте вырос такой же острый, прямой и крепкий». Он узнал, наконец, и ту реальную, суровую сторону жизни, о которой в сложенной им самим койчулардын-ыры, «песне пастухов овечьих стад», рассказал так: «Если за юртой лягу я, топчут козы меня; в юрту зайду я, бранит меня злая байбиче; палка не расстается с бедной моей головой».

В жизни каждого человека, кому ведомы сильные страсти, наступает день, когда то, что бродило в нем, скрытое в глубине, вдруг прорывается наружу с силой, притягательной для всех и удивляющей всех. Обычно жизнь его с этого дня начинает идти по-другому. Таким днем, таким событием в жизни восемнадцатилетнего пастуха Токтогула был айтыш (состязание) с Арзыматом, «придворным» певцом Дыканбая Рыскулбекова, правителя долины Кетмень-Тюбе.

Первым запел Арзымат. Как и было заведено, он восхвалил сначала Дыканбая, своего хозяина, и после этого стал в песне насмехаться над Токтогулом, острить насчет его бедности, невзрачной одежды. Молодой акын в ответ запел песню, не сохранившуюся. Но свидетели состязания рассказывали — в ней ничего не говорилось ни об Арзымате, ни о Дыканбае, по тем временам поступок неслыханный: в присутствии богача не похвалить его ни строкой! И народ, сидевший вокруг, понял смысл этого. Отовсюду понеслись возгласы одобрения: «Туура!.. Баракельде!.. Дурус!..»

Чтобы дать представление о характере песни Токтогула, которой в тот день внимал народ, приведем строки из другой его песни такого же рода:

Ножнами богатыми нож знаменит.
Табун жеребятами знаменит.
Не уклоняйся от славных дел,
Друг, если ты джигит!..

Гривой своей, аргамак, сверкай.
Яблоко, яблоню украшай.
Пока светла твоя голова,
И перед тигром не отступай...

Ружье хорошо, когда в нем заряд,
Фитили, когда ярким огнем горят.
А пастбища хороши тогда,
Когда тучнеют на них стада.

Ночью лисица во тьме бежит,
И вот — в капкане, в тюрьме, визжит.
Говоря, что темная ночь сейчас, —
Не отступай от цели, джигит!..

Старик, бородою своей сияй,
Родинка, девушку украшай.
Не зарься на каждую, джигит,
Одну, любимую, выбирай!..

Река кораблями украшена — глянь.
А мать сыновьями украшена — глянь.
Дурак мудреца не послушал, — ну что ж!
Дурака украшает брань.

К сожалению, свидетели не сохранили нам всех подробностей состязания. Но мы знаем, что во второй песне Токтогул стал отвечать Арзымату, и в каждой следующей — все острей. Мы знаем, что народ с восторгом отзывался на слова молодого певца. До нас дошла и заключительная песня Токтогула, в которой он высказал все, что думает об Арзымате. Вот строфа из нее в подстрочном переводе: «О том, что живешь в юрте Дыканбая, ты пел. За лесть тебя кормят бараниной, об этом хвастливо ты пел. О том, что наелся бараньего жира и лошадиной толстой кишки, ты пел...» Рассказывают, когда Токтогул завершил эту песню, Арзымат под смех народа и выкрики встал

и ушел пошатываясь, признав, таким образом, свое поражение.

«От языка и сладкий мед и смертный яд». Победа над Арзыматом принесла Токтогулу славу в его родной долине. Он расстался с бичом пастуха и сделался профессиональным акыном. Но хотя на кыз-оюны (игры девушек) и другие народные сборища его приглашали наперебой, он по-прежнему был беден: все состояние его составляли конь и комуз. Ведь он выступал только на празднествах бедняков, отказываясь служить манапам и баям! Трагическим свидетельством его бедности осталась распеваемая народом песня Токтогула «Алымкан»: песня, обращенная к девушке, которую молодой акын страстно полюбил и которая готова была бежать с ним, но родители, узнав об этом, не дали ей стать женой нищего певца и выдали насильно за богача.

В Киргизии говорят: «Смерть гонится за красавцем». Кетмень-тюбинские богачи, сыновья манапа Рыскулбека, пробовали подкупить Токтогула. Они хотели, чтобы он слагал им мактоо — песни восхваления. А он слагал о них кордоо — песни оскорбления. О сыновьях Рыскулбека Токтогул сочинил гневную песню «Пять кабанов»: «Жалобы вдов и сирот — что для вас, пять кабанов! Видеть, как плачет народ, — что для вас, пять кабанов!..» И сыновья Рыскулбека стали преследовать Токтогула. Они пытались задушить его налогами. Пробовали подстеречь и тайно убить. Когда он женился на Тотуе, дочери односельчанина, и у него родился сын, «пять кабанов» не раз грабили юрту Токтогула и угоняли овец.

Но певец оставался верен правде. Тогда против него вооружили ложь. Сыновья Рыскулбека Керимбай и Бахтияр написали царским властям ложный донос, будто Токтогул был участником андижанского восстания, вспыхнувшего в Ферганской долине в 1898 году. И хотя Токтогул никакого отношения к восстанию не имел, он был схвачен жандармами, заключен в тюрьму и приговорен к смертной казни через повешение.

Фантастически трудна и длинна была дорога правды Токтогула. Смертную казнь, как и другим приговоренным, ему заменили каторгой. Осужденных сковали по четыре человека железными цепями и посадили на арбы. Перед тем как тронуться в путь, закованный Токтогул спел с арбы песню «Прощание с народом»: «Свой прощальный привет тебе посылаю, народ мой, я. Край родимый — Кетмень-Тюбé — ты остался без соловья...» И заключил песню грустными строками, в которых сравнивает себя с цветком, сорванным с деревца и уносящимся вдаль.

По выжженным душным степям, по злым сыпучим пескам везли каторжан через всю Среднюю Азию в Красноводск. Там их бросили в трюм парохода и переправили зимним бурным Каспием в Астрахань. «Гор гряда, снегов седина — остались они вдали. Сердцу милая Фергана, счастливые дни — вдали. Сарттар, багиш, родной народ — остались одни вдали...» Песни Токтогула, сложенные по дороге на каторгу и на самой каторге, потрясающая поэтическая автобиография! Дорога Токтогула пролегла из астраханской пересыльной тюрьмы в Москву и дальше по достославной Владимирке в Сибирь. «Отстанешь — ударят камчой, падешь — поднимут штыки. Не скажут: «Ослаб ты в пути, сядь на коня, посиди». Нет, гонят: «Иди! Иди!..» Семнадцать месяцев длился путь киргизского поэта-каторжанина от Андижана до Иркутска.

По дороге в Александровский централ Токтогул бежал. Но спустя два месяца его поймали и за побег прибавили еще двенадцать лет каторги.

В одиночестве томит тоска,
Щель слепого окна узка!
Тридцать тысяч солдат вокруг —
Я не знаю их языка...

Только через три года сняли с Токтогула железные наручники, только через четыре года сняли ножные кандалы. Вместе с другими арестантами Токтогул работал на строительстве Кругобайкальской железной дороги. Певец без народа — мертвый камень,

обреченный на безмолвие. Но Токтогул не мог не петь. Из досок он смастерил себе комуз, натянул на него струны от балалайки: их ему раздобыли русские каторжане. И запел:

Одинок и сир,
Мой бедный комуз поет.
Слушает конвоир
Грустное веселье мое.
Комуз мой плох, не звучит,
Он вырублен топором,
Но даже солдат молчит,
Когда я играю на нем.
Песня летит над тюрьмой,
Доходит до всех сердец,
И даже мучитель мой
Бормочет: «Какой певец!»
И, радуясь песне моей,
Шепчутся жертвы тюрьмы:
«Есть среди нас соловей,
Закованный, как и мы».

Раздраженный песнями Токтогула, начальник тюрьмы разбил его комуз о камень. Тогда каторжане купили киргизскому певцу обыкновенную балалайку. Токтогул переделал ее: снял с грифа лады, настроил, как комуз, и заиграл опять.

Тоскуя по матери, жене, сыну и родному народу (его арестантские песни полны этой тоской), Токтогул бежит с каторги второй раз. Было это в 1905 году, в разгар первой русской революции. «Плен — позади, но как, но как к родине путь впотьмах найду? Если здесь Токтогул умрет, труп его в овраг сволокут. Будут радоваться враги — песни вместе со мной умрут. Неужели же кузгуны горло клювами разорвут?..» Три месяца наугад пробирался Токтогул на родину. Однако его в пути снова поймали, вернули и увеличили срок каторги до двадцати пяти лет.

Спустя еще пять лет, на двенадцатом году каторги, Токтогул бежит третий раз. Этот побег тщательно подготовили его русские друзья. «Не нашел ключа Харитон. Тогда цепь, на шее моей скрутив, порвал Семен...» Чтобы оберечь киргизского певца от погони, каторжане распустили слух, что он утонул. Ски-

таясь по Сибири и по Аральским степям, Токтогул шел и шел к далекому Тянь-Шаню. «Я неустанно иду, иду, сон побеждая в своем пути. В двери стучусь и прошу еду... Где ты скрылась, стыдливость моя? Как ты решилась, стыдливость моя, брать подаянье в толпе людской?..»

Осенью 1910 года Токтогул вступил на родную землю. Горестные вести его встретили здесь: мать жила в нищете; жена, не дождавшись мужа, ушла к другому; единственный сын Топчубай умер. Тогда Токтогул спел песню: «Нет у меня сына», которую знает наизусть каждый киргиз:

На озере дальнем приют
Лебеди в горе найдут,
И серый сокол в степи
Печаль свою усыпит.
О сын мой, в каком краю
Я развею тоску свою?
Сын мой, светоч сгоревший мой,
Тень моя на земле родной,
Я пришел из тюрьмы домой,
Просыпаюсь во тьме ночной,
Жду, прислушиваюсь в тишине,
Только ты не придешь ко мне...
Ты покинул родные края,
Сын мой, радость, кукушка моя!

Народ встретил своего певца с ликованием. И хотя его, беглого каторжника, могли в любую минуту схватить и упечь обратно в Сибирь, Токтогул смело запел свои кордоо, песни обличения против манапов и баев. Три года Токтогул скитался из селения в селение, три года народ его скрывал. В 1913 году манапам все же удалось выдать певца царским властям, его заточили в наманганскую тюрьму. И тогда-то (киргизы говорят: «Друзей двое — врагов восемь», но у Токтогула на каждых двух врагов было восемь друзей)... тогда-то весь народ пришел на выручку своему «соловью». Его ученики акыны Эшмамбет и Калык собрали в селениях юга Киргизии много денег и лошадей, коров, овец, царские чиновники получили крупные взятки — и Токтогул был выпущен на свободу. И запел опять!

Днем рождения киргизской советской народной поэзии считают ныне тот весенний день 1919 года, когда в долину Кетмень-Тюбе приехал первый большевистский комиссар, и Токтогул перед ним спел песню о Ленине. «Как сокол бесстрашный в бою презренного коршуна бьет, так Ленин с размаху бросал врага в непроглядную тьму на черные выступы скал, — спасибо за это ему...» Всей силой сердца стал служить Токтогул правде, которую принесли его родной земле коммунисты. «Даже если бы отвалилась моя челюсть, я не могу не воспевать такую счастливую пору», — говорил он.

Автору настоящих строк посчастливилось в 1930 году слышать Токтогула. С его слов я записал тогда и подстрочные переводы двух песен. Но особенно поразила меня его игра на комузе: это была сразу и музыка, и театральное представление, и цирковое искусство. Токтогул склонялся над своим трехструнным инструментом, словно умоляя его о чем-то личном и важном, и, когда пальцы музыканта отрывались от струн, комуз неожиданно ему отвечал. Чем бы Токтогул ни прикасался к комузу — пальцами, ладонью, локтем, плечом, куда бы в порыве не отбрасывал свой инструмент — под мышку, на плечо, за спину, — его взволнованный разговор с комузом не умолкал ни на секунду. Шутка? Пожалуй. Но Токтогул был знаменит своими шутками — теми, о которых в Киргизии говорят: «Шутки высекают огонь».

К сожалению, до приезда в долину Кетмень-Тюбе имя Токтогула ничего мне не говорило, попал в дом певца я случайно и в нем надолго не задержался. Только спустя семь лет, увидев и услышав во Фрунзе виртуозную игру учеников Токтогула — Атая Огонбаева, Калыка Акиева и их «музыкальные шутки», я понял, как много потерял, не проживши в Мазар-Сае (родном селении Токтогула) хотя бы несколько дней. Поэтому, чтобы образ Токтогула перед вами встал как живой, передаю слово человеку, знавшему его лучше, известному музыканту Затаевичу, записывавшему в 1928 году мелодии Токтогула:

«По внешности это древний старичок небольшого

роста, с маленькими добрыми глазами и с лоснящейся розовой кожей на лишенном морщин лице, с белой как снег бородой. Свой комуз, с которым не расстается, он совершенно незаметно носит где-то под толстыми полами своего ватного халата, по-видимому привешивая его за шейку к своему внутреннему поясу, играет много и охотно.

По приемам игры его можно было бы квалифицировать как народного шутника и забавника. Разного рода манипуляции с играющим комузом (окручивание его вокруг туловища, помахиванье им над головой и т. п.) он проделывает без всякой хитрой серьезности, а с откровенным добродушием доброго дедушки, причем доводит свое паясничество, например, до такого наивного трюка: старик выворачивает свою барашковую шапку наизнанку, сплющивает и, положив ее в таком виде на свою... гладко выбритую голову, движением головной кожи заставляет ее во время игры ползать по его... черепу, то нахлобучиваясь на глаза, то лихо заламываясь набекрень».

А земляк Токтогула Джаныбай Коджеков рассказывал знатоку киргизской музыки В. Виноградову, написавшему интересную книгу о великом киргизском акыне: «Токтогул играл на комузе киргизские, казахские, узбекские и русские мелодии. Мог изображать на нем различные события, явления природы. На комузе он подражал крику птиц и других животных. Он, например, играл «Ак-куу» («Белый лебедь») и своим исполнением передавал содержание этой пьесы: о смешном, незадачливом охотнике, который стрелял в лебедя почти в упор и не мог его убить. Токтогул при этом изображал крик лебедя, прицеливался из комуза как из ружья, а комуз продолжал звенеть...

Он играл на комузе ногами, играл бритвой, а струны оставались целыми; бил по струнам кулаком, а они при этом издавали тихий нежный звук. Он горстью «собирал» звуки со струн, сеял их или разбрасывал во все стороны, и звуки действительно в этот момент летели в том направлении, куда он их бросал. Он играл на ходу, заложив комуз за

спину; мчался на лошади галопом, клал комуз на плечо, на голову, поднимал одну ногу и просовывал комуз под нее, закладывал его за шею, а инструмент продолжал складно звучать».

Умер Токтогул в 1933 году и похоронен у себя на родине. В последние часы жизни он сложил свою предсмертную песню. Вот строки из нее:

Пусть маленький мой язык говорит,
Пусть не только маленький мой язык,
Пусть голос мой, спутник его, прозвучит.
Когда ваш любимый Токо замолчит,
Кто вспомнит его, кто могилу его,
Крапивой поросшую, навестит?..
Пусть серенький ваш соловей запоет.
Пусть не только язык его говорит,
Пусть кровью сердце его изойдет.
Когда ваш любимый Токо умрет,
Кто вспомнит серенького соловья,
Кто к серой могиле его придет?

Могут показаться странными слова эти в устах прославленного в своем народе певца. Однако в последние годы жизни слава Токтогула была далеко не такой, какой была прежде и какой стала потом: бурные события жизни на время заслонили в глазах целого поколения величие образа Токтогула. Похороны его прошли скромно, почти незаметно.

Бывает так: прожил жизнь человек, умер, в надгробной речи превознесли его до небес, но спустя два дня все о нем позабыли, ибо дело, которому он посвятил свою жизнь, было ничтожно. Бывает и так: умер человек, скромно опустили его в землю, даже речей особых не было. А проходит месяц, год, два — за это время дело, которому отдал жизнь человек, повлекло за собой сотни других, больших, бесконечно важных для человечества дел. И все чаще возвращается к этому человеку благодарная память потомков; так произошло с Токтогулом. Ведь в песнях он выразил дух своего народа — гордый, несгибаемый дух, во имя правды готовый жертвовать всем.

Токтогул принимал участие и в строительстве новой Киргизии. Еще до революции он слагал песни-

советы, как ухаживать за скотом, как обрабатывать землю: Токтогул был первым киргизским акыном, призывавшим свой кочевой народ заняться земледелием. Надо думать, тут имело значение и то, что жил он в долине Кетмень-Тюбе.

Характернейшее название! Это единственная из долин центрального Тянь-Шаня, где задолго до революции в руках киргиза, кроме пастушеского бича, можно было увидеть среднеазиатскую мотыгу — кетмень. Дело в том, что долина эта лежит на километр-полтора ниже других тянь-шаньских долин, климат здесь мягче, теплей. Вот почему и прежде она была земледельческой, по ней были разбросаны полоски, засеянные ячменем и пшеницей, кое-где виднелись выращенные украинцами-переселенцами яблоневые сады, а местами даже зеленели поля хлопчатника.

Еще больше хлопка стали тут выращивать после революции: столько, что в 1929 году в селении Музтор (центре нынешнего Токтогульского района) воздвигли хлопкоочистительный завод. Правда, транспортная контора этого завода долгое время была «верблюжьей конторой». Караваны по триста верблюдов шли отсюда с кипами прессованного хлопка по вьючной тропе в Ферганскую долину к железной дороге. Чтобы верблюды не обрывались в бурный Нарын, через него в 1932 году соорудили новый висячий мост, сменивший тот ветхий, о котором мы рассказывали. Решение о постройке нового моста было принято после того, как Токтогул спел перед южно-киргизскими властями сатирическую песню о старом висячем мосте.

Говорят, в одной из своих песен Токтогул призывал и к постройке автодороги в долину Кетмень-Тюбе. Ведь в последние годы жизни акына на полях Ферганы уже победно рокотали тракторы; однако сюда, в Кетмень-Тюбинскую котловину, сельскохозяйственные машины перетащить через перевалы было невозможно, и землю тут все еще обрабатывали кетменем. Но однажды здесь появился необыкновенный караван: на верблюжьих боках висели части автомо-

биля — «газика», полученного районным исполкомом в качестве премии за перевыполнение хлопкового плана. Этот первый автомобиль, который здесь собрали и для которого горючее привозили тоже вьюком из-за гор, положил начало увлечению кетмень-тюбинских колхозников техникой. Рассказывают, что именно с этого автомобиля (когда старого акына решили на нем прокатить) Токтогул и спел, как с трибуны, свою песню-импровизацию об автодороге.

Дорога эта была колхозниками пробита сквозь скалы спустя пять лет после смерти Токтогула. И по ней из Ферганской долины на поля Кетмень-Тюбе двинулись колонны тракторов. Грузовики завезли сюда электростанцию и звуковую киноустановку. А колхозники, строившие дорогу, стали шоферами, трактористами, механиками, электриками. Дорога изменила хозяйственный облик долины и открыла живущим в ней людям, киргизам и русским, все богатство культурных профессий.

Сейчас вдоль этой дороги опять гремят взрывы, ее расширяют, выпрямляют, улучшают — она стала частью Великого Киргизского тракта — одной из крупных строек нынешней шестой пятилетки. Великий Киргизский тракт пересечет весь массив тянь-шаньских горных хребтов с юга на север, перебросится из долины Кетмень-Тюбе в долину Сусамыра и дальше — в Чуйскую долину, к столице Киргизии Фрунзе. Если сравнить с теперешним железнодорожным сообщением в объезд тянь-шаньских гор, Великий Киргизский тракт будет в четыре раза короче, сократит расстояние между севером и югом Киргизии на восемьсот километров.

По этой-то дороге, по ее южному отрезку мы въезжаем в широкую, оживленную долину Кетмень-Тюбе. Сперва мы видим долину сверху, со склонов Атойнакского хребта — разграфленную пашнями, в серебристой сети арыков и в купах островерхих тополей вокруг селений. Кажется, будто сюда через снежные хребты переплеснулся кусочек индустриально-колхозной Ферганы.

Это впечатление еще усиливается, когда едешь

самой долиной: пыльная зелень кустов хлопчатника по обе стороны дороги, и сельхозмашины на полях, и груды белоснежного волокна, вздымающиеся из-за стен Музторского хлопкозавода, и чайхана в Музторе, где шоферы пьют чай (их грузовики стоят возле чайханы), и фруктовые сады, в которых, кроме яблонь, молоденькие деревья персика, абрикоса, даже виноградные лозы. Чем не уголок Ферганы?!

Навсегда остается в памяти, когда объезжаешь долину Кетмень-Тюбе, и красная гора, что торчит возле селения Токтогул (так называется бывший аил Мазар-Сай). Под горой сливают воды две шумливые речки. У сельских домиков трепещет от горного ветра листва тополей, урюка и барбариса. Аил Токтогул не велик: звонок школы, возвещающий об ученической перемене, слышен в самом крайнем доме поселка. Возле селения средь холмов теснятся поля кукурузы. А в стороне, тоже у речки, на пригорке виднеются развалины двух старых мазаров, и возле них — священное для каждого место: могила Токтогула, обнесенная простенькою оградой.

Кирпичи, из которых сложено надгробие, побелены. Эта несколько грубоватая работа маляров придает могиле Токтогула домашний вид. И возвращает нас не к официальному, выдуманному токтогуловедами, а к живому образу Токтогула, к образу шутника и озорника, народного певца, который даже в глубокой старости слагал песни, полные юношеского огня и задора: «Оседлать лихого скакуна и вскочить на него — вот наслажденье! Надеть нарядную одежду — вот наслажденье! Джигиту встретить красавицу прекрасную, как зеркало, — вот наслажденье!..» Как жаль, что строки эти до сих пор не переложены на русский стих, чтобы и для нас зазвучать во всей своей жизнеутверждающей силе и полноте.

Грубоватая побелка кирпичей на могиле Токтогула странным образом гармонирует со снежными вершинами гор, окруживших долину. Самые высокие из них — горные хребты Сусамырский и Таласский. Через них в скитаниях своих не раз переваливал Ток-

тогул. Через хребты эти скоро побегут автомашины по Великому Киргизскому тракту. Через них — пока по горным тропкам, — через перевалы лежит и наш путь из долины Кетмень-Тюбе в Сусамыр и Талас, едва ли не самые прославленные из тянь-шаньских горных долин.

2. „ИЗУМРУД В СЕРЕБРЯНОЙ ОПРАВЕ!“ —

воскликнул Мушкетов, выдающийся русский путешественник, увидев впервые долину Сусамыра. Сверху, с перевала, долина эта действительно кажется глазу овальным изумрудом в серебряной оправе горных снегов. Много на Тянь-Шане великолепных пастбищ, но такого, как Сусамыр, нет. Ни один киргиз само слово «Сусамыр» не может произнести без улыбки восхищения и любви.

Травы. Кружево тропок среди зелени трав. Кое-где одинокие ивы, черемуха, а то и березы, склонившиеся над ручьями, заросшими смородиной и облепихой. Овечьи кашары, обмазанные глиной. Сложенные из камня короо. Громадные скирды сена, аккуратно очесанные с боков. Сизые дымки над юртами и домами. На земле выжженные кострами плешинки. И опять травы, травы. Собаки, обегающие отару овец, чтобы повернуть ее в сторону. Всадники в широкополых шапках. Огромные движущиеся стада... Вот, когда спустишься с перевала, первое впечатление от этого прославленного джайлоо.

Джайлоо! Летнее пастбище! Вряд ли в Киргизии есть более богатое содержанием слово: оно раскрывает и историю скотоводческого народа, и его бытовые особенности, и многие национальные черты. На русском языке ближе всего передает широту его смысла слово «земля» — олицетворение силы, плодородия и богатства. Больше половины территории Киргизии занято пастбищами. Именно здесь находится сердце Киргизии — страна табунщиков и гуртоправов.

Каждый год в начале июня отары овец, табуны лошадей, стада коров и коз покидают зимние до-

лины. Начинаются праздничные для всего киргизского народа дни — перегон скота на летние пастбища, на джайлоо. Народные певцы славят, но шоферы проклинают эти дни: только и знай — останавливай машину и жди, пока отара проплывет мимо, обтекая автомобиль с обеих сторон! Каждая овца норовит под колеса, недаром во главе отар идут козлы, более спокойные и уравновешенные — ими можно управлять, не будь их — овец бы вообще ни сдержать, ни собрать!

«Кыр-ру!.. Кыр-ру!..» Пастушеский возглас этот да свист бичей слышны в дни перегона на всех дорогах Киргизии. Над волнистыми овечьими потоками покачиваются в седлах верховые чабаны, у некоторых к вьюку приторочен термос, живая примета нашего времени. Рядом с отарой шагают один-два верблюда, на них навьючены пастушеская юрта и сундуки с имуществом.

«Кыр-ру!.. Кыр-ру!.. Кыр-ру!..» «Дедовские времена?» — спросите вы. Нет! Ныне перегон скота на джайлоо — государственное мероприятие. У зоотехников, сопровождающих отары и табуны, при себе походная аптечка и набор хирургических инструментов, чтобы оказать в пути помощь заболевшей корове или овце. А на скотопрогонных дорогах республики создаются ветеринарно-зоотехнические посты: ведь стада гонят далеко, иногда за сотни километров! Специальные люди заранее выбирают вдоль дорог места для ночевок скота и устраивают подкормочные площадки. Диспетчеры перегона регулируют скорость передвижения стад и следят за расстоянием между ними. Они следят и за уровнем воды в горных речках, чтобы переправлять овец при низкой воде.

Переправа отары через речку — настоящее искусство. Пастухи подгоняют овец вплотную к реке. Старший чабан, исследовав дно и выбрав место, въезжает на коне в белый от пены поток, таща за собой на веревке ведущего козла. Овцы кучею бросаются за козлом: важно, чтобы шли они широкой шеренгой — по пятнадцать-двадцать голов в ряд, иначе бурные

струи воды собьют их с ног и поволокут по скалистым камням. Отара превращается как бы в один живой организм, в сплошную кудрявую ленту, извивающуюся и прогибающуюся под натиском мощных водяных струй. И овец сдерживают, прижимают друг к другу пастухи: сквозь рев реки слышно их исступленное: «Кыр-ру!.. Кыр-ру!!.»

Да только ли переправы! А опасные кручи на горных тропах! А пропасти! А перевалы! А трещины в ледниках! Всегда трудна была дорога скота на джайлоо.

На Сусамыр, как и на многие другие пастбища Киргизии, теперь проложена с севера автомобильная дорога. Эта дорога тоже часть Великого Киргизского тракта, ее северный отрезок. Сейчас ее расширяют, перестраивают и возле нее, на радость шоферам, прокладывают скотопрогоны, чтобы овцы не мешали ездить машинам. Поднимаешься по этой дороге, и на перевале из автомобиля перед тобой открывается изумрудная долина Сусамыра. Больше миллиона голов скота летом нагуливает жир на этих пастбищах. Когда едешь по ним и глядишь на травы, травы, травы, становятся совершенно осязаемыми слова ученых-географов, что «Киргизия — горно-степная страна».

До революции Сусамыр был своего рода «удельной вотчиной» кочевых феодальных князьков. О сусамырских пастбищах бедняк мог только мечтать. Что ни лето, то на одном, то на другом урочище богачи-скотоводы не могли мирно поделить травы, и возникали кровавые родовые распри, о которых по сию пору в Киргизии повествуют эпические сказания. Теперь пастбища Сусамыра принадлежат колхозным чабанам.

Ночь. Прижимаясь к юрте, спят овцы, положив головы друг на друга. Спят и мерно дышат. В тишине гор слышны самые легкие звуки. Где-то близко поет речушка. А в небе плывет луна, натыкаясь на облака, и вершины гор похожи на глыбы голубого мрамора, освещенные загадочным внутренним светом. Постепенно небо светлеет. С каждой секундой

все ярче разгораются и уже из-за кромки гор плывут ввысь ослепительные дорожки утреннего света. Рядом по склону рваными лохмотьями сползает облако, прорываясь струйками между ветками арчового куста. Далеко внизу, в долине, глаз угадывает очертания юрт и «игрушечные» домики, дымок над пашней. Но клубящееся облако задергивает долину. Наверху меж двух камней показывается краешек солнца. От внезапного порыва ветра колышется трава, ярче становятся тюльпаны. Лохматая овчарка притрагивается горячим языком к ладони хозяина. Вот оно, утро пастуха, утро на джайлоо — на Сусамыре, в заповедных землях киргизского народа.

Я знаю немало горожан-киргизов, которые не променяют такое утро ни на какой дом отдыха. Многие фрунзенские служащие, врачи, артисты проводят свои отпуска на джайлоо в родных горах, и их не заманишь ни в Сочи, ни в Кисловодск. Замечательно опоэтизированы пастбища в рассказах киргизских писателей. «Гуляет ветер, колышется трава, похожая на зеленые волны. Распластав громадные крылья, парят над утесами грифы. Где-то с отвесной скалы сорвался камень, раскатилось эхо, и рыжая резвая кобылица, раздувая темно-красные ноздри, подняла торчком уши, громко всхрапнула и шарахнулась». Таких картин природы джайлоо, дышащих жизнью, у того же Сыдыкбекова, и у Баялинова, и у Абдумомунова масса.

Доводилось ли когда-нибудь вам любоваться сверху грозой? Она надвигается снизу по ущелью, заполняя тучами долину реки. Озаренные солнцем тучи, когда глядишь на них сверху, сверкают белизною, но в их разрывах дымными колодцами проступает более низкий слой туч, колодцы эти озаряются вспышками молний, и оттуда, снизу, докатывается гром. Киргизские пастухи много раз в жизни видели это величавое зрелище. Да и сами, случалось, попадали под ливень в день по нескольку раз. Погода на Сусамыре изменчива: пастбища его расположены высоко — от двух тысяч ста до двух тысяч пятисот метров над уровнем моря, поэтому то палит солнце, то

налетит гроза и ливень хлещет по холмам, скалам, юртам.

Особенно сильное впечатление производит ночная гроза. Ее хорошо описал Токомбаев:

Шарахнулись овцы, от страха дрожат.
К ним крадется хищник ночной втихомолку.
Отару бессонные псы сторожат,
Во мгле не давая приблизиться волку,
И держит пастух наготове двустволку
И окриком «чой!» ободряет ягнят.
А ливень шумит и шумит не стихая.
Озябшие овцы теснятся чихая.
И сырости юрта пастушья полна...

Бывает летом, в самое жаркое время года, что сгустившиеся тучи разражаются тут не ливнем, а снежной метелью. Крупными хлопьями начинает валить снег, слепит глаза, ручейками талой воды стекает со скал. Ветер треплет войлочные кошмы юрт и задувает снежинки внутрь, на очаг. Пройдет полчаса, и солнце снова сверкает в каплях растаявшего снега и быстро нагревает скалы так, что от них, еще мокрых, начинает излучаться тепло.

«Пастух гонит стадо». Привычная для слуха, но неверная фраза. Киргизские пастухи по джайлоо стада не гонят, а водят. Киргизы говорят: «Паси так, чтобы не овцы проходили через траву, а чтобы трава проходила через овец».

Чабан идет впереди. За ним широкой полосой движется стадо. Чабан следит, чтобы животным не было тесно — все время выравнивает переднюю линию, не позволяет животным отбиваться от стада. Так скот наедается досыта. А сзади подпасок подгоняет бичом отстающих животных. Если поглядеть со стороны, ничего мудреного. По-настоящему мастерство чабанов начинаешь ценить, когда поживешь на джайлоо и вволю с пастухами наговоришься. Тогда окажется, для вождения стад надо знать множество вещей.

Есть, например, такое мудрое правило: утром паси овцу «от ее тени» — на восток, пока лучи солнца не ярки, потом постепенно сворачивай к югу и, на-

конец, назад — на дневное стойбище поворачивай овцу «по ее тени», чтобы в самое жаркое время дня солнце не било овцам в глаза. Но к правилу есть и поправка: в жаркую погоду старайся утром вести овец по ветру, чтобы обратно в часы зноя отара шла против ветра. И еще тысячи правил есть — с какой скоростью, на каких травах, в какое время года и дня, на какой крутизне склонов, на какой высоте над уровнем моря, при какой погоде водить разные стада.

Издалека бросаются в глаза на Сусамыре скирды сена и высокие рамы универсальных стогометателей. Стогометатель подходит к вороху сена, грабельная решетка опускается вниз, железные пальцы решетки ловко поддевают копну, и решетка по семиметровой раме поднимает сено наверх: «Принимай!» Подобные стогометатели можно увидеть и в России, но здесь, в Киргизии, они имеют особое значение.

Раньше киргизский скот был круглый год на подножном корму. И зимой то на одну, то на другую долину, то на весь народ надвигалось тяжкое бедствие — джут. Когда долина засыпана снегом и после оттепели налетает буран, срывая с юрт оплетающие их крепкие арканы, когда овцы жмутся друг к другу, чтобы кучею встретить снежную беду, когда пастбища обледеневают и даже лошади, сильные лошади не в состоянии тебеневать — пробить копытами лед и достать себе траву из-под снежного наста, тогда-то и наступает джут — массовый падеж скота от бескормицы.

В течение столетий джут был для кочевников страшным бичом. Вот строки сообщения в разгар джута зимой 1927/28 года: «Овцы жуют друг у друга шерсть. Коровы поедают веревки и кошмы юрт. Пытаясь пробить ледяную кору, лошади разбивают копыта. Массовая гибель молодняка». В некоторые зимы от джута погибало больше половины поголовья киргизского скота.

Выписанные после джута 1927/28 года киргизским правительством из России косари стали первыми учителями киргизских колхозников-скотоводов.

Они научили пастухов косить траву, заготовлять на зиму сено. И простое мероприятие это было откровением для целого народа. Оказалось, джут можно победить.

Я вижу, как, читая эти строки, насмешливо улыбаются жители Киргизии, с их губ уже готов слететь вопрос: «Ну и как? Побежден в Киргизии джут?» Нет! К сожалению, еще нет! Нашелся у джута верный союзник — косность. Многие председатели колхозов считают: легче колхозу раз в несколько лет потерять от джута половину скота и потом с помощью государства в два-три года поголовье восстановить, чем каждый год тратить бездну труда на заготовку страхового запаса сена, которое может ведь и не понадобиться! И во многих колхозах косы ржавели на складах.

Получалась картина нелепая — передовые колхозы, запасавшие сено, перестали зависеть от стихии и год от году увеличивали стада. Но их успехи сводили на нет колхозы, привыкшие работать по старинке, «платившие» джуту десятками тысяч овец и выходившие из бедственного положения за счет передовых. А республика в целом — животноводческая республика — никак не могла резко поднять поголовье своего стада и прочно его закрепить.

Понятно, какое исключительное значение в этих условиях имела механизация сенозаготовок. Вот почему в Киргизии раньше, чем где-либо, появились на пастбищах сеноуборочные машины — тракторные сенокосилки, пароконные и тракторные грабли, навесные волокуши, стогометатели и, наконец, пресс-подборщики, которые называют тут «сеноуборочными комбайнами». И прежде всего механизмы эти появились на Сусамыре — потому, что это самое знаменитое джайлоо в республике, а главное, потому, что оно опытное пастбище: то, что выдерживает испытание на нем, переносится потом на все джайлоо Киргизии.

Опытное джайлоо! Экспериментальная ферма Киргизского научно-исследовательского института животноводства создала впервые, на своем неболь-

шом опытном пастбище Чон-Курчак, искусственный сенокос, посеяла в горах на высоте двух тысяч двухсот метров эспарцет, костер безостый, ежу сборную, райграс и другие травы и собрала сена в шесть, а местами в восемь раз больше, чем дают естественные сенокосы. Этот опыт перенесли на Сусамыр. И когда он и там блестяще себя оправдал, искусственные сенокосы стали создавать на всех пастбищах.

Опытное джайлоо! Каждое лето на Сусамыре работают экспедиции Киргизской Академии наук. Ботаники изучают запасы трав, разбираясь в богатстве их, и на опытном поле высевают различные травосмеси. Многие тянь-шаньские дикорастущие травы они ввели в культуру; стали собирать их семена и высевать. Зоологи изучают питательные свойства трав. Они предложили новую, основанную на науке, систему пастьбы, и проверили ее тут на опытной отаре овец. Химики изучают растения, определяя вредные и ядовитые травы, чтобы уберечь от них скот. Ирригаторы изучают режим сусамырских ручьев и речек, отыскивают заглохшие родники, и вслед за ними в ущелья приходят колхозные бригады, расчищают родники, дают новые потоки воды скоту и пашням.

Я не оговорился — пашням! Посреди Сусамыра, на высоте двух тысяч с лишним метров над уровнем моря, в сплошной «державе трав» благодаря работе ученых Киргизии теперь покачиваются от ветра на полях сережки овса, колосья ячменя и пшеницы, а в дни уборки сверкают лопасти самоходных комбайнов. Кроме того, на Сусамыре выращивают хорошие урожаи капусты, картофеля, лука, моркови, кормовой свеклы. Появились и опытные поля кукурузы. А в 1955 году испытывались и зерновые культуры, семена которых привезли с севера — из Хибин и Сибири.

Опытное джайлоо! Это относится и к быту пастухов. Только пастухи в Киргизии остались кочевниками: как и встарь, вслед за стадами переносят они свои войлочные юрты все выше, пока не достигают альпийских пастбищ. Но и в жизни тянь-шаньских

пастухов, в их быте произошли коренные изменения. С наибольшей яркостью социалистическое переустройство кочевья видно как раз в «пастушьей столице» Киргизии — на Сусамыре.

Вслед за пастухами, в самые труднодоступные урочища Сусамыра пробираются по горным тропам и раскидывают свои палатки и юрты кочующие брынзозаводы и маслозаводы — с сепараторами, приборами для определения жирности молока, механизмами для стерилизации молочных продуктов и другим современным оборудованием. Масло и брынзу с заоблачных пастбищ спускают вьюками к шоссейной дороге и там перегружают на автомашины.

Едешь по Сусамыру, и навстречу попадаются другие «кочевники», люди невиданных здесь раньше профессий. Библиотека-автомобиль — крытая трехтонка объезжает долину, меняет журналы и книги своим кочующим читателям. А в урочища, недоступные для машин, библиотекарь приезжает верхом, везя книги в переметных сумах. У людного перекрестка тропинок бойко торгует автолавка, над нею, чтобы видно было издалека, развевается красный флажок. Санитарный автомобиль объезжает урочища. Над красной юртой (кочевой избой-читальней) высятся шесты радиоантенн, и кажется, будто шесты эти плывут, валятся под проходящими облаками. Рядом футбольная команда гуртоправов состязается с командой табунщиков. Ватага ребятишек окружает руководительницу кочевой детской площадки — юрта с игрушками стоит на цветущем лугу.

Вспоминается и кинопередвижка: светлый квадрат экрана на фоне черного неба, сгрудившаяся толпа сидящих на земле и верховых зрителей, гул восторженных возгласов, осторожная переступь конских копыт. При этом с экрана несется киргизская речь: лучшие советские и зарубежные фильмы фрунзенская киностудия дублирует на киргизский язык. По головокружительным горным тропам, навьючив на лошадей аппарат и коробки с фильмами, кочуют по Сусамыру сельские киномеханики. Когда от грозовых ливней ручьи разливаются, киномеханики через

бурные потоки на своих плечах перетаскивают аппараты, чтобы их не залило водой во вьюках.

А выступления на джайлоо бригады киргизской филармонии или театра! Изумительное зрелище. Среди полевых цветов стоит автобус, в нем гримируются артисты. На легкой разборной сцене рабочие прибивают к шестам концертную декорацию, чаще всего это юрта сказочной красоты. Если привезли пианино, его устанавливают вполоборота к сцене прямо в кузове грузовика, куда взбирается и аккомпаниатор.

Перед сценой — естественный горный амфитеатр, заполненный зрителями.

Впереди на кампях, кошмах, одеялах, просто на земле важно сидят аксакалы с длинными бородами. За ними — пастухи в широкополых шапках, трактористы в спецовках, зоотехники и ветеринары в белых брезентовых плащах, женщины в лучших нарядах, дети. Сбоку и сзади на конях, гордо подбоченясь, сидят зрители-всадники. А вокруг — склоны гор, ковры трав и цветов.

Киргизский народ любит своих артистов, выражает одобрение громкими криками: «Бали!.. Бали!..» Концерты на джайлоо тянутся до восьми, а то и до десяти часов подряд, с небольшими перерывами: зрители не отпускают артистов! И зрители не устают, не покидают мест. Если наступает ночь, вокруг сцены зажигают костры, бросающие причудливые отблески на артистов. Всегда вокруг театральной бригады обнаруживается на джайлоо и десяток-полтора восторженных почитателей; вслед за артистами переезжают они из урочища в урочище и смотрят концерт или спектакль по нескольку раз.

Есть на Сусамыре свой административный центр. Его воздвигли в последние годы у Каменных Ворот — там, где речки Каракол и Сусамырка сливают воды. У нового поселка нет еще имени, его не найдешь и на картах, и потому мы будем пока величать его по названию урочища — Каменными Воротами.

По новому мосту через быструю Сусамырку въезжаем мы в Каменные Ворота. Дощатые дома

с шиферными крышами, баки для горючего, широкий навес — под ним тракторы и другие сельхозмашины: это Сусамырская МТС. Рядом — здание больницы, школа-семилетка, ветеринарная лечебница, столовая, пекарня, магазин. Построена у Каменных Ворот своя электростанция, есть свои мельницы, клуб, радиоузел, баня и двухквартирные жилые дома для трактористов, доярок, скотников, свинарок, чабанов. По вечерам сияет горная вода в электрических лампочках. У порогов домов, шелестя лапами, бродят неласковые собаки. На улице то грузовики фырчат, то тракторные моторы.

«Неужели, — спросите вы, — осенью, в сентябре, когда с возгласом «кыр-ру...» угоняют из Сусамыра отары овец и табуны лошадей, жизнь останавливается, замирает и в Каменных Воротах?» Нет! В том-то и дело, что нет!

Еще недавно зимовка на Сусамыре считалась невозможной. Зима здесь долгая, суровая, морозы доходят до тридцати-сорока градусов, снега наваливает до полутора метров: как тут киргизскому пастуху жить, как сохранить скот? В 1949 году два чуйских колхоза — «Восток» и «Красный герой» — для опыта решили оставить на Сусамыре зимовать немного лошадей: это была разведка. Оказалось, на Сусамыре есть крутые склоны, с которых ветер сметает снег, и лошади могут на них тебеневать, добывать корм из-под тонкого снежного наста. Правда, в конце зимы после первой оттепели склоны обледенели, и лошадям стало так худо с кормами, что пришлось вызвать самолеты и вывезти лошадей по воздуху. Ну, а если построить скотные дворы, если заготовить страховой запас сена? Стало ясно: зимовать на Сусамыре есть смысл.

И вот в 1950 году на Сусамыр вместе со скотоводами впервые выехали плотники, каменщики, штукатуры. Машины повезли лес, гвозди, стекло. В разных концах долины выросли коровники с шиферными крышами, приспособленные к зиме, с жижестоками на деревянном полу, выросли утепленные конюшни, кашары, кое-где и свинарники. Для животноводов

построили благоустроенные дома. И у Каменных Ворот была создана Сусамырская МТС.

Теперь, когда шумные сусамырские речки покрываются льдом, вздуваются застывшими зеленоватыми глыбами и под ледяной корой еле слышна их медленная жизнь, по пастбищам Сусамыра продолжают, хоть и в значительно меньшем числе, чем летом, пастись табуны коней и отары овец. Впереди стада едет пастух в лисьей шапке; накинутый на его плечи войлочный кементай, белый от снежной пыли, укрывает верховую лошадь до хвоста. Усы, борода, брови пастуха в ледяных сосульках.

Позади пастуха тысячами ног кони и овцы разбивают, раскиселивают снег, щиплют траву. И пастух спокоен. Киргизы говорят: «Жирная овца не боится зимы». Если пастбища скует гололедица, МТС пришлет тракторы с боронами и снежную корку разобьют. Кроме того, есть ведь страховой запас сена и силос! В 1955 году на Сусамыре зимовало уже сорок тысяч овец, больше пяти тысяч коней, много коров и свиней. Сусамыр зимой перестал быть снежной пустыней, сделался зоной жизни. И центр этой новой зоны жизни — поселок Каменные Ворота.

Впрочем, только мы его так величаем. Недалек день, когда ему официально присвоят имя. Да убережет его в этот день судьба от казенных людей! Пожелаем ему имени звонкого, поэтичного — под стать тому горячему чувству, которое читаешь в глазах каждого киргиза, когда невзначай упомянешь при нем про Сусамыр.

3. У ИСТОКОВ ТАЛАСА

Этот день не забыть никогда. Как белые шатры, над нами — вершины Таласского хребта. Орел в небе так высоко, что кажется величиной с жаворонка. Из окна сельсовета доносится стрекот пишущей машинки. Вечереет. В стороне воюет с камнями река. Время от времени ржут лошади. От табунов, рассыпавшихся на склоне гор, то и дело отделяются всадники, скачут к нам, к сельсовету, и, узнав, что

ожидаемых новостей еще нет, уезжают обратно. Было это в июне 1952 года в поселке Буденный, в верховьях Таласа.

Возле сельсовета прогуливалось и сидело много людей: седобородые старики в куньих шапках, трактористы в промасленных спецовках, табунщики в длинных кементаях, шоферы грузовиков Таласского конесовхоза, участники археологической экспедиции, учитель школы, местные ветеринары и зоотехники. Собрало всех сюда, поближе к телефону, событие исключительное.

В тот день во Фрунзе завершала свою работу научная конференция по эпосу «Манас». Решалась судьба киргизского эпоса: признают ли его народным или, наоборот, объявят антинародным. Сестра одного из зоотехников обещала из Таласа позвонить, как только выяснится, чем кончилась конференция. И вот все ждут.

«Какая дичь! — воскликнете вы. — Как может быть антинародным эпос — произведение, созданное самим народом в течение веков?!»

Еще бы не дичь! Один вид этих людей, собравшихся возле телефона в Таласских горах, волнующихся за судьбу «Манаса»,— замечательное доказательство его народности. Впрочем, это и без того было всем ясно. Но, к сожалению, для беспокойства за «Манас» имелись серьезные основания.

Незадолго до того в Азербайджане объявили антинародным эпос «Деде Коркуд». Это мероприятие, говоря мягко, не было отмечено печатью мудрости. Однако в некоторых других республиках тотчас же нашлись усердные люди, которые с подозрительностью начали перелистывать другие произведения народного эпоса. О таких людях в Киргизии говорят: «Дырявый рот от дырявого рта не отстает». Они подвергли разгрому бурято-монгольский эпос, объявили антинародным узбекский эпос «Алпамыш». Нашлись и в Киргизии такие люди. Публично в печати они накинулись на «Манас», спекулируя на советско-китайской дружбе, придравшись к тому, что одна из песен «Манаса» посвящена походу на Китай.

Ах, преднамеренная нелюбовь! Как можно быть неискренним перед лицом поэзии! «Слово хорошего человека способно расплавить камень, плохого — сгноить траву». К чести киргизской интеллигенции надо сказать, что у «Манаса» нашлись и горячие защитники. Четыре месяца на страницах республиканских газет шла дискуссия о «Манасе». И вот, чтобы подвести итоги, в столице Киргизии созвали научную конференцию.

Пока последние лучи заходящего солнца скользят по гребню Таласского хребта, окрашивая его в огненный цвет, пока медленно погасает закат и над горами еще некоторое время висят две золотые тучки, пока в Буденном у сельсовета загораются костры и их отблески пробегают по широкополым войлочным шапкам, кепкам, по платкам и элечекам людей, ждущих, на чем порешит конференция, — расскажем читателю о «Манасе».

Чокан Валиханов, казахский просветитель прошлого века, писал: «Манас есть энциклопедическое собрание всех киргизских мифов, сказов, преданий, приведенное к одному времени и сгруппированное около одного лица — богатыря Манаса... Это нечто вроде степной Илиады». «Этот эпос дает, совершенно так же как эпос греков, ясную картину духовной жизни и нравов целого народа; в эпической форме рисует он походы, сватанье, тризны, скачки, домашний быт...» — писал академик Радлов.

«Да будем мы жертвой твоего голоса!» Такими словами приветствуют сказителей — манасчи простые люди Киргизии, когда те начинают сказания о Манасе, о сыне его Семетее, о внуке Сейтеке. В течение веков манасчи заменяли народу книги и театр: чтобы усилить впечатление, сказители пользовались и мимикой, и жестами, и музыкой. Трудно найти киргиза, который не смог бы прочесть наизусть отрывок из «Манаса», и буквально все знают пословицы, поговорки, бытовые песни из этого эпоса. Чтобы исполнить весь «Манас» — четыреста тысяч стихотворных строк — нужно около шести месяцев. Если его издать целиком, выйдет примерно двадцать объемистых томов.

Богатырь Манас, как повествует эпос, «родился на льду», и потому ни холод, ни болезни не брали его. История того, как Манас собрал разрозненные племена своего народа, объединил их для отпора иноземным захватчикам, и есть основной сюжет эпоса. На этом фоне даны широкие картины исторических событий и жизни народов всей Средней и Центральной Азии.

Всякое в этом рассказе найдешь,
Перепутаны правда и ложь, —
Очень все это было давно,
Очевидцев нет все равно!
Нет свидетелей тех чудес,
Быль и небыль смешаны здесь, —
Это рассказы древних лет,
Прошлого неизгладимый след...

О манасчи Кельдыбеке, который родился в пятидесятых годах XVIII века, рассказывают — начиная исполнение «Манаса», он говорил: «Пусть пастухи идут меня слушать и не боятся, их овцы и кони сами придут домой. И никто — ни волк, ни барс, ни дурной человек не смогут украсть даже ягненка, пока я пою о Манасе». Ученика и преемника Кельдыбека прозвали Балыком за рот «большой, как у рыбы». Балык прожил сто лет. Со слов его ученика и преемника Сагымбая Оразбекова, умершего в 1930 году, был впервые записан полный текст «Манаса», хранящийся в Киргизской Академии наук.

Второй вариант «Манаса» был записан со слов Саякбая Каралаева. Это манасчи советского поколения, страстный, увлекающийся человек, настоящий артист. Молодой Саякбай батрачил у русского кулака и в 1916 году вместе с народом бежал в Китай. В конце 1917 года он вернулся на родину, вступил добровольцем в Красную Армию и участвовал в боях с бандами генерала Дутова и «черного атамана» Анненкова. Как раз, когда Саякбай демобилизовался, из Китая вернулся с последними группами беженцев известный манасчи Чоюке. Услышав его, Каралаев забросил все — и работу в ревкоме и свое хозяйство. «Песни хочется слушать», — говорил он. Скоро он и сам стал манасчи.

Легенды связывают с Манасом многие места на Тянь-Шане. В Кочкорской долине есть мавзолей «сорока чоро» — сорока богатырей Манаса, каждый из которых был чем-нибудь да знаменит: один — искусный полководец, второй — славился красноречием, третий — разгадывал секреты врагов, четвертый — такой зоркий разведчик, что даже в темноте видел следы лисы, пятый — мастер-кузнец, шестой — гадальщик, седьмой — чудесный певец, который одно убранство юрты мог, не повторяясь, воспевать полдня, восьмой — лекарь и т. д. В Чон-Кеминской долине вам покажут «стоянку двух вороных коней Урбу», в Атбашинской долине высится «курган Кошоя», сподвижника Манаса. Но больше всего таких «памятников» в Таласской долине, где, по преданию, был стан Манаса.

Тут и каменный столб, к которому Манас привязывал своего Аккулу — коня «цвета снега, залитого солнцем», у которого хвост шелковый, ноги неутомимые, а на ушах темной ночью горел свет, освещая путь всаднику. Тут (невдалеке от дороги к Кенкольскому ущелью) и «черный камень» величиной с верблюда, о котором говорят, что Манас поднимал его, чтобы высечь огонь. Тут и родник Манаса, и место, где стоял гигантский тополь Манаса, в тени которого «можно было поместить 1 200 баранов».

И сама Таласская долина воспета в «Манасе»: «Сейчас там, в Таласе, обильнее рис, чем другие злаки, там обильнее серебро, чем олово, обильнее лисицы, чем серые зайцы, там много собрано богатства. С коленкоровым подвеском, с широкой талией, очаровательны молодухи Таласа. В розовых платьях, с гибкой талией, очаровательны девицы Таласа...» Такими словами рассказывает Семетею о Таласе его мать Каныкей, та «умница Каныкей», о которой в «Манасе» поется:

Гордой осанкой, чистой красой,
Шеей лебяжьей, длинной косой,
Плавною речью, сильным умом,
Мудростью книжной, быстрым письмом,
Смехом невинным, как детский смех,
Девушка эта затмила всех.

Это Канықей, по народному преданию, воздвигла в Таласской долине гумбез Манаса — один из замечательнейших памятников народного зодчества.

В ущелье Кенкола, среди двух цепей гор вышиною в четыре-пять километров, под голубеющими склонами их, усыпанными гигантскими обломками скал, возвышается небольшая горка Манастын-чокусу, расцвеченная красноватыми обнажениями кварца, разноцветными лишайниками и кусками кварцево-слюдяного сланца, мерцающего серебристым блеском. У подножья этой горки, на склоне, и стоит полуразрушенное, но не потерявшее своей прелести здание, где, согласно легенде, похоронен Манас.

Когда Канықей решила поставить Манасу мавзолей (так повествует легенда), она снарядила караван в шестьсот верблюдов, чтобы отыскать подходящую глину. В глину добавляли для прочности козью и коровью шерсть. А когда сделали кирпичи, проварили их в сале тысячи козлов. О трех камнях, замысловато обкатанных и обветренных, что лежат внутри гумбеза Манаса, тоже есть легенда: два из них — ступни верблюда и верблюжонка Манаса, третий — сердце его коня Аккула.

Пришли археологи и развенчали легенды. Они прочли на гумбезе старинные надписи, оказалось: мавзолей воздвигнут в XIV веке на могиле Кянизяк-хатун, дочери джагатайского эмира Абуки, «защитника блеска и пера», и никакого отношения к Манасу не имеет. О кирпичах, из которых сложено здание, археолог М. Е. Массон написал, что их обжигал недостаточно опытный мастер, это видно из большого количества брака. Словом, вместо поэзии пришла проза.

Впрочем, кирпичи гумбеза тот же Массон рассмотрел так, что зоркостью его нельзя не восхититься. При такой поистине сказочной зоркости, этот известный ташкентский археолог мог бы занять почетное место среди сорока чоро Манаса.

«На поверхности некоторых кирпичей, — пишет он, — удалось обнаружить оттиски ног различных животных, которые ступили на кирпичи, когда те до

обжига сушились на майдане. Более полутора десятка оттисков различной глубины и размеров — следы домашних коз и козлят — свидетельствуют, что когда полусырые кирпичи лежали плашмя на земле, по ним в первый же день прошла группа этих животных. Имеются менее глубокие следы дикой кошки — мадыл — и крупного волка, оказавшихся на майдане, должно быть, ночью, когда кирпичи успели уже провянуть и слегка затвердеть. Более глубокий след оставила лапа ранее их побывавшей на майдане местной борзой собаки породы «тазы-тайган», представители которой встречаются и сейчас у киргизов-охотников из окрестных колхозов...» и т. д. Удивительный глаз!

Любопытно, что когда археологи прочли на гумбезе имя Кянизяк, народ сейчас же ответил на это легендой: мол, воздвигнув гумбез и опасаясь, как бы враги Манаса не осквернили его, желая ввести их в заблуждение, «умница Каныкей» прибегла к хитрости — велела начертать на стенах, будто здесь погребена некая девушка. И народ прав. Что значит имя безвестной джагатайской царевны по сравнению с Манасом, вокруг образа которого киргизский народ собрал все воспоминания о своей истории?!

Подобно геологу, обнажающему древние отложения горных пород, или археологу, вскрывающему в земле древние культурные слои, историк культуры и этнограф еще долго будут открывать в «Манасе» все новые золотые россыпи сведений о прошлом Киргизии. Вот почему мне представляется уместным именно тут рассказать кое-что о древней истории киргизской земли.

«Это было в давние времена, раньше прежних времен», — такой фразой начинаются многие киргизские сказания. Археологи открыли на Тянь-Шане немало памятников тех «давних» времен, что были раньше «прежних»: стоянки, пещеры и кремневые орудия людей эпохи камня, могильные курганы эпохи бронзы и наскальные рисунки, сделанные первобытными охотниками, населявшими горы Тянь-Шаня в первом и втором тысячелетиях до нашей эры.

В XII веке до н. э. Тянь-Шань заселили кочевники-саки, те саки, «стрелки из лука», послы которых гордо говорили Александру Македонскому: «Наша нищета быстрее твоего войска». Когда у древнегреческого историка Геродота читаешь: «Саки, скифское племя, имели на голове остроконечные шапки из плотного войлока, стоявшие прямо», — вздрагиваешь: шапки эти до сих пор носят пастухи на Тянь-Шане!

Саки научились обрабатывать железо и приручили для верховой езды лошадей. И конница саков стала славиться всюду, даже в далекой Греции. На юге Киргизии сохранились древние наскальные изображения коней. За этими «небесными лошадьми» китайцы во II и I веках до нашей эры снаряжали в Фергану военные экспедиции. Но в то время горы Тянь-Шаня уже находились под властью родственных сакам усуней.

Древний китайский историк Сы Ма-цян, описывая усуней, которые «не занимаются ни земледелием, ни садоводством, а со скотом перекочевывают с места на место, смотря по приволью в траве и воде», рассказывает, как китайский император в 107 году до нашей эры отправил в жены усуньскому гуньмо (князю) царевну Си-гюнь. Тоскуя по своей далекой родине, царевна сложила песню, которая навсегда осталась в истории как яркое свидетельство кочевого быта усуней:

Выдали меня родные
В дальнюю сторону.
Отдали в чужое царство
За усуньского царя.
Живет в круглом шалаше,
Обтянутом войлоком,
Питается мясом,
Пьет молоко.
Как вспоминаю об отчизне,
Сердце изнывает.
Хотела бы диким гусем быть,
Чтобы вернуться на родину...

Спустя тридцать лет, когда царевна Си-гюнь, вероятно, еще была жива, китайские историки упоминают впервые и о появлении на Тянь-Шане в Талас-

ской долине киргизов. Впрочем, первое упоминание о киргизах (ки-ли-ки-цзы) было в китайских летописях раньше, в III веке до н. э. По словам историка Бартольда, из народов, живущих сейчас в Средней Азии, нет ни одного, название которого так рано встречалось бы в истории, как «киргизы». Но киргизские племена в то время жили не на Тянь-Шане, а кочевали на верхнем и среднем Енисее.

Немало людских волн прошло через Тянь-Шань («прекрасную крепость и удобный караван-сарай», как говорил археолог А. Н. Бернштам), прежде чем здесь прочно обосновались киргизы. О V—VIII веке нашей эры историки Киргизии любят говорить, что они протекали под знаком «борьбы фазана с тауте-кеш».

Таутеке, горный козел, был тотемом тюрков, создавших Западнотюркский каганат — огромную кочевую державу. Большое количество каменных баб, грубо обтесанных, с чашами в руках, стоящих поныне в глубине гор, да замечательно сохранившиеся рунические письмена на скалах в долине Таласа рассказывают нам об этой державе. Верховный каган, ее властелин, сидел в своей ставке в Суябе (городище которого в Чонкеминской долине Тянь-Шаня). В Суяб шли послы со всего подлунного мира — из далекой Византии и из Китая, шли караваны с подарками от царей и императоров.

В то время самыми предприимчивыми торговцами в Средней Азии были согдийцы; их символом был фазан, священная птица зороастрийцев. Согдийцы основали в Чуйской и Таласской долинах военно-торговые фактории и земледельческие поселения. Они прорыли ирригационные каналы и выращивали рис, виноград, урюк. Археологи раскопали в Чуйской долине древний согдийский город Сарыг, нашли росписи и ремесленные изделия из железа, бронзы, золота и серебра — кувшины, пряжки, серьги тонкой работы. Интересно, что многие согдийские оссуарии — глиняные урны для праха — делались в форме юрты: близкое соседство кочевников оказывало влияние на вкусы согдийцев.

В VIII веке на Тянь-Шань с севера хлынули орды завоевателей тюрков-карлуков. Они основали в Чуйской долине Баласагун — большой город, ставший в X веке столицей феодального государства Караханидов, а потом и центром обширной империи кара-китаев. Баласагун был известен на весь Восток. Здесь Хаджи Юсуф Баласагунский написал книгу «Кудатгу Билик», то есть «Знание, как стать счастливым», которую несколько веков спустя еще читали в Египте и на Волге. Баласагун славился своими мусульманскими и буддийскими храмами, водопроводом, обширным базаром. От всего этого остались лишь засыпанные землей развалины, да недалеко от Токмака торчит кирпичная башня Бурана — минарет XI века. Кто же нанес смертельный удар культурным земледельческим центрам Чуйской долины? Монголы.

Оттого и тревожатся скакуны,
Острыми ушами прядут —
Орды с вражеской стороны,
Очевидно, на нас идут;
Озеро корчится от волны,
Осыпаются с гор валуны...

Вся природа дает знать Манасу о приближении вражеских орд. «Но при чем тут Манас? — спросите вы. — И вообще, где жили киргизы во время упомянутых событий?» До середины IX века киргизские племена кочевали на Енисее и Орхоне, ведя войны сперва с племенами гуннов, потом с жужанами, еще позже — с уйгурами.

В середине IX века образовалась киргизская держава — политическое объединение киргизских племен, включавшая всю территорию Монголии и простиравшаяся от Енисея до центрального Тянь-Шаня. Именно в это время складывался эпос «Манас». Недаром, по эпосу, отец Манаса жил на Алтае, да и сам Манас там родился. В эпосе повествуется и о переправе воинов Манаса через Иртыш и Орхон. На Иртыше по сей день, как память о прошлом, сохранилось урочище Манас.

Держава киргизов просуществовала недолго и

под ударами кара-китаев в середине X века распалась. Часть киргизских племен осталась в Сибири, значительная часть оказалась в горных долинах Тянь-Шаня, куда и до того киргизские племена проникали не раз. Между обеими частями киргизского народа долго существовали оживленные сношения. Когда началось нашествие монголов, енисейские киргизы оказали им отчаянное сопротивление, против них монголы вынуждены были снарядить даже специальную военную экспедицию Джучи-хана в 1218 году. Киргизы были разбиты. Многие бежали на Тянь-Шань в высокогорные долины — естественные крепости, недоступные монголам. Некоторые ушли в глубь сибирских лесов: потомки тех киргизов — нынешние хакасы. С тех пор Тянь-Шань стал основным центром средоточия киргизских племен.

В песнях «Манаса» нашло свое поэтическое отражение и переселение киргизов с Енисея на Тянь-Шань и многие другие исторические события следующих веков. Есть, например, в «Манасе» образ казахского хана Кокча. Это тот богатырь, о котором упоминается в Никоновской летописи под 1423 годом (в связи с нападением царя Кунзадата на город Одоев): «Тогда же убили и Когчю, богатыря татарского, велика суща телом и силою».

Богатырские подвиги Манаса в течение веков воодушевляли киргизский народ. Его имя и теперь продолжает жить. «Манас» — так назвали жители города Таласа свой кинотеатр. По Иссык-кулю плавает танкер «Манас». Интересную прозаическую повесть «Манас великодушный» написал С. Липкин, переводчик киргизского эпоса, ее полюбили советские школьники. Листок бумаги с аккуратно переписанной «клятвой Манаса» нашли в кармане Чолпонбая Тулебердиева, знаменитого земляка Манаса.

Чолпонбай Тулебердиев, член колхоза имени Тельмана Таласской области, осенью 1942 года совершил подвиг, о котором поют песни. Дело было на Дону, под Воронежем. На меловой сопке по ту сторону реки — гитлеровский дзот, из которого простреливается каждый метр переправы. Надо его по-

давить. Командир роты Горохов, комвзвода Герман и боец Тулебердиев сошли из камышей в воду и в трех разных направлениях поплыли к сопке. Вода вскипала то справа, то слева, то позади них — это гитлеровцы открыли огонь.

Первым вышел на берег Чолпонбай. Размахнувшись, он бросил в дзот гранаты — одну, другую. И пополз вверх, карабкаясь по крутому склону сопки. Достигнув вершины, Чолпонбай вскочил и бросился к дзоту. Зарокотали пулеметы. Чолпонбая прошила пулеметная очередь, руки опустились, автомат упал на землю. Но Чолпонбай не остановился. Напрягая все силы, он добежал до амбразуры и закрыл ее своей грудью. В его широкой груди захлебнулись вражеские пулеметы. Подбежавший Горохов очередью из автомата уничтожил гитлеровцев, засевших в дзоте. И рота стремительно переправилась через Дон.

Сняв стальные каски, сурово стояли воины у могилы Чолпонбая Тулебердиева. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Его зачислили почетным бойцом своего полка. До сих пор на каждой утренней и вечерней поверке, когда командир выкликает бойцов, правофланговый громко отвечает: «Боец Тулебердиев Чолпонбай погиб смертью героя при взятии дзота на западном берегу реки Дон!»

И вот спустя десять лет после смерти Тулебердиева мы собрались на его родине, в Таласской долине, возле телефона в Буденном. Звонка все еще не было: как видно, конференция по «Манасу» во Фрунзе затянулась допоздна. В костер у дороги кто-нибудь время от времени подбрасывал сучья, они начинали трещать, и высоко взлетал острый язык пламени. У крыльца сельсовета в темноте вспыхивали и гасли красноватые огоньки папирос, освещая обветренные лица. А в небе дрожали звезды, словно от холода. И в их дрожащем свете казалось — тень Чолпонбая тоже сжимает кулаки, проклиная тех нечестных или не по разуму усердных людей, которые задались целью похоронить «Манас».

Наконец поздно ночью сообщили: эпос «Манас», хоть и с несколькими оговорками, все же в основном (в основном!) признали народным. Надо было видеть, каким торжеством светились глаза собравшихся. «Манас» защищен! Десятки всадников поскакали в ночь к табунам сообщить эту весть. А какой-то седобородый аксакал, вставая от костра, сказал:

— Если ложь выдашь за правду, правда уйдет своей дорогой.

И хотя он не назвал, все отлично поняли, о ком речь.

4. ДОЛИНА ЗОЛОТЫХ БАРАНОВ

Мы в городе Таласе, сидим под деревьями в чайной у дороги. Дуновение горного ветра мягкой свежестью касается лба. Проезжает по улице грузовик, и, когда мотор умолкает, слышно, как невдалеке воркует река. С реки через городские крыши доносятся и всплески человеческих голосов: они летят с острова, со стадиона, окруженного зарослями приречных лесов. Теряясь в зелени садов, торчат над Таласом трубы нескольких заводиков. Мимо чайной едет всадник, и над его крылатой войлочной шапкой, белой, с черной каймой, высятся одетые в снежные мантии горы.

На заре человеческой истории древние греки в легендах своих поместили богатство на край света. Таким краем света была для них сказочная Колхида, в которой огнеглазый дракон охранял золотое руно. Чтобы украсть его, аргонавтам пришлось пуститься на хитрости. И все же легенда эта была оптимистичной — греки верили в силы человека. В Киргизии о богатстве сложили пословицу куда более пессимистическую: «Разбогатеть так же трудно, как вырыть колодец иголкой». И сказания о золотом руне тут начали складывать лишь спустя два тысячелетия после греков: алтын-кочкорами — золотыми баранами — киргизские колхозники называют своих новых тонкорунных овец. Как раз здесь, в Таласской

долине, столица тянь-шаньских золотых баранов. Заговорите о них в чайной, где вы сидите, вам расскажут кое-что интересное.

Овцы, не алтын-кочкоры, а простые курдючные овцы, издавна были основным богатством тянь-шаньских кочевников. Годовалый баран служил разменным рублем. Количеством годовалых баранов измерялась цена одежды и конской сбруи, измерялась и величина калыма, который нужно было выплатить, чтобы иметь жену. Когда кто-нибудь резал овцу, он, по родовому обычаю, обязан был пригласить на угощение всех сородичей. И овечья туша делилась на одиннадцать частей: голова с одним боком полагалась манапу, курдючное сало с другим боком — баям и биям и так далее, вплоть до шеи, которую получали пастухи, и кишок, приходившихся на долю женщин. И положение киргиза определялось прежде всего количеством его овец: манапы и баи владели многотысячными отарами, бедняки — двумя-тремя овцами, батраки же работали круглый год за право доить две-три хозяйские овцы.

Овцами прежде не только платили, не только одаривали на Тянь-Шане, ими и наказывали: случалось, манап клал провинившегося лицом вверх на землю и прогонял через человека отару овец. С овцами были связаны легенды и поверья. «Если прикрикнуть, и упрямая овца к привязи подойдет», «От дешевой баранины плохой навар», — об овце слагали пословицы.

«Испанская овца — рунная, русская — овчинная, киргизская — сальная», — говорили животноводы-ученые. У киргизской овцы был курдюк — запас сала на случай бескормицы: несколько килограммов сала болталось у нее позади! Но шерсть... Если хороший мериносовый баран за год давал шерсти на двадцать метров прекрасной ткани, грубошерстный баран давал ее на один метр плохого сукна. Можно ли было с этим мириться? Нет, конечно, нет! Ни в Киргизии, ни в России.

Профессор П. Н. Кулешов — известный животновод, который еще в 1910 году вывел новокавказскую

породу тонкорунных овец, писал в 1922 году: «В пересчете на душу населения, мы имеем шерсти на починку одной худой варежки. А чтобы нашить на штаны заплату — этого мы не имеем». Перед овцеводами всего Советского Союза была поставлена задача метизации грубошерстных овец тонкорунными баранами и выведения новых пород с тонким руном. В начале тридцатых годов такую задачу поставили и перед Киргизией. Этого требовала и текстильная промышленность страны и интересы колхозников-киргизов: за шерсть с каждой тонкорунной овцы им платили в восемь раз больше денег, чем с грубошерстной. Метизация означала на Тянь-Шане большой рост доходов колхозников и вместе с тем полное закрепление колхозного строя. Понятно, баи всячески пытались сорвать метизацию киргизских овец.

Курдюк, обыкновенный сальный курдюк, киргизской овцы сделался предметом яростной агитации баев. Слова о том, что «киргизу неприятен даже самый вид овцы без курдюка и с хвостом», подкреплялись ссылкой на овчарок. Киргизским собакам действительно вид барана с хвостом был непривычен, они привыкли отгонять от отар хвостатых коней и коров. И когда привезли первую партию новокавказских мериносов, многим из них собаки оторвали хвосты. Это событие было подхвачено баями в качестве центральной темы контрреволюционной агитации. Но собаки не оправдали байских надежд — быстро освоились и с хвостатыми баранами. И на тянь-шаньских пастбищах закрепились первые алтын-кочкоры.

Алтын-кочкор — этим словом вчерашние бедняки скотоводы подвели в тридцатых годах итоги величайшим в их жизни событиям. Алтын-кочкорами — золотыми баранами — в Киргизии стали называть сперва новокавказских баранов, вюртембергов, прекосов и рамбулизированных сибирских мериносов, которых привезли на Тянь-Шань для метизации киргизских овец, а потом и своих новых киргизских горных тонкорунных баранов. Так сказка о золотом руне получила свое историческое завершение.

Новая киргизская горная тонкорунная овца была выведена под руководством члена-корреспондента Киргизской Академии наук М. К. Лущихина в овцеводческом совхозе «Джуан-Тюбе», контора которого находится в селе Грозном, в Таласской долине. Поедем же из Таласа туда!

Пересекаешь всю Таласскую долину. Проезжаешь через селения, где чистенькие белые мазанки, яблоневые и вишневые садики, пасеки, огороды и остролистые подсолнухи, о которых теперь и киргизы поют песни: «...и к солнцу повернут цветок золотой, как сердце мое к лицу дорогой». Минуешь кукурузные поля, посреди которых, чтобы отпугивать прожорливых птиц, качаются соломенные чучела в отрепьях, а то и размахивающий крыльями на ветру, привязанный к палке убитый горный орел. Среди полей поблескивают излучины реки Таласа. Вдоль дорог цветут белые мальвы. Черные в белых пятнах коровы провожают вас глухим мычанием, особенно много их близ села Ленинполь.

Немецкие колонисты поселились тут в восьмидесятых годах прошлого века. Это они первые привезли в горы Тянь-Шаня голландских коров. Загляните по пути в Иогансдорф — в колхоз имени Вильгельма Пика — или в одно из других селений, основанных немцами: здесь родина новой породы крупного рогатого скота — аулиеатинской, или, как ее называют еще иначе, черно-пестрой таласской. Породу эту вывели ученые в наше, советское время, скрещивая голландских коров и местных киргизских. В селе Кировском мы сворачиваем от магистрального шоссе в сторону. И, наконец, въезжаем в Грозное.

Его улица необычайно длинна — тянется на шесть километров! — и до того широка, что любой столичный проспект может ей позавидовать. Крыши украинских мазанок Грозного, чуть покатые, поверх соломы так густо обмазаны глиной, что печные трубы, тоже обмазанные глиной, торчат буграми причудливой формы. Они как бы повторяют очертания гор, обступивших долину широким полукольцом. Вдоль землянок, утоптанных тротуаров в арыках и в расте-

кающихся от них лужах копошатся гуси и утки. А посреди улицы по булыжному шоссе промчится автомашина, проедет мимо лежащего верблюда комбайн, протрусит на ослике киргизка в белоснежном элечеке. Да два осленка — таких молодых, что шерсть еще торчит клочьями — играют на улице, подпрыгивают, смешно вскидывая ноги.

И надо всем этим орет, хрипит, взрывается полумузыкальными звуками немолчное радио из четырехгранного репродуктора, укрепленного на столбе. Это радио тут так всем надоело (бывает же еще у нас его ревнители, у которых собственные уши, как видно, отсутствуют!), что по Грозному пошел слух: мол, где-то уже изобрели особые наушники, с ними куда хошь поди — на поле, в лес, в горы, на речку, — всюду можно слушать радиопередачи. И когда выпустят эти наушники массовым производством, тогда-де громкоговорители запретят.

Говорил мне это, посмеиваясь, Дмитрий Николаевич Гребенщенко, известный в Киргизии мастер выращивания табака. Грозненский колхоз имени Калинина знаменит своими табаками, каждый год он сдает государству больше 120 миллионов табачных листьев. Но еще больше знаменито Грозное тем, что здесь центр самого передового в республике овцеводческого совхоза «Джуан-Тюбе».

Поезжайте по отделениям и кашарам этого совхоза, широким полукольцом раскинувшимся ниже Грозного; поезжайте, ну, хотя бы в кашару к Тюлебеку Досбергенову, старшему чабану маточной отары, многие годы настригающему с каждой овцы пять-шесть килограммов тонкой шерсти.

Меж холмов, среди торчащих метелок чиев, белесоватых от пыли, движется отара овец: головы задних прячутся в высокие пушистые зады передних. Оводы и мухи вьются над отарой, прыгают скворцы по овечьим спинам, и вся эта живая река шерсти и мяса сопит, фыркает, блеет сотнями голосов. Овцы жмутся к лошади — кажется, что всадник плывет в живом, зыбком потоке. На всаднике небольшая черная каракулевая папаха, сапоги, защитные гали-

фе. Он загорел, коренаст. Здравствуйте, товарищ Досбергенов!

Он соскакивает на землю обменяться с вами рукопожатием. Потом показывает овец: их покрывает с ног до головы слой серой грязноватой шерсти. Но чабан раздвигает ее руками, и перед вами — белый, у некоторых кремовый «пух». Чабаны говорят о шерсти своих новых овец: «Она белее облака, нежна, как дымок очага, крепка, как струна комуза». Это не преувеличение. Возьмите пучок отрезанной овечьей шерсти двумя руками с двух сторон, попросите кого-нибудь ударить по нему пальцем и поднесите к уху — вы услышите: шерсть звучит, как струна. Чем выше звук, тем крепче шерсть. Только триста граммов такой тонкой чистой шерсти нужно, чтобы сделать на фабрике метр бостона или шевиота. Это значит, что каждая овца совхоза «Джуан-Тюбе» одевает не меньше четырех граждан нашей страны. Только одна отара Досбергенова ежегодно одевает больше двух с половиной тысяч советских людей.

Шерсть джуан-тюбинских овец гибка и упруга, нежна и мягка. Она идет на изготовление лучших камвольных тканей. Но и по количеству мяса и сала эти овцы не уступают курдючным. Только сало откладывается у них не в курдюках, а внутри. Джуантюбинцы помнят, как смеялись чабаны, когда зоотехники им впервые сказали об этом.

В то время таласские чабаны еще не знали зоотехнической науки (дело было в тридцатых годах), зато у них существовал своеобразный, доставшийся в наследство от старого полуголодного быта «спорт» — кто больше съест мяса. Признанным «чемпионом» совхоза был Абре Бейбутов, свободно съедавший курдючного ягненка. Однажды он попробовал съесть (ради «спортивного» интереса) ягненка новой породы и не смог. «Мясо все время жирное», — сказал он. Только тогда поверили чабаны зоотехникам, а в «Джуан-Тюбе» стали шутить: «Для новой овцы даже рот Абре Бейбутова мал!»

В наследство от старой киргизской овцы киргизская горная тонкорунная получила выносливость и

приспособленность к жизни в суровых условиях пастбищ Тянь-Шаня. Каждый год таласские чабаны гонят овец на джайлоо, некоторые отары — в далекую Чаткальскую, самую западную из тянь-шаньских долин. Овцы туда идут по горным склонам, через каменные кручи и снежные перевалы. Селекционерам приходилось думать и об этом.

Взять хотя бы такую подробность: первые тонкорунные метисы унаследовали от своих привозных «отцов» густую шерсть на ногах и вокруг глаз. В горах, при заморозках, шерсть вокруг глаз смерзалась, овцы слепли, пятились и, бывало, обрывались в пропасти. А шерсть на ногах! Когда она обрастала сосульками, овцы теряли способность двигаться. Куда годилось это в Киргизии, где овцы должны уметь тебеневать, разбивать ногами снег иногда до восьмидесяти сантиметров глубиной. И селекционеры добились: у овец новой породы ноги свободны от шерсти «до локтя» и голова свободна — рунная шерсть начинается за ушами.

Загляните в кашару к Досбергенову, осмотрите «родильное» отделение, и профилакторий, и бетонированную ванную для овец. Полюбуйтесь электростригжкой овец. Проведя день в гостях у него, вы проникнетесь поэзией его мастерства — пусть на первый взгляд грубой, пахнущей шерстью и салом, цифрами и ветеринарными словечками, но исполненной такой любви к своему делу, что под конец ваше ухо не будет резать даже застольный тост, который можно услышать в Киргизии: «Выпьем за то, чтобы овцы наши были крупные, как верблюды, и шерсть их была как шелк!»

Покидая Таласскую долину, бросим прощальный взор на далекие пастбища: кучевые облака над долиной похожи на пушистые вороха белой расчесанной шерсти — столько мы насмотрелись овец! Перед нами далекий путь — через казахстанский город Джамбул, по железной дороге — во Фрунзе и опять в автомобиле — в Рыбачье, а дальше — из долины Иссыккуля на юг: только так можем мы попасть в Нарын, в сердце Тянь-Шаня. Так в путь!

5. СЕРДЦЕ ТЯНЬ-ШАНЯ

Впрочем, зачем повторять этот путь — его большую часть?! Воспользуемся лучше самолетом и из Фрунзе в Нарын полетим.

Если вниз посмотришь ты,
В самолете пролетая,
То увидишь с высоты,
Как бежит вода седая,
Как сияют гор хребты.
Серна дикая, вскочив
С лежбища, единым махом
На крутой взлетит обрыв
И глядит в лазурь со страхом,
Набок голову склонив.
Эту серну, эту высь,
Этих вод седые гривы —
Только в небо подымись! —
Все увидишь ты, счастливый...

Стихотворение, из которого эти строки, — «Шаловливый Нарын» — написано Аалы Токомбаевым.

Нарын — киргизская река! Издавна в долинах центрального Тянь-Шаня, словно в естественных крепостях, жили киргизские племена. Они враждовали друг с другом, ссорились, но пили воду из одной и той же реки. У границы Китая, во льдах высочайшего горного узла Хан-Тенгри, рождается Нарын. Вбирая в себя по пути воды горных потоков и рек, Нарын прорывается сквозь ледяные хребты из одной долины в другую, пересекает почти весь тянь-шаньский горный массив, наконец вырывается в просторы Ферганской долины и там, слившись с Кара-дарьей, дает начало той великой среднеазиатской реке, которую древние греки величали Яксарт, китайцы — Янь-Шуй, арабы — Сейхун, мы зовем Сыр-дарьей.

Человеку или коню пройти по ложу Нарына из долины в долину можно далеко не везде — так отвесны местами ущелья и с такой гибельной силой несет река свои воды. В ущельях не добродушное ворчанье в шуме Нарына и не жалоба слышится вам, а рев дикого зверя; голоса человека не слышно; река вздымает над каменными глыбами облака водяной пыли и с грохотом волочит по дну камни. Но

есть и места, где Нарын течет в широкой пойме так спокойно, что в воде отражаются берега.

Несколько раз в пути Нарын меняет свой цвет: на сыртах — синий, прозрачный и чистый, возле города Нарына — грязновато-серый, ниже впадения реки Атбаши — кирпично-красный, в Кавак-тоо двуцветный, голубой и коричневый (голубая вода Кокомерена долго течет в Нарыне, не смешиваясь с коричневой нарынской водой), а еще двумя десятками километров ниже в узком ущелье — черный с белой пеной поверх.

«Гора с горой сошлись, гора с горой срослись, гора из-за горы уходит вдаль и ввысь», — хорошо передал Алыкул Осмонов впечатление от картины гор, которая не покидает вас на Тянь-Шане. На человека свежего Тянь-Шань сперва производит мрачное впечатление. Голые, безлесные горы, изборожденные каменными морщинами. Ниже вечных снегов — скалы, целые кряжи скал, и пастбища, усыпанные камнями, и пепельно-серые каменные осыпи. Только постепенно глаз перестает подавляться величием скал, начинаешь наслаждаться их формой и бесконечным разнообразием цвета. Красота гор малопомалу овладевает вами, завораживает. Наконец наступает мгновение, когда глаз уже не в состоянии вдоволь насытиться созерцанием скал, и снежных вершин, и тянь-шаньских речек, будто наполненных дорогими самоцветами.

Тянь-Шань высится в центре Азиатского материка почти в равном отдалении от Бенгальского залива и Обской губы, от морей Каспийского и Желтого. Это сказывается не только на сухости, но и на континентальности климата и это чувствуешь грудью, спиной. Спрячется солнце за горный кряж, сразу ощущаешь резкое похолодание. Днем даже сквозь плотную рубаху солнце жжет грудь, а спина в тени замерзает. Необычайно велика разница температур между летом и зимой. Летом высоко в горах среди дня бывает так жарко, что снимаешь с себя все и ходишь в трусиках. А зимой долины Тянь-Шаня превращаются в царство леденящих ветров; и если многие речки

не замерзают — то лишь благодаря быстроте: они делаются мутно-белыми, несут шугу (рассеянные в воде ледяные кристаллики), но бешеное течение смерзаться им не дает.

Тянь-шаньские горные долины, лежащие на высоте от полутора до двух тысяч метров над уровнем моря, издревле были жизненными центрами киргизского народа. Крупнейшие — Нарынская, Атбашинская, Кочкорская, Чон-Кеминская, Джумгальская, Тогуз-Тороуская, Кетмень-Тюбинская, Таласская и Чаткальская — прежде представляли собою своего рода большие удельные княжества. Киргизов в то время другие народы именовали дикокаменными киргизами и кара-киргизами (черными киргизами), подчеркивая темноту, бескультурье сплошь неграмотного народа, жившего в диких горах.

Посреди каждой долины, около бурной реки, перебрасывающей свои воды от одного изгиба к другому и наполняющей воздух гулом камней, ударяющихся под водой, обычно стояла большая белая юрта манапа, расписанная орнаментами. На деревянном переплете ее остова внутри висели прошитые цветной шерстью циновки. Кроме традиционной горы одеял и подушек, в юрте манапа случалось увидеть и трофеи грабежей: можно было наткнуться на крытое черным лаком китайское изогнутое кресло с изображениями драконов и на обычную (необычную на Тянь-Шане!) двуспальную кровать, всем видом своим свидетельствующую о ее российском купеческом происхождении.

Рядом с юртой феодального князька стояла его зимняя мазанка, юрты нескольких жен и юрты «дворовых» слуг. Некоторые слуги были так бедны, что юрту им заменял алачик: четыре кола, прикрытые кошмой. Семьи батраков валяли и разрисовывали войлочные кошмы для своего манапа, взбалтывали в мешках из козьей шкуры кумыс для его стола, коптили в дыму очагов казы — конскую колбасу, приготовляли овечий сыр, и сладкий овечий творог — иримчик, и катык — особую простоквашу, варили в прокопченных казанах беш-бармак и гнали водку

из кумыса, иногда смешивая его с верблюжьим молоком, чтобы была крепче.

Ссылаясь на то, что народы Тянь-Шаня с давних пор жили в продымленных юртах и что «за полвека владычества русских» юрта в этих диких горах попрежнему оставалась юртой, кочевники — кочевниками, царские чиновники незадолго до революции писали: «Наука не победит природу Тянь-Шаня, и эта природа будет защитой кочевников-номадов от напора цивилизации, и в далеком будущем они останутся живыми памятниками первобытного человека». Читая эти строки сейчас, наш современник лишь улыбнется. Улыбнется и вспомнит рожденную еще в кочевой юрте пословицу: «Умный смотрит на огонь, а глупый — в казан».

Царские чиновники «смотрели в казан». Даже самые дальновидные из них — те немногие, кто видел назревавшую в России революцию и в страхе перед нею пытался отдалить ее приближение виселицами и тюрьмами, надеясь спасти таким образом свои привилегии или свои поместья и фабрики,—даже они не представляли себе, что российская революция может быть чем-то большим, нежели, например, буржуазная революция во Франции в XVIII веке, что она откроет собой новую эру в истории человечества.

В 1930 году, спустя всего тринадцать лет после революции, в Киргизию впервые приехал Юлиус Фучик. Тогда мало кому известный чешский журналист, он бродил по улицам Фрунзе и поднимался на горные пастбища, зорко всматриваясь в перемены, какие произошли в жизни киргизов. И хотя в ту пору на Тянь-Шане повсюду можно было увидеть уходившие, но еще не ушедшие в прошлое черты кочевого быта, Фучик, не говоря о киргизской столице, даже в кочевой юрте увидел рождающуюся новую, социалистическую жизнь и понял всемирно-историческое значение этого. Он умел смотреть «на огонь», на сущность жизненных явлений, Юлиус Фучик. Вот почему даже для него, приехавшего из европейской, славившейся культурой страны, то, что увидел он в Кирги-

зии, было уже завтрашним днем, новой, более высокой ступенью человеческой цивилизации.

В предисловии к книге очерков о Советском Союзе, которую он так и назвал «В стране, где наше завтра уже стало вчерашним днем», Фучик писал: «Помню, как однажды мы сидели с приветливым Ашербеком у огня киргизской юрты, на склоне Александровского хребта. Скрестив ноги, он вспоминал о царизме и нужде, а я, в свою очередь, рассказывал ему о нашей жизни в далекой стране Центральной Европы, о тягостной жизни без свободы. Он внимательно слушал, и то, о чем я говорил, казалось мне историей давних времен».

А перед отъездом из Фрунзе в письме к строителям социалистической Киргизии Фучик писал: «Мы ехали в страну, о которой буржуазные сказочники рассказывали, как о дикой, экзотической стране. Но мы попали в страну, темпы строительства которой значительно выше, чем в самых передовых «наицивилизованнейших» странах капиталистического Запада... То, что мы получили здесь у вас, мы повезем всему пролетариату Западной Европы».

Я хорошо помню время, когда в дымных юртах чабанов появились первые открытки с портретами Ленина. Событиями в жизни киргизского народа были и первая книга в юрте, первая газета, первое зеркало, прислоненное к груде одеял. На тастарконах — скатертях с угощением — появились фарфоровые блюда, чашки, кувшины и тарелки.

Не сразу новое побеждало. Бывало, к первым тракторам кочевники привязывали амулет — крыло филина, чтобы злой джин не сглазил трактор. Под охотничьим ружьем и биноклем, повешенным на кереге — деревянной решетке юрты — женщины укрывали кошмами от дурного глаза новорожденного верблюжонка. И все же жизнь в долинах Тянь-Шаня ощутимо менялась, — чем дальше, тем быстрей.

В каждой бывшей зимовке — центре «удельного княжества» — на месте юрты манапа выросли первые крытые конюшни и сараи, в которых скотина отстаивалась зимой. Около них, среди прибрежных

кустарников, одна за другой стали подниматься крыши ветеринарного пункта, брынзоваренного заводика, травофуражной базы, магазина, школы, амбулатории. В центре Тянь-Шаня были созданы машинно-тракторные станции, зазеленели первые пашни. И, наконец, в 1936—1937 годах, когда коллективные хозяйства укрепились и встали на ноги, каждый день то в одной долине, то в другой киргизы-колхозники стали перетаскивать свой скарб из юрты в дома, начали справлять новоселье — праздник, в котором столы и кровати, оконные стекла и крылечки у порогов были полны для вчерашних кочевников всей прелести новизны.

Прощание с юртой — целая полоса в истории киргизского народа. Зайдем в юрту, осмотрим ее. Это сделать нетрудно: кроме пастухов на джайлоо, есть еще в долинах старые люди, до сих пор не желающие расставаться с тяжелым, но милым сердцу образом жизни; ведь с юртой у киргизского народа в течение веков были связаны представления об уюте, о теплоте очага, о семье.

«Где развел костер, там и жилище; где привязал коня, там и пастбище», — гласила киргизская поговорка, и в ней звучала гордость за юрту, за свое жилье. Когда делали новую юрту, киргизы устраивали пиршество и на нем бросали вверх баранью голову, говоря: «Пусть из этой юрты всегда идет дым! Да не погасает в ней пламя!» Кто из путешествовавших по Тянь-Шаню не запомнил гостеприимных юрт чабанов, пропахших дымком и терпким кумысом. Посреди юрты — очаг, над котлом поднимается пар, вечером он заслоняет звезды в тюндюке — верхнем отверстии юрты. А полоса лунного света из тюндюка в юрту! А лохматая киргизская овчарка, которая просовывает морду внутрь юрты, и в ее холодном зрачке, дрожа, вытягивается пламя очага!

Но зимой? В непогоду? В буран?.. Есть у того же Аалы Токомбаева стихотворение «Юрта». Сидят киргизы, расхваливают свое войлочное жилье, автор пишет: «...А я подумал: хватит! Чтоб юрту хорошо узнать, была бы вьюга кстати». И вот («в горах по-

года, как дитя, капризничает часто») внезапно поднялась непогода, на юрту налетел ветер, посыпал град, потом снег; капля за каплей стала течь вода по кошме, просачиваться сквозь дыры:

От дыма в юрте не вздохнуть,
Запахло мокрой шерстью.
Берет молодка в руки жердь,
Чтоб приоткрыть отверстье.
Но ветер гонит дым назад,
Глаза слезами застит,
И кашель душит. Словом, все
Тут беды и напасти.
Взбесившись, ветер рвет кошму
С удвоенным усильем.
Взметаются куски ее,
Точь-в-точь как грифов крылья...
Чтоб ветер юрту не свалил,
Крепим ее жердями.
А гости тянутся к огню
Озябшими руками...

Непогода прошла, и продрогшие до костей гости говорят:

...— Мы мечтали
В киргизской юрте побывать,
Ну вот и побывали!
Тепла ни на копейку в ней,
И что за чудо — люди
Все зимы зимовали так,
Не думав о простуде?

Мягкая улыбка автора, озаряющая эти строки — человека, который вместе с народом своим уже отвык от жизни в юрте, заставляет нас вспомнить тридцатые годы, когда киргизы переселялись из юрт в новые дома. По тропкам, на которые горные куропатки выходят клевать конский помет, тогда, что ни день, где-нибудь да ехали гости к колхозникам, справлявшим новоселье. И встречавший их на пороге нового дома хозяин не спрашивал гостей, какого они рода-племени: историческая вражда между высокогорными долинами тогда уже канула в вечность, стерлись выжженные на лошадях и овцах родовые гербы. Хозяин вводил гостей в дом, угощал, расспрашивал с достоинством о том, о сем. И лишь когда

после обильного угощения развязывались у них языки, бывало, улыбнется мельком хозяин, вздохнет:

— Эх, нету здесь очага посреди комнаты. А то бы на огонь кинул я для вас, дорогие гости, сухой полыни пучок. То-то был бы запах!

И гости тоже вспомнят знакомый всем приятный запах тлеющей в очаге полыни, начнут улыбаться. И спустя мгновение, словно дым, бесследно исчезало это воспоминание, быть может последнее воспоминание о жизни в юрте, о кочевой жизни.

Неузнаваемо с тех пор изменилась жизнь в тянь-шаньских горных долинах. Когда в последний раз, в 1953 году, я приехал в Нарын — центр Тянь-Шаньской области, к нему по всем дорогам — с горных пастбищ и из ущелий — на грузовиках, и на велосипедах, и верхом на лошадях двигались толпы людей. Все ехали к окраине города, к долине, где артисты столичного Киргизского оперного театра, прибывшие на самолете, должны были показать спектакль «Айчурек». И из города сюда шли вереницы людей.

После этого грандиозного зрелища — спектакля, на котором присутствовало больше пяти тысяч человек, — город Нарын показался мне небольшим. Плоскокрышие домики из самана, лишь некоторые двухэтажные. Миниатюрные садики — и то далеко не у каждого дома. Даже нарынские предприятия — лесозавод, и кирпичный завод, и мясокомбинат, и фабрики кожевенная, швейно-обувная, кондитерская — не делают город большим, может быть оттого, что затерялся он в широкой долине, среди гор, холмов и скал. Поля и огороды за городом хоть и обширны, но и они кажутся маленькими, потому что видно, как врезаются в ущелья: нет тут ощущения бескрайности.

И все же человеку, бывавшему раньше в Нарыне, смотреть на все, что здесь видишь, странно и радостно. Как оживленно, как весело на магистральном шоссе! Одна за другой бегут колхозные полуторки с бидонами молока, с овощами, с шерстью, и трехтонные машины со строительным лесом, стеклом, концентратами и жмыхом для скота, с промтовара-

ми, медикаментами, и «пикапы» со свежими газетами, журналами, кинокартинами, почтой, и тяжелые машины «Китайторга», поворачивающие от Иссык-куля на юг: через весь массив тянь-шаньских хребтов они идут в Западный Китай. На шоссе видны и велосипедисты, и всадники, и пешеходы, шагающие из близлежащих селений в город, и трактор, а то и комбайн, переходящие с одного поля на другое.

С одного на другое... Но ведь в тридцатом году тут не было ни одного поля! На холмах торчали лишь редкие травинки: бывало, дунет ветер, и холмы начинали странно белеть. За эти годы ученые Киргизии разрешили проблему высокогорного земледелия. Пшеница совершила на Тянь-Шане свой «горный поход», поднялась из Чуйской и Иссык-кульской долин на высоту до трех тысяч метров над уровнем моря, а кое-где и выше, и заполнила хлебами все высокогорные долины республики.

Хребты Тянь-Шаня давно превратились в живые, все время изменяющиеся диаграммы успехов работ советских опытников-селекционеров: проходит год-два, и еще несколько десятков метров высоты отвоеваны у гор для пшеницы, картошки, капусты, свеклы, баклажан, помидоров, моркови. Вверх и вверх, все время вверх—вот путь успехов киргизских селекционеров!

Поезжайте в урочище Куланак. Урочище... Это слово лишено смысла теперь, когда видишь обширное селение и вокруг огороды, поля: среди них голубые поля лекарственного мака. Мак — в сердце Тянь-Шаня! Но еще известней Куланак садами: советские люди впервые в Тянь-Шаньской области заставили тут плодоносить яблони, сливы, сибирскую вишню и уссурийскую грушу, арбузы, малину, смородину, даже виноградные лозы. Уже изрядное количество лет куланакский плодопитомник дает саженцы для всех тянь-шаньских долин. Фрукты тоже совершили в Киргизии свой «горный поход».

Когда заходишь в здание Куланакской школы-десятилетки, вспоминаешь рассказ Исы Коноевича Ахунбаева, президента Киргизской Академии наук:

«Однажды, когда мой отец был еще молодой, поехал его богатый сосед бай Кыдыр по торговым делам на юг, к границам Узбекистана. Увидел там хлопок, купил два фунта сырца и привез домой. Жена обернула мягким белым пухом маленького сына. Далеко пошла молва о подарке бая.

Приходят люди к Кыдыру. Спрашивают:

— Кыдыр-аке, что это?

А хитрый бай и тут обманывает:

— Это, — говорит, — я в горах кусок облака подстрелил. Подобрал и привез.

Люди верили, а жадный бай за плату показывал чудо».

Одна долина Тянь-Шаня была в ту пору так отрезана от другой, будто находились они на разных планетах. Революция соединила разрозненные киргизские племена в один народ. В особенности советская школа приблизила их друг к другу и открыла перед ними весь мир.

В глухих горных районах школы появились в тридцатые годы. Ученики в ту пору приносили с собой в школьную мазанку, кроме чернил, куски бараньего сала: его клали в плошки для освещения. В одной из таких первых киргизских школ учитель после двухгодичного обучения сказал школьникам: «Все, что я знал, — сказал, о чем еще буду говорить?» В то время не всякий учитель мог показать на географической карте Африку. Давние времена! В Киргизии теперь созданы кадры образованных учителей.

Задержимся на несколько минут возле школы. Не для того чтобы зайти в светлые классы и посидеть на уроке тригонометрии — это вряд ли вам интересно: тут та же программа, те же учебники, что и в Москве, на Урале или на Украине, где учатся ваши дети или где учились вы. Нет, задержимся, чтобы увидеть неповторимые детали своего, тянь-шаньского быта.

Звонок... Выбегают школьники на перемену. В первом классе уроки уже кончились, и несколько восьмилетних мальчиков и девочек, приехавших с пастбищ, подходят к привязанным лошадям, при-

торачивают к седлу сумки с книгами и тетрадями, подводят лошадей к большим камням, с камня легко взбираются на седло и вскачь уезжают.

Играют в волейбол старшеклассники. Тут же можно увидеть национальную спортивную детскую игру ит-тартыш: два мальчика стоят на четвереньках спиной друг к другу, за их шеи закинуты концы веревки, идущей от груди и пропущенной между ног; упершись в землю, мальчики изо всех сил тянут веревку, каждый к себе, пока один из них не кувыркнется через голову.

В песне, которую я записал в Куланаке, есть такие строки: «Твоя красота, как бумага, чиста»; этот образ принесла сюда школа. Она принесла в киргизский язык неизмеримое количество понятий и слов со всех концов мира. И самый мир раздвинулся перед киргизским народом. Из глубины Тянь-Шаня люди стали запросто ездить на поездах и самолетах в Москву, стали ездить и за границу. Люди Тянь-Шаня сменили повод лошади на руль трактора, на штурвал комбайна, на стетоскоп врача, на... Все богатство профессий открылось им. И мечты их простираются далеко. Всех тяньшаньцев волнует сегодня проблема Большого Нарына. Киргизские ученые подсчитали, что река Нарын по запасам энергии примерно равна Волге.

Остановите вашу машину возле Нарына, вы услышите гул перевертываемых камней и, если дело будет осенью или зимой, услышите еще плачущий голос льда, пытающегося сковать с берегов бушующую реку, по-особенному тоненько подпевают маленькие водопадики, звенит пена, гудит прибой в заливчике у ваших ног, и звуки эти, сливаясь, отзываются где-то высоко протяжным гулом. Пройдет немного лет, и река умолкнет, на ее берегах вырастут плотины двадцати мощных электростанций, которые дадут больше четырех миллионов киловатт электроэнергии. Это еще резче изменит жизнь в высокогорных долинах Тянь-Шаня: в спокойных голубых водах нарынских водохранилищ отразятся корпуса новых заводов, шахт, рудников. Первая гидростанция этого бу-

дущего Нарынского каскада — Уч-Курганская — уже воздвигается в низовьях Нарына: стройка Большого Нарына начата!

И тут мне вспоминаются слова Мадана Моханлала Атала, известного индийского общественного деятеля: «Иной раз, давая волю своей фантазии, я мечтаю о том, как ученые усовершенствуют телевидение до такой степени, что простые люди всего мира из своих скромных жилищ смогут увидеть, что Советский Союз делает для своих граждан. Тогда они узнают правду, ибо тот, кто видит воочию, начинает верить. Тогда спадут надетые на их глаза шоры. Сорвана будет паутина лживой антисоветской пропаганды, паутина клеветы, распространяемой злонамеренными людьми. Люди узнают истину».

Да-а, если бы простые люди мира могли увидеть из своих скромных жилищ... Но здесь мы прервем Мадана Моханлала Атала! И скажем: уже! Уже ученые усовершенствовали телевидение до такой степени. Десять тысяч километров радиорелейных линий будет построено в нашей стране в нынешней пятилетке. И львиная доля их приходится как раз на Киргизию. Это изобретение дает пока наибольший эффект в горах: антенны одной станции должны «видеть» антенны другой станции, хотя бы одна от другой были и очень далеко; ничто не должно их заслонять. А где найти для этого лучшие условия, чем в республиках, изрезанных цепями горных хребтов!

На гребнях нескольких тянь-шаньских хребтов уже построены над пропастями на маленьких каменных площадках обшитые железом ретрансляционные станции, на крышах которых стоят странные установки, по форме напоминающие большие уличные репродукторы, но не цельные, а сквозные, словно сделаны они из металлических кружев. Это антенны радиорелейных линий. По одному аппарату радиорелейной линии на одной ультракороткой волне можно вести одновременно двадцать четыре телефонных разговора. В ближайший год-два все горные долины Киргизии будут связаны радиорелейными линиями.

Но этого мало—по радиорелейным линиям можно вести и телевизионные передачи! В трех городах, расположенных у подножий Тянь-Шаня — Алма-Ате, Ташкенте и Фрунзе — воздвигнуты телецентры. Это значит, что в ближайшие годы на любом тянь-шаньском горном пастбище (не говоря о городах) чабаны смогут, сидя у телевизоров, смотреть передачи трех мощных станций по выбору — кинофильмы, спектакли, концерты, передачи со стадионов, из научных лабораторий, из заводских цехов и колхозов.

Но и это еще не все. Надо думать, скоро осуществится и мечта Мадана Моханлала Атала. Киргизия и Таджикистан — ближайшие из советских республик соседи Индии. В течение веков их отделяли и отдаляли от Индии Гималаи — высочайшая в мире система горных хребтов. Теперь благодаря радиорелейным линиям Гималаи могут приблизить их друг к другу, как никогда. Хотя Индия и за горами, не за горами время, когда на Гималаях будут построены ретрансляционные станции (всего несколько!), и тогда народы советской Средней Азии, не выходя из своих жилищ, смогут увидеть собственными глазами, как живет индийский народ, а индийцы, не выходя из своих жилищ, смогут собственными глазами увидеть, как живут люди в Киргизии, в частности на берегах Нарына — великой киргизской реки, в самом сердце Тянь-Шаня.

6. С ДВУСТВОЛКОЙ В РУКАХ

Почти у каждого киргизского чабана в юрте висит ружье центрального боя: где овцы — там и волки. Особенно много волков на высокогорных пастбищах Тянь-Шаня. На заре часто слышишь, как воет волчья стая. А зимой, когда беснуется вьюга, тянь-шаньские волки делаются нахальными. Прикрываясь камнями и вьюгой, подкрадываются они против ветра к отаре. Сидит на лошади чабан, кутаясь в овчинную шубу, под самым ухом чуть слышно посвистывает ствол ружья, висящего за плечами. Вдруг

смятение среди овец, жалобное блеяние, выстрел... С еще дымящимся ружьем подъезжает чабан, видит: волки зарезали двух овец, одну утащили, другую не успели, бросили. Наугад в пелену роящейся вьюги чабан стреляет еще раз, чтоб отогнать подальше волков. И горное эхо повторяет звуки выстрела, затихая вдали.

Известный натуралист П. А. Мантейфель говорит, что каждый волк приносит нашему государству убытка больше, чем на 250 рублей золотом. А в горах Тянь-Шаня много этих «серых воров». Так много, что пользуются этим и обыкновенные воры, — крадут колхозных овец, режут их и потом списывают, составляя акт: «зарезаны волками». К сожалению, в Киргизии еще иногда волки покрывают воров! Это о них, о колхозных ворах, Алыкул Осмонов сложил гневные строки:

Когда овцу он украдет у чабана,
На пользу не пойдет ему она:
Он ест не мясо — черное проклятье,
Он пьет не жир, а яд он пьет до дна.
И жеребенка он украл из табуна,
И бочка маслом у него полна.
Он ест не масло — черное проклятье,
Не чай он пьет, а яд он пьет до дна.

В центральном Тянь-Шане много превосходных пастбищ. «Эти высокие пастбища, бесснежные зимой, потому что они выше зимних снеговых туч, но ниже предела вечного снега, составляют замечательную особенность высоких горных стран Средней Азии, зависящую и вообще от сухости тамошнего климата и преимущественно от его осенней сухости», — писал в свое время Северцов. Мы не поедем с тобою, читатель, по знаменитым пастбищам центрального Тянь-Шаня, ведь мы побывали уже на Сусамыре, где в общем то же — те же новые овцы с тонким руном, те же выросшие в долине культурные животноводческие поселки, та же индустриальная сельскохозяйственная техника. Перечислим лишь самые крупные пастбища: на севере — зимние бесснежные пастбища Кочкорка, Джумгал и Кара-Куджур, на юге — летние

пастбища Аксай и Арпа, прославленные своими травами, наконец к западу от Нарына — летние пастбища вокруг озера Сон-куль. Но на Сон-куль все же съездим.

Это одно из красивейших высокогорных озер. Его имя в переводе как раз и значит «Красивое озеро». Сурова его красота, дика! Кольцо невысоких гор со снежными вершинами окружает его. С гор то и дело налетает ветер, и тогда на зеленовато-серых волнах будто качается стая белых гусей — всюду белеет пена. Отлогие берега усыпаны галькой, кое-где в заливах зеленеет осока и ежеголовка. А на пастбищах вокруг озера сереют стойбища юрт и пасутся бесчисленные отары овец, табуны гулевых кобылиц.

Даже среди лета на пастбищах этих под утро иней ложится на травы. Взойдет солнце — травы и цветы оттаивают. Не успеваешь погреться на солнышке, как сгустившиеся тучи неожиданно разражаются дождем, а то и метелью, занавешивающей озеро снежной пеленой. Укрываешься от непогоды в юрте: глухо шумит в стороне озеро, дым от очага висит пологом над головой. Но туча быстро иссякает, выходишь — и опять сияет солнце, а от мокрой неестественно яркой травы идет пар.

Особенно сиротливым кажется берег Сон-куля оттого, что не видишь у воды фигуры рыболова: в озере рыбы нет, оно лежит на высоте трех тысяч сорока семи метров над уровнем моря и зимой промерзает до дна. Зато птиц на Сон-куле! Летом на утренних и вечерних зорях воздух стонет от крыльев кряковых уток, чирков, чернети, атаек, чибисов, куликов и от гнусавых криков редких у нас в стране индийских гусей, которых киргизы так и называют — манка-каз (гнусавый гусь).

Где дичь — там и охотники. На Сон-куле часто слышишь выстрел охотничьего ружья. А когда встречаешь охотника, возле него обычно стоит, настороженно глядя на вас, и его собака тайган — киргизская борзая. Поджарый, лохматый, остромордый тайган выгодно отличается от остальных борзых тем, что обладает чутьем. Он великолепно бегает по го-

рам и не боится никаких круч, благодаря замечательному инстинкту равновесия. С тайганами в Киргизии охотятся за лисами, косулями, козерогами, архарами и даже за волками. Но чаще всего за сурками, отрезая их от нор. Хорошо натасканный тайган помогает своему хозяину добыть за сезон несколько сот сурков.

«Если охотник опытный, у него и лунь берет дрофу». Киргизы по сей день охотятся с ловчими птицами. На Сон-куле, как и на всем высокогорье Тянь-Шаня, не редкость встретить охотника с соколом, ястребом, беркутом. Одно из самых больших удовольствий в жизни киргиза-охотника — выпустить охотничьего сокола на стаю летящих гусей. Сокол, «птица высокого полета», врезается прямо в стаю, вступает с гусями в борьбу на воздухе, ход этой борьбы — острое спортивное зрелище. Киргизы с сердцем спортсменов не наговорятся о своих соколах, но профессиональные охотники предпочитают ястребов: они добычливей, в особенности славятся туйгуны — белые самки ястреба-тетеревятника. Туйгуны берут добычу не только в воздухе, как соколы, но и на земле и на воде. Они справляются даже с зайцами, даже с дрофами. Однако ни сокол, ни туйгун, конечно, не могут сравниться с «парящей смертью» — ловчим орлом-беркутом.

С невероятными ухищрениями из гнезд, свитых на неприступных скалах, достают охотники птенцов беркута и потом искусно воспитывают их. Охотничий беркут (как правило — самка, самец слишком слаб, чтобы взять волка, да и с лисой не всегда справляется) сидит обычно в темном, специально отгороженном месте дома, прикованный цепью. На голове у беркута маленькая кожаная шапочка с цветным хохолком. Когда киргиз собирается на охоту, он натягивает беркуту шапочку на глаза, чтобы тот был спокойней, поднимает беркута на левую руку, обмотанную толстой кожей, и кладет руку на развилок палки-рогульки, другой конец которой упирает в стремя седла, иначе держать на руке огромную птицу было бы тяжело.

Выбрав место охоты, хозяин беркута приподнимает с его глаз шапочку. Беркут расправляет крылья и круто взлетает на большую высоту. Высмотрев лису, волка или косулю, он камнем кидается вниз, садится на голову своей добыче и вступает в борьбу. Тем временем охотник во весь опор мчится на лошади к нему среди скал и ущелий. Ему дорога каждая секунда: если хищный питомец его не увидит быстро привычной фигуры своего пестуна и не услышит повелительного оклика «Кий-ту!..», он начнет разрывать лису, портить ценную шкуру, а почуяв себя вне хозяйской власти, поняв, что мясо можно добыть и без него, того и гляди распахнет крылья и улетит навсегда в скалы горного гребня.

Хорошо, интересно сопутствовать профессиональному охотнику-киргизу. Но еще лучше бродить по ущельям и скалам Тянь-Шаня с двустволкой в руках в небольшой компании охотников-любителей. Тяньшаньские охотничьи дни мои, пожалуй, лучшие дни жизни! Когда у тебя в руках ружье, зрение и слух так напряжены, так остры, что на всю жизнь врезаются в память картины природы, всегда в горах неповторимые, всегда неожиданные!

Выезжаешь верхом задолго до зари. Ущелья гор затянуты предрассветной дымкой, на траве роса. Слышно только, как у коня селезенка играет: «ух-туп, ух-туп...» Да когда въезжаешь на узкий карниз, звучат стремена, ударяясь о камни. Среди скал у заросшего кустами ручья находишь укромное место для охотничьего лагеря, оставляешь там вьюки и лошадей. И, сжав в руке ружье, углубляешься в туман по тропинке, рябой от камней, прислушиваясь к каждому звуку. В тишине гор слышно все: где-то пустячно гремит ручей, камень сорвался из-под ноги, покатился вниз, и там внизу вдруг вспорхнула, испуганная катящимся камнем, какая-то птица — может быть, кеклик — каменная куропатка? Стоишь не дышишь, стараешься уловить, куда она перелетела.

Утренний туман относит в сторону, встает солнце, и по ущельям начинают бежать черные тени. Послышался «тонкий металлический звук, будто кто-то

водит тупым напильником по железу», — очень точно описал известный в Киргизии охотник В. Паршков крик улара — горной индейки. На заре улар криком этим приветствует солнце. Но если звук тупого напильника по железу зазвучит днем, горные козероги — киики — знают: улар предупреждает их об опасности — то ли барс бродит вблизи, то ли человек. Солнце постепенно начинает согревать камни, и от них слабо излучается тепло. Охотничий день начался!

Об охотничьих удачах и неудачах не буду рассказывать: эта тема без дна, начнешь рассказывать — не остановишься... Но картины тянь-шаньской природы! Крадешься к стайке уларов мимо скалы, покрытой блестящим темно-бурым «загаром». Поднимаешься в обход по склону, и на перевале, в зеленой раме пастбищ, перед тобой возникает прозрачное видение ледяной вершины. А сбоку — еще цепь серебряных вершин, под ними темнеют леса. В стороне висит неподвижная туча, словно зацепилась за скалы и застряла. А в долине блестит озерко, будто кто под гору положил небольшое овальное зеркальце. Так хорошо, что и стрелять не хочется. Садишься, позабыв об охоте, смотришь вокруг, не оторвешь глаз.

Наверно, так вот, сидя и вдыхая чистый воздух вершин, сложил свою безыскусную песню, записанную поэтами С. Фиксиным и К. Кулиевым, тянь-шаньский каменщик Мамбеталы Джолочиев:

Я с рождения рос в горах,
Где глаза мои наполнялись сверканьем вершин.
Но красоту этих залитых солнцем гор
Я вижу, словно впервые в жизни.
После радостного труда
Яснее кажутся травы,
Выше кажутся горы.
Я отдыхаю.

Подносишь к глазам бинокль, — и видишь высоко среди скал облачко пара, голубоватое, еле заметное: это пар от дыхания стада архаров. Потом объектив бинокля задерживается на орлином карнизе:

некоторые орлы сидят с туго набитым зобом, неряшливо опустив крылья, предаваясь отдыху. Сидит орел — похоже, кумай, — вытянет шею, снова втянет в себя, и тогда видно, как поднимается на загривке полуошейник из длинных белых перьев.

Не успеваешь погрузиться в созерцание орлиного бытия, как откуда-то сбоку резко задувает холодный ветер, и меж скал появляется туча, буквально налетая на перевал. Непогода стирает все краски, окутывая скалы туманной пеленой. Посыпался снег — сухой и жесткий. Спасаясь от ветра, уходишь назад под гору. Чем ниже, тем мокрей становится снег, и уже журчат ручейки под ногами. А тучи делаются все воздушней, обдавая вас слепящим туманом, из которого, наконец, вновь рождается солнце Тянь-Шаня.

В охотничий лагерь возвращаешься к вечеру: ночь на Тянь-Шане наступает сразу, как только солнце спустится за горы. Вешаешь охотничьи трофеи и патронташи на выступы скал, присаживаешься к костру. Взлетают к звездному небу языки пламени, и тени наши уходят от нас за километр, путешествуя по далеким утесам и скалам. Рядом в ручье вода звенит, как уздечка. И за охотничьей трапезой начинаются рассказы.

Как и охотники всего мира, киргизские охотники тоже любят прихвастнуть. Вот как повествует об этом сказка о Джееренче Чечене:

«...Как-то раз Тюлэ Мурза хвастался по своей привычке перед людьми, что, выстрелив в дикого козла, он сразу одной пулей попал ему в кончик уха и в копыто. Стыдясь людей, его отец, красноречивый и славный Джееренче Чечен, захотел выручить сына.

— Э-э, сынок! — сказал он. — Оказывается, ты выстрелил тогда, когда дикий козел копытом почесал конец уха».

Не бывает в Киргизии охотничьего костра и без разговоров о браконьерах. Оно понятно: грозной опасностью для природы Тянь-Шаня стали браконьеры! В целых горных районах, недавно еще изобиловавших дичью, за последние годы звери и птицы

уничтожены начисто. Они сохранились только в глухих, труднодоступных местах. Кроме небольшого числа настоящих охотников-любителей, никто в Киргизии со сроками охоты не считается. Уже многие годы запрещена охота на маралов — благородных оленей, но их продолжают добивать совершенно открыто. Только в диких лесах Кавак-тоо и на сыртах сохранилось два последних небольших стада маралов. Еще год-два — и от них останется лишь воспоминание.

На горных косуль — эликов — и на козерогов — кииков — охота разрешена только на самцов и только зимой. Но кто считается тут с запретами?! Их бьют во все времена года — и самок и детенышей. Бьют из двустволок, бьют и из винтовок—милиционеры и военные, хотя охота с винтовками категорически запрещена. На Иссык-куле бьют лебедей и уток с моторных лодок, ослепляя их электрическим светом. То и дело в ущельях Тянь-Шаня встречаешь на легковых машинах и городских охотников, нередко ответственных работников, таких, которые стреляют во всю живность: скворец так скворец, грач так грач, увидят плывущую самку ондатры с детенышами, пальнут и в нее. Охотничья инспекция при громадных простр'анствах и укромных уголках гор практически бессильна на Тянь-Шане.

Чтоб спасти зверей и птиц Киргизии, необходимо резко повысить ответственность за расхищение богатств природы: надо приравнять браконьеров к расхитителям государственного имущества. Подумать только, советские люди прилагают колоссальнейшие усилия, чтобы сделать Тянь-Шань богаче — воздвигают сотни промышленных предприятий, выводят новые породы животных и новые сорта растений, даже переселяют сюда растения, зверей, рыб, неослабно заботясь об этих пришельцах издалека. А местных зверей и птиц — исконное богатство Тянь-Шаня — они позволяют расхищать и уничтожать с поистине детской беспечностью только потому, что те существуют от века и в них не вложены государственные рубли. Кроме повышения ответственности, как меры

борьбы с браконьерами, мне хочется поддержать и предложение одного киргизского охотника-старика, облеченное им в необычную для нас форму, пропетое под аккомпанемент комуза у охотничьего костра.

Он пел сказание о Хожо-жаше, легендарном охотнике. Киргизские акыны часто в старинные сказания вдруг вплетают современную острую тему; народные эпические обороты сталкиваются с сегодняшними словами, и это придает им неповторимое своеобразие. Так и этот певец. Рассказывая в песне о теке — старой козе, которая «отговорила» от Хожожаша всю дичь, он вдруг запел о пуле, прилетевшей издалека и ранившей насмерть козленка этой теке. Когда Хожо-жаш увидал убитого пулей козленка, «от горя его печень раздробилась в куски», но он «посыпал солью свое сердце» и поклялся «отомстить браконьеру». Он настиг этого браконьера «с нечестивой душой», оказавшегося сельским завмагом, и отнял у него ружье. И дальше устами городского «аксакала в очках» певец устанавливает правило: отныне ружье каждого браконьера судьи будут отдавать тому, кто браконьера поймает, тогда все глаза в кыштаках будут «смотреть, куда смотрит ружье», а «там, где глядят тысячи глаз», браконьеру делать нечего. Я бы предложение этого охотника-певца немедленно ввел в жизнь: пусть на помощь охотничьей инспекции в каждом районе придут тысячи глаз!

Меньше других пострадали на Тянь-Шане от браконьеров архары, живущие на самых гребнях гор среди нагромождения скал, где охота на них изнурительна и трудна, и барсы, которые среди тех же скал «охотятся» за архарами. Охота на архаров в Киргизии теперь тоже запрещена. А на барсов, или, как их еще называют, снежных леопардов, охотятся главным образом звероловы зообаз: они ловят барсов живьем, и потом из Киргизии отправляют в зоопарки нашей страны и Европы. Вот что рассказал мне о «своем третьем барсе» Иван Федорович Братько, охотник Фрунзенской зообазы.

Он поставил капкан на нешироком скалистом карнизе невдалеке от гребня хребта. На карнизе

этом среди камней лежали полоски грязного снега, на одной отпечатался след лапы крупного барса. Братько регулярно объезжал, проверял свои капканы. И вот однажды, подходя к этому капкану (коня зверолов оставил внизу, в шестистах метрах, так как тропа круто поднималась среди отвесных скал — никак не проедешь верхом), Братько уже издалека увидел зверя. Его передняя лапа была зажата в тяжелый стальной капкан. Когда охотник подошел, барс дернулся, угрожающе зарычал, ненависть вспыхнула в его опаловых глазах. Братько посидел рядом с барсом, покурил, отдышался от подъема в гору. Потом выволок клетку, спрятанную им невдалеке в трещине между скал, под ветвями арчи.

Деревянную клетку эту с металлической решеткой он сделал после неудачи со своим первым барсом. Барсы нервны, не то что козероги! Поймаешь козерога, везешь его поперек седла на коне, и он, только что пойманный дикий житель высокогорья, смело щиплет из рук траву, пьет из фуражки воду. Когда Братько, связав своего первого барса, приторочил его к седлу, конь от страха дрожал и храпел, барс тоже храпел, рычал и неожиданно сдох от шока. Так и не довез его охотник до зообазы.

Теперь с клеткой в руках подошел Братько к зверю сзади и начал «надевать» клетку на барса. Зверь бешено бил хвостом и отталкивался задними лапами, пытаясь извернуться и разорвать клетку зубами. Как силен барс, станет ясно, если сказать, что прыгает он на пятнадцать метров в длину и нападает на лошадей, даже на архаров — громадных баранов, вооруженных мощными витыми рогами. Но настойчивость охотника и его ловкость в конце концов победили: туловище и голова барса оказались в клетке. Братько освободил из капкана переднюю лапу зверя и быстро захлопнул дверцу. Глядя, как барс яростно набрасывается на прутья клетки, стараясь сломать ее зубами, зверолов опять посидел, покурил.

Потом взвалил тяжелую клетку с барсом себе на плечи, дотащил ее до коня, взгромоздил клетку на

седло и, ведя под уздцы коня, косящего от страха глазами, по широкой расселине в отвесных скалах двинулся вниз в долину. Там он повел своего коня не по проезжей дороге, а сторонкой, далеко обходя селения: Братько был учен! Незадолго до того, также в клетке, вез он своего второго барса; в попутных селениях все сбегались поглазеть на него, ребятишки «ширкали» сквозь прутья клетки палками, дразнили зверя. И тот — второй его барс — тоже неожиданно сдох от нервного шока. Теперь своего третьего барса Братько удалось довезти до зообазы. Зверь там прожил несколько недель, привык к неволе. И тогда его отправили поездом в один из далеких зоопарков, кажется в Германию.

В центральном Тянь-Шане для любителей природы есть еще дикие, неосвоенные уголки. Особенно интересен один маршрут, и мы его вам предлагаем. Отправьтесь из Нарына по шоссе на юг в Атбаши, по пути осмотрите конный завод № 113; Атбаши с древнейших времен знаменит лошадьми, недаром «ат-баш» как раз и значит «лошадиная голова». Оттуда поезжайте дальше к югу и сверните от шоссе в ущелье Атбашинского хребта к Таш-Рабату. Развалины этого средневекового караван-сарая напоминают окаменелый стан кочевников с большой каменной юртой в центре; по преданию, Таш-Рабат построен ревностным поборником ислама Мухаммедом Султаном, который повелел будто бы прибивать гвоздем чалму к голове каждого, кто откажется ее носить. Перевалите хребет, чтобы поглядеть на Чатыр-куль — озеро непуганых птиц, почти у самой границы Синьцзяня.

Обязательно загляните там в Тургарт — «Конец пастбищ», в пещеры первобытного человека. От них по охотничьим тропам первобытных охотников, обойдя стороною Аксай — знаменитое тянь-шаньское пастбище, опять перевалите Атбашинский хребет и, идя на восток, по руслу реки Атбашинки, вступите в дикие леса Джаныджер-Улана. Там еще во всем богатстве сохранился мир тянь-шаньских птиц и зверей! И дальше начните медленный подъем в горы по

тропам, идущим к востоку. Тропы эти в конце концов приведут вас в совершенно особую часть Киргизии, не похожую на все остальное, на тянь-шаньские сырты.

7. ХОЛОДНАЯ ПУСТЫНЯ

Странное впечатление производят сырты, когда на них попадаешь впервые. Поднимаешься на перевал, ждешь увидеть по ту сторону такие же крутые склоны и горы еще более высокие. А вместо этого на огромной высоте (выше трех тысяч метров над уровнем моря) в центре Тянь-Шаня глазам открывается впереди равнина — правда, вся в пологих увалах, вся усыпанная камнями разной величины — но все же равнина! В остальной части Киргизии есть кое-какой порядок в том, как тянутся горные цепи, перемежаясь с глубокими долинами. На сыртах нет и намека на какую-либо стройность. Стихия нагромоздила тут ледяные глыбы причудливой формы и, как бы поленившись, оставила между ними ровные, похожие на степи плоскогорья.

Сырт в переводе «спина». На сотни километров тянется эта широкая и плоская «спина» тянь-шаньских хребтов. Мощные ледники лежат — некоторые прямо на этой спине, а некоторые рядом. Из них сочатся реки. Они текут по сыртам местами так медленно, что бывает: переправляется через речку отара овец или подует против течения ветер, и от этого вода останавливается и даже начинает иногда течь по руслу в обратную сторону. Тропы вдоль рек то и дело пересекают болотца, копыта лошадей чавкают в грязи. Летом по ночам речки покрываются ледком. Много рассыпано по сыртам и маленьких блюдцеобразных озер: мерзлый грунт не пропускает воду в глубь почвы, и из-за вечной мерзлоты образуются заболоченные пространства.

Сурова, неприветлива, уныла природа сыртов. Почти непрерывно дуют ветры, летом они колют вас ледяными иглами, посыпают снежной крупой, по ночам одевают холмы инеем. Зима на сыртах холоднее,

чем на Новой Земле. Да и лето, как на Новой Земле, только на месяц короче.

Чернеющие вдали морены ледников и громадные валуны, покрытые лишаями, — все возвращает нас в далекое прошлое нашей земли. Недаром, когда сюда приехала экспедиция ленинградских ученых, им казалось, что вот-вот «появится из-за холма волосатый мамонт и преследующий его человек с каменными орудиями».

«Здесь мы видим перед собой, — писали они, — как бы макет ледникового времени, кусочек законсервированного ландшафта той эпохи».

И вот мы едем по сыртам, и перед нами из-за холма появляется не мамонт, а трехтонный грузовик, прикрытый брезентом, и среди ледяных глыб нам встречается человек — не с каменными орудиями, а тракторист, возле него бочка с горючим и трактор. С недоумением задаешь себе вопрос: «Зачем они тут, в тянь-шаньской холодной пустыне? Уж не хотят ли нас уверить, что здесь возможна не только жизнь, но целесообразна и современная хозяйственная деятельность человека?!»

Ведь сколько ни ехали мы по сыртам, сколько ни глядели, растения на них под стать всему остальному! Они торчат редкими пучками, чередуясь с голой, растрескавшейся, промерзшей землей. В бассейне Арабельсу и Кум-тере мы видели болотистую тундру без единого деревца или кустика. В долинах Карасая и Ак-шийрака над солончаковой пустыней ветер вздымает песчаные смерчи и пропитанный морозной пылью воздух всегда в дымке и мареве. Уж не хотят ли нас уверить, что редкие подушки дриадоцвета, имеющие вид небольших лиловато-зеленых барханов, или встречающиеся кое-где луга волосистой кобрезии — осоки, растущей кольцами, такой жалкой, что киргизы называют ее «волосами старухи», или, наконец, дикие травы и злаки, выросшие в затененных местах да на укрытых от ветра увалах, напоминающие видом густую жесткую щетку, — неужели нас хотят уверить, что это богатейшие пастбища?!

Чего ж уверять, если оно так и есть. Эти самые

«волосы старухи» хоть растут и редко, пучками, но питательны необыкновенно, особенно любят их лошади. Корявые кустики полыни (один далеко от другого, и листья распластаны по земле) тоже питательны. О густых щетках типчака — главного тянь-шаньского злака — и говорить нечего! Даже темно-фиолетовые ковыльные степи Сары-Джасских сыртов хоть и не первоклассное, все же вполне пристойное пастбище. Однако не в этом гвоздь дела.

Гвоздь в том, что сырты — пастбища зимние! Именно зимние — хоть это и странно звучит, когда говоришь о местах, где климат, как на Новой Земле. Причуда здешнего климата в том, что снег тут выпадает главным образом летом: падает — тает, падает — тает, а зимою с августа и по май благодаря почти полному отсутствию испарений на сыртах снега не бывает. Зимние же снеговые тучи из соседней Иссык-кульской долины не поднимаются так высоко, чтобы «перевалить» на сырты. Как раз выше туч и гонят иссыккульцы своих овец и лошадей сюда, где всю зиму могут они пастись, питаясь пучками замерзшей, но сохранившейся в этом гигантском «холодильнике» травы.

Вместе со стадами в «холодильник» этот приходят и люди, киргизские животноводы. А куда бы советский человек ни пришел — давно всем известно! — он сейчас же начинает переделывать природу, приспосабливать ее к себе. И холодная пустыня Тянь-Шаня перестала быть пустыней. Из Иссык-кульской долины пролегли сюда автомобильные дороги. Возле ледяных глыб (кое-где по соседству с найденными археологами пещерами первобытного человека) построены культурные животноводческие поселки со школами, электричеством и своими радиостанциями. Рядом зазеленели опытные огороды и первые искусственные луга сеяных трав. Буквально за несколько лет из «ледникового периода» шагнули сырты в наш век социалистической индустрии, в современный технический быт. И хотя пока на сыртах лишь островки этого нового быта, пройдет еще сколько-то лет (по опыту знаем — немного!), и тогда вряд ли найдешь

тут такое дикое место, где кому-нибудь сможет причудиться, что вот-вот появится мамонт из-за холма.

Чем дальше к востоку, тем холмы сыртов делаются выше, увалы круче, долины глубже, и, наконец, опять попадаешь в царство вершин, пропастей, ущелий, трещин и глубоких каньонов, но не как в центральном Тянь-Шане — не зеленых, а закованных в броню вечных льдов и снегов. Это величайший горный узел Хан-Тенгри, киргизская «арктика».

Над всею Киргизией — над ее долинами и ущельями, над альпийскими пастбищами, над скалистыми кручами и ледниковыми цирками — вздымаются к небесам ледяные вершины. С их плеч по расселинам медленно текут глетчеры, мощные и угрюмые, усыпанные обломками скал. Сюда, в такую высь, не забредают архары, не залетают дикие индийские гуси. И на протяжении тысячелетий жизнь в этой суровой стране теплилась лишь в ледниковом чае — сине-зеленых водорослях, растущих редкими колониями на поверхности некоторых глетчеров. Недаром в Западном Китае горы эти, кроме Небесных, величают еще и Мус-Таг — «Ледяными горами». Как раз вблизи синьцзяньской границы, в средоточии горных цепей, поднимает к небу свою пронизанную солнечным светом голубоватую шапку пик Хан-Тенгри — «Повелитель духов», гигантская, окованная льдом, трехгранная мраморная пирамида.

Видный издалека, достигающий семи тысяч метров над уровнем моря, пик Хан-Тенгри уже до революции привлекал внимание альпинистов и исследователей-одиночек. Но никто и не подозревал тогда, что недалеко от Хан-Тенгри есть пик еще более высокий: вот как трудна для изучения эта ледяная страна! После Октябрьской революции началось планомерное исследование «киргизской арктики»: одна за другой двинулись в Киргизию научные экспедиции. Сотни советских альпинистов принялись штурмовать труднодоступные вершины. И в глубине гор, в районе сыртов, возникли две постоянные научные станции, сперва «арктическая зимовка» у ледника

Петрова — гидрометеорологическая станция «Тянь-Шань», а потом невдалеке от ледников, из которых вытекает река Чон-Кызылсу, и высокогорная физико-географическая станция Киргизской Академии наук.

Обследовать ледники — эти причудливые лабиринты из глубоких трещин, промоин, сбросов и столбов обтаявшего льда; спускаться в ледниковые гроты, куда с шумом устремляются млечно-бело-зеленоватые потоки талой воды; ставить научные приборы на оконечности ледников, цвет которых, как очень точно описал еще Семенов-Тян-Шанский, похож на цвет почерневших мраморных статуй; возвращаться на базовый лагерь ночью, в тот час, когда в небе «заиндевевшие» звезды так дрожат, что глядеть на них холодно; днем фотографировать с вертолетов дальние ледники; заводить паспорт на каждый ледник, вписывая в него новые и новые сведения; и знать при этом, что за твоей работой следит весь мир: физико-географическая станция на Тянь-Шане утверждена в Брюсселе как один из основных пунктов, ведущих исследования ледников по программе третьего Международного геофизического года. Увлекательная работа!

«Сколько радости и счастья несете вы, реки, подтачивающие вечные ледники!..» Так начал свой тянь-шаньский дневник один гляциолог. Как было ему не воспевать тут, на Тянь-Шане, свою профессию?! Через все границы Киргизии — к цветущим оазисам Узбекистана и Западного Китая, к казахским степям и пустыням — во все стороны бегут потоки. Крупнейшие реки Сыр-дарья, Чу и частично Аму-дарья рождаются у ее снежных вершин. Киргизия поит водой всех соседей. В толще вечных снегов и горных ледников Тянь-Шаня и Памиро-Алая накоплена для Средней Азии вода вперед на множество лет.

И народ это понимает. Хотя кочевники и не бывали на ледниках, легенды о льдах и снегах своей страны они складывали. В альпинистской палатке от проводника-киргиза записал я одну такую легенду, интересную тем, что она прямо касается острого

спора, который в последние годы разгорелся между тянь-шаньскими учеными-гляциологами. Прежде чем рассказывать о споре, вот вам легенда.

В те счастливые времена, когда жаворонки вили гнезда на спинах баранов и выводили птенцов, долина Сары-Джаса была покрыта садами и блестела подобно лепесткам тюльпана, омытого весенним дождем. И жила там Чинар, красавица из красавиц. Она была так прекрасна, что базар мог при свете ее лица торговать ночью, как днем. И никто потому на базаре не знал, когда день, когда ночь. И оттого, что день не кончался, торговля расстроилась. И тогда возмутились люди базара и надели на Чинар покрывало, чтобы соблюдала себя. И возвратили себе день и ночь.

Но пришел со своим войском батыр Батырбай, у которого на лице рябины больше медной монеты, один глаз наверху, другой внизу, большеносый, а голова с котел, одно ухо длиннее другого — таков он был человек. Он разорил базар, погасил огонь в очагах и поставил на арыках стражу. Лучших девушек потребовал себе Батырбай за полив.

И тогда возроптала Чинар, затмевавшая красотой всех женщин долины Сары-Джаса.

— Всемогущий аллах! — сказала она. — Нет для меня чести соблюдать себя, если ты отдаешь меня Батырбаю, у которого одно ухо длиннее другого!

Сказавши это, Чинар сорвала с лица покрывало и швырнула его прочь от себя. И смутился аллах, увидав ее красоту. Он подхватил покрывало Чинар, на глазах людей вознес его в небо и, уподобив облаку, закутал им солнце. И опустилась ночь среди дня. Это была такая темная ночь, что даже Чинар не могла своим лицом ее осветить. С этого часа солнце больше не грело, не таял снег на горах, высохли реки, и иссякла в арыках вода, которую Батырбай хотел обменять на Чинар.

Увидал Батырбай, слюна закипела в зубах, шап-

ка потемнела — рассердился тут, что с солнцем сделали!

— Все равно Чинар будет моей! — сказал Батырбай.

Шесть тысяч мальчиков поставил он на склонах горы и повелел жечь им костры. А сам взял в руки кетмень, взобрался на ледяные вершины и стал кетменем отламывать глыбы льда и швырять вниз. Лед падал в костры и таял, и вода наполнила реки, и в арыках стало довольно воды, чтобы Батырбай мог выменять у сарыджасцев красавицу Чинар.

И, увидев это, удивился аллах. И не знал теперь, что ему делать и кого послать. Сказала Каукаб-ас-Сабах, сладкогубая гурия:

— Пошли меня!

Но аллах знал, что она так говорит не ради дела, а ради любопытства, ибо никогда не видала мужчину, у которого одно ухо длиннее другого. И аллах ее не послал.

Был в раю старик, такой старый, что ни на что уже не годился: от старости в голове его не было никаких мыслей, и он умел повторять только чужие слова. Услышав слова Каукаб-ас-Сабах, он повторил по привычке: — «Пошли меня!» И аллах послал его к Батырбаю.

Спустился старик на вершину горы и остановился, невидимый, около Батырбая. Отколол Батырбай последнюю глыбу льда, говорит: «Теперь Чинар моя!» И старик повторил по привычке: «Теперь Чинар моя!» Обернулся Батырбай, никого не увидел и возвысил голос: «Нет, моя!» И тот другой возвысил голос: «Нет, моя!» Тогда Батырбай закричал. И тот, другой, тоже закричал. И чтобы скрыть страх, Батырбай засмеялся. И тот другой засмеялся. И Батырбай пошел прямо на голос. Он шел и смеялся. И тот, другой, тоже смеялся. А Батырбаю казалось, что смеются горы, и камни, и все вокруг. Так Батырбай шел и смеялся, пока не сошел с ума от страха.

И, увидев это, сказал аллах: «Поистине неведомо, где найдешь, где потеряешь. Вот я послал старика, который умел только повторять чужие слова.

А оказалось, людям это умение может принести великую пользу. Пусть же отныне этот старик своим умением охраняет лед и снег на горах!»

О путник! Если ты услышишь в горах эхо, знай: старик уведомляет тебя, что ты перешел границу дозволенного, и возвращайся обратно. Если же ты увидишь, как солнце среди дня вдруг затмится, знай: это аллах набрасывает на него покрывало Чинар, дабы напомнить людям, что нельзя брать ни силой, ни хитростью то, что им не принадлежит. А вода не принадлежит никому, ибо если бы не было воды, то не было бы ни травы, ни человека, ни его силы и хитрости.

Лет пятнадцать назад ученые Тянь-Шаньской физико-географической станции, как и легендарный Батырбай, задумались: «А нельзя ли искусственно усилить таяние ледников, чтобы давали они рекам больше воды?»

Несколько лет опытов... Выяснилось: можно! Если «затемнять» горные ледники угольной пылью, поверхность их поглощает больше солнечного тепла и тает скорей. Реки становятся полноводней, бурливей, шумней. Расчеты показали: стоит запылить с самолетов все горные ледники, и реки Тянь-Шаня будут давать воды раза в полтора больше. Это во множество раз дешевле, чем строить громадные водохранилища. И во сто крат быстрей! «Но что же будет тогда с ледниками? — задали вопрос другие ученые. — Но иссякнут ли? Не нарушится ли среди тянь-шаньских гор нормальный водообмен?» — «А если и нарушится? — возразили первые. — По примерным рассчетам, запасов льда в ледниках Тянь-Шаня хватит на 1 500—2 000 лет. Ну, а мы вместо этого израсходуем их в тысячу лет, что с того? Ведь при нынешних темпах развития техники, в наш век атомной энергии не пройдет и ста лет, как человечество начнет всю воду справедливо распределять по земле, поворачивая реки, посылая по каналам воду иногда за тысячи километров. Тогда людям наша нынешняя экономия в расчете на тысячелетия пока-

жется просто смешной».— «Нет, — возражают вторые, — что ни говорите, а мы не имеем права грабить природу Тянь-Шаня. Все богатства природы для потомков мы обязаны сохранить».

Мы изложили спор примитивно. И у той, и у другой стороны еще много других, чисто научных доводов: каждый год опытами и наблюдениями они их умножают. Но существо спора остается. Не беремся судить — кто прав. Спор продолжается, время его решит. Нас интересует в том споре другое — забота советских людей о далеких потомках. Только в стране, где люди привыкли думать о судьбе всего человечества, о будущем всей земли, может разгореться спор на такую тему.

Кроме изучения запасов льда — этого золотого фонда среднеазиатских рек, физико-географическая станция на Тянь-Шане дала советской науке о Земле и небе много ценных наблюдений о магнитных и атмосферных явлениях на большой высоте. Каждое лето десятки научных экспедиций уходят и в глубь «киргизской арктики» — на высоту свыше шести тысяч метров над уровнем моря. Выдержку, выносливость, смелость — эти качества воспитывают в себе советские альпинисты. Однако достижение высочайших пиков не служит для экспедиций самоцелью. Они ставят перед собой прежде всего научные задачи, но работа гляциологов, геоморфологов и топографов строится так, чтобы вместе с тем облегчить и движение головных отрядов ввысь, к сияющим горным вершинам.

Горный узел Хан-Тенгри — один из излюбленных районов советского альпинизма. Тянь-Шань для альпинистов — трудные горы, тут не «побегаешь по вершинам налегке, с двумя черносливинами в кармане». Штурм вершин Небесных хребтов требует серьезной предварительной тренировки. В Алаарчинском ущелье Киргизского хребта, недалеко от Фрунзе, действует постоянный альпинистский лагерь, где молодые скалолазы овладевают техникой альпинизма и совершают восхождения на соседние пики — не бог весть какие трудные для подъема по сравнению

с «шеститысячниками» узла Хан-Тенгри, но серьезные, если сравнить их, например, с вершинами Альпов — родины альпинизма.

Ни с чем не сравнимое чувство испытывает альпинист, когда смотрит впервые, порой еще из базового лагеря, на вершину, которую собирается штурмовать. «...На третий день мы подошли к подножью Хан-Тенгри... Его пирамидальная вершина из светло-желтого мрамора была как бы поставлена на гигантский пьедестал из черных сланцев. С плеча Хан-Тенгри, как царственные ризы, спадали снежные склоны с блестевшими карнизами и нависшими ледяными глыбами, готовыми каждую минуту сорваться. Где-то высоко раздался треск. Пласт фирна оторвался, загрохотал и покатился по леднику ослепительно белой клубящейся массой. Прекрасен и страшен бешеный бег снежных лавин. Кто видел его хоть раз, — не забудет никогда», — так описывал Хан-Тенгри советский альпинист В. Гусев.

Нежное пение альпийского жаворонка, серебристое, как снег, да далекий, еле слышный клекот орла-бородача, поднявшего на громадную высоту череп барана, чтобы из-под облаков швырнуть его на скалы, разбить и полакомиться мозгом, — вот последние звуки, которые слышишь, когда с группой альпинистов идешь вверх по леднику. Потом наступает тишина. Впрочем, нет: большей частью дует ветер, иногда такой, что скалы вокруг гудят, как автомобильные сирены. А то и прошумит лавина, выбелив снежной пылью ледник, камни, даже небо: долго стоит в воздухе эта тончайшая снежная пыль!

Легко идти по фирну — кристаллическому льду, обдутому, глянцевитому, гладкому, как паркет. Но прежде чем выйдешь на фирновое поле, приходится пробираться сквозь лабиринт ледяных глыб и трещин ледопада, полузанесенных снегом, таящих опасности на каждом шагу. Альпинисты стараются трещины обойти, однако, — об этом писал хорошо еще Н. Н. Михаилов, в юности штурмовавший Хан-Тенгри, — трещины на леднике «лежат замысловатым лабиринтом, и пробраться через ледник все равно,

что выиграть партию в шахматы». Поэтому при малейшей возможности, связавшись веревкой с товарищем, переползаешь на четвереньках по ледяным мостикам через глубокие, кажется, бездонные трещины. А когда путь неожиданно преградит и такая широкая трещина, которую ни обойти, ни переползти, приходится спускаться в нее на веревке и потом по противоположной ледяной стене взбираться, вырубая клювом ледоруба ступени. Лезешь на такую стену — не остановишься: стоять на месте так же трудно, как лезть, руки и ноги дрожат от напряжения, того и гляди сорвешься... И все же альпинисты предпочитают, сколько можно, идти по ледникам. Идти по снегу в горах Тянь-Шаня хуже, куда хуже!

Снег на склонах Небесных гор — рыхлый, сыпучий, сухой, как порошок. Идешь, проваливаешься по колени, по пояс, а случается, что и по уши. Это выматывает силы. Идешь, за плечами — тяжелый рюкзак с гималайской палаткой и запасами продовольствия, на ногах тяжелые ботинки, окованные зазубренными пластинками — триконями, чтобы нога не скользила. Идешь: удар ногой — и ботинок оставляет в рыхлом снегу небольшую ямку, удар второй ногой — еще ямка, втыкаешь прямо перед собой ледоруб, и опять — удар ногой, второй удар. Пройдешь двадцать-тридцать шагов, идти дальше не в силах, стоишь отдыхаешь. И все время пристально всматриваешься в снежные склоны наверху, не катится ли снежный обвал: ведь он может сбить тебя с ног, а то и стать твоей снежной могилой. Нет, идти сквозь лабиринт ледника куда веселей!

День позади. Находишь место для лагеря, укрытое скалами от ветров и лавин. Вырываешь в снегу пещеру или просто ставишь палатки на льду. Какими словами прославить альпинистский ночлег! Как передать то чувство товарищества, которое заставляет всех дружно трудиться, вбивать в скалы окоченевшими от холода руками крюки, чтобы палатку натянуть! В палатке засветился фонарик, вспыхнуло пламя спиртовки. Короткий обмен впечатлениями дня. Потом ешь недоваренный суп, едва теплый, закусываешь

сухими фруктами и двумя галетами. Скорей в пуховый спальный мешок! И над спящими альпинистами, над крошечной палаткой, затерявшейся среди гор, — только шорох летящего снега да звон ветра, переходящий порою в грохот и вой.

Восходит утро. В целуллоидный глазок палатки проникает тусклый рассвет. Пока согревается чай, ложками выскребаешь снег из всех закоулков палатки. И если не остаешься тут на день-два для высотной акклиматизации или не заставит отсиживаться непогода — снова в путь! Опять лезть по сыпучему снегу, идя навстречу ветру, нагнув голову, упираясь руками в согнутые колени, опять взбираться с помощью скальных крючьев и кошек на отвесные скалы, опять висеть над облаками, ища «удобнейший» путь к гребню хребта, над которым вьются белые «флаги» — ленты снежной струящейся пыли. Несмотря на шерстяную двубортную куртку и теплые брюки с застежками у лодыжек, холод пронизывает до костей. Начинают мерещиться костры, море, жаркое солнце. А во рту вкус снега. Хочешь закурить — спички не зажигаются, тухнут: мало кислорода. Плюнешь — слюна на лету превратится в звонкую льдинку и катится по откосу. Последние метры: шаг — отдых, еще шаг — еще отдых... И вот, наконец, цель экспедиции — вершина!

Первое мгновение так устал, что даже не радуешься ей, садишься на камень — отдышаться. Но грандиозная панорама снежных вершин по ту сторону, вдруг открывшаяся перед тобой, заставляет тебя схватиться за фотоаппарат, вновь наполняет трепетом сердце. А спустя еще немного времени ты вместе с товарищами уже собираешь камни, чтобы сложить тур, написать скрюченными от холода пальцами записку, что вершина покорена, и спрятать эту записку в консервной банке под пирамидкой камней.

Каждое лето советские альпинисты покоряют все новые пики Тянь-Шаня. Хан-Тенгри (6995 м), который ученые всего мира долго считали абсолютно неприступным, был побежден в 1931 году экспедицией под руководством М. Погребецкого. В 1934 году груп-

па В. Абалакова впервые поднялась на пик Ленина (7124 м) на Заалайском хребте. В течение многих лет этот пик считали высшей точкой Киргизии. Но в 1943 году топографическая экспедиция П. Рапасова исследовала, вычислила и доказала, что замеченная раньше невдалеке от Хан-Тенгри неизвестная вершина имеет еще большую высоту: так был открыт пик Победы (7439 м) — первая вершина Киргизии и вторая вершина СССР. За это открытие экспедиция, в частности известный альпинист Киргизии В. Рацек, была удостоена медали имени Семенова-Тян-Шанского, которую присуждают лишь за крупнейшие географические открытия. Только в 1956 году штурмовая группа экспедиции альпинистов, которой руководил В. Абалаков, смогла достичь вершины пика Победы! Это важнейшие победы альпинистов в Киргизии. А сколько было других, дававшихся с не меньшим трудом, потребовавших опыта, смекалки и мужества! И сколько еще на Тянь-Шане непокоренных вершин, которые ждут смельчаков!

Уйдя от ветра с вершины, стоя, опершись о ледоруб, оглядывая многоярусную панораму соседних белых пиков и ледников, по которым ветер зигзагами гонит снежные вихри, изредка смежая ресницы, чтобы растопить в глазах образовавшиеся кристаллы льда, мне здесь, у вершин Тянь-Шаня, хочется сказать несколько слов о «хозяине ледников» Средней Азии — моем учителе Николае Леопольдовиче Корженевском. Одиннадцать тысяч квадратных километров — велика площадь всех ледников Средней Азии. Быть «хозяином» этой ледяной страны, некоронованным ее королем — не мало! Корженевский — старейший исследователь среднеазиатских горных ледников и автор первого и единственного «каталога» этих ледников. Недаром его именем названы: крупнейший ледник на самом северном из тянь-шаньских хребтов — Заилийском, текущий с плеча Талгара, и крупнейший ледник на самом южном из киргизских хребтов — Заалайском, текущий с плеча пика Ленина. А имя жены исследователя, Евгении Корженевской, носит одна из высочайших вершин Памира.

В 1922—1923 годах Николай Леопольдович был учителем у нас в школе имени Пржевальского в Ташкенте. В те бурные годы географы временно оказались не у дел, и известный путешественник вынужден был пойти в школьные учителя. Ему следовало бы преподавать географию — он преподавал физику, но и преподавая физику, он развивал у нас вкус к географии. Страсть к путешествиям была в Корженевском столь велика, что нам, школьникам, не стоило большого труда сбить его на любимый предмет. И мы пользовались этим: частенько по нашей вине урок физики обрывался, и Николай Леопардович (так шутливо и вместе с тем почтительно величали мы его после того, как услышали из его уст историю, как встретился он в горах со снежным леопардом) рассказывал нам о своих путешествиях по Средней Азии. Мы слушали, разинув рот: рассказывал он до того увлекательно, что и посегодня картины горной природы, возникавшие тогда перед нами, живы в памяти со всею первоначальной свежестью.

Рассказывал он и о Семенове-Тян-Шанском Петре Петровиче так, что перед нами вставал образ великого путешественника — не в книжном переплете, а живой, в пенсне, с которого свисал шнурок на грудь, с необыкновенно окладистой, будто приклеенной белой бородой — этакий русский аксакал, с огромными звездами на штатском костюме — «две звезды занимали полгруди», пожимавший руку нашему Николаю Леопольдовичу, шутивший, смеявшийся с ним, отправлявший его в экспедиции на Тянь-Шань и Памир. Никогда не забыть того трепетного чувства на уроках Корженевского, когда прикасаешься к живому в истории, своего рода чувства эстафеты, — оно заставляло нас, весь класс, ощущать себя чуть ли не прямыми наследниками великого русского путешественника.

Со времени первого путешествия Семенова-Тян-Шанского на Тянь-Шань прошло сто лет. После этого замечательного путешествия П. П. Семенов-Тян-Шанский снаряжал в трудные путешествия Пржевальского и Миклухо-Маклая, Потанина и Чокан Вали-

ханова, Козлова, Обручева и Корженевского. Николай Леопольдович, почетный академик, — младший и единственный из той плеяды русских путешественников—живет в Ташкенте, окруженный уважением многочисленных учеников. Как он хотел, чтобы каждый из нас, его учеников, стал географом! Многие стали ими, я географом не стал, но любовью к путешествиям и интересом к Средней Азии всецело обязан ему. Поэтому именно ему — Николаю Леопольдовичу Корженевскому — посвящаю эту книгу.

ОШСКАЯ
областная
БИБЛИОТЕКА
Инв. № 6811/4

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 6

ПО ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЕ

1. Первый вечер 7
2. Любуясь горами 11
3. Город имени М. В. Фрунзе 14
4. Дорогою творчества 19
5. У подножья Киргизского хребта 27
6. «Построили, строят...» 34
7. Текме 46
8. В праздничный день 57
9. Приметы нового 63
10. Страницы недавнего прошлого 73
11. История одной любви 82
12. Сахарная долина 87
13. Земля панфиловцев 94
14. От Чумышских скал до Орто-Токоя 103

ВОКРУГ ИССЫК-КУЛЯ

1. Киргизское море 113
2. У памятника Н. М. Пржевальскому 124
3. От Пржевальска... 132
4. Ыpдык 141
5. В ущельях Прииссыккулья 151
6. Озеро отдыха 160
7. Чолпон-ата, Долинка... 176

НА ЮГЕ

1. Три города 192
2. Ферганское кольцо 205
3. Красная дорога, идущая вверх 215
4. Алай 226
5. В лесах южной Киргизии 238

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ТЯНЬ-ШАНЮ

1. Дорога в Токтогул 252
2. «Изумруд в серебряной оправе!» 268
3. У истоков Таласа 279
4. Долина золотых баранов 291
5. Сердце Тянь-Шаня 298
6. С двустволкой в руках 10
7. Холодная пустыня 321

8 р. 15 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ